КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ

1928

КНИГА
ДЕВЯТАЯ
СЕНТЯБРЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 9

СЕНТЯБРЬ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1928 ЛЕНИНГРАД

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ ЗЕМЛИ И ГОРОДОВ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРАЯ

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

О Т П Е Ч А Т А Н О
в 1-й Образцовой типографии
Гиза, Москва, Пятницкая, 71.
Главл. А-17637. П.13. Гиз 28631.
Заказ № 2268. Тир. 13 000 экз.

Источник Взывающего.

(Рассказ).

Всеволод Иванов.

Часто происходило так, что когда Михаил Григорьевич Власов снимал фуражку и открывались его необычайно спокойные волосы и гладкий ясный лоб, то многие разговаривавшие с Михаилом Григорьевичем становились очень откровенными и всегда, в конце разговора, просили совета, иногда самого неожиданного. И долго после разговора им казалось, что Михаил Григорьевич способен как никто слушать и понимать чужое горе. А Михаил Григорьевич бо̀льшую часть своей жизни думал только о себе. Дни бежали быстрее и быстрее, через десяток лет начнется старость, — и было понятно, если он чувствовал все увеличивающуюся раздражительность, когда приходилось думать о других людях.

Михаил Григорьевич ехал на охоту. Ему казалось, что он наполнен одним мучительным желанием старого бродяги — убить. Никогда так подолгу не приходило к нему это желание убийства, и ему думалось, что оно исчезнет, как только дичь, грузно трепеща крыльями, понесется в последнем полете к земле... Однако думы эти беспокоили его. К тому же возница, баптист Исидор, как и все, разоткровенничался. Тележка бежала мимо потока Имень, вдали виднелось Теренщино. «На потоке Имень, — говорил возница, — лежит заклятье... Иначе как же можно объяснить, что вдруг в сухое лето, в засуху, поток разольется и смоет поля! А поля и без того тощи, — ибо жрет их степь беспощадно, люто... Засыпали поток. А засыпать не могут! Молебны служили, и беспоповцы читали свои молитвы, а придет (воскликнул он громко и с вызовом) удачный и нужный земле человек, скажет одно слово и, возможно, тремя горстями земли засыпет поток!» Глаза у Исидора на мгновение стали безумными, губы его побелели. — Из дальнейшего разговора вышло так, что надо было вспоминать о Кадыреве... В голове у Власова моталось много пустяковых мыслей, и где-то среди них была мучительно необходимая, настоящая, а вслух хотелось сказать, что Кадырев причинил много зла Михаилу Григорьевичу, многое в жизни Власова не вышло все из-за того же Кадырева. И Власов понимал, что это неправда и думать так не стоит, но в этой неправде чувствовалась какая-то непреодолимая

сладость. По степи в сумасшедшем порядке мчались телеграфные столбы, и, казалось, огромное безумие несут они на своих тощих шеях. Бархатные и в то же время сияющие проволоки их, молча, на какие-то подлые куски, делили бешеное желтое небо! А еще дальше на земле видна скользящая синяя пелена — это начинались знаменитые карабашские камыши, среди которых лежало соленое Карабашское озеро. Камыши славились необычайно вкусными утками, — говорили, корни камышей, служившие пищей уткам, придали телу их этот сказочный малиновый вкус. Въехали на постоялый. Исидор выпряг коней, выпил, с достоинством и с соответствующими извинительными словами перед богом, водки из синего стаканчика и приготовился, видимо, просить советов у Михаила Григорьевича. Тогда, объясняя уход свой нежеланием давать советы лживому и наглому баптисту, Михаил Григорьевич направился к Юрию Павловичу Кадыреву, знакомому по губернскому городу, во-первых, и, во-вторых, женатому на бывшей возлюбленной и жене Михаила Григорьевича — Софье Николаевне Табанец. Кадырев служил теперь в кооперативе на ничтожном жаловании. А в начале года уездный городишко Теренщино списали в село — и жалованье Кадыреву еще уменьшили! А этот человек имел славное прошлое — воевал в степях, на Украине, на Кавказе, водил красноармейские полки и партизанские мужичьи стаи, ему б теперь во ВЦИКе заседать,— а вот, не вышло... Кадырев и посейчас не любит людей, умирающих на постели; самого близкого друга не пойдет хоронить. Вот весной работника ГПУ застрелили бандиты. Кадырев знал его едва-едва, а шел за телом застреленного с рыданьями. Иногда Власову удавалось убедить себя, что враждебность к Кадыреву владеет его сердцем из-за Софьи, но тотчас же всплывала мысль: тогда он должен бы ненавидеть и остальных мужей Софьи? И еще была эта мысль неправильной оттого, что объяснять так просто злость свою к Кадыреву было приятно. Теренщино видимо бодрилось, надеялось обратно получить звание городка: на улицах желтели новые домики; над дряхлыми торговыми рядами высились свежие вывески. Власов вспомнил, как Исидор потешно рассказывал об обывателях, сплошь пересудившихся со скуки... Власов увидал новый домик, принадлежавший Кадыреву. Гнилозубая рыжая собачонка спала у ворот. Кадырев чистил двухстволку, он взглянул было на Власова с неприязнью, но смутился и стал преувеличенно вежлив. Подбежал брат Софьи, безумный Шурка, постоянно пляшущий и вопросительно спрашивающий каждого встречного: «Пляши?». Кадырев позвал Михаила Григорьевича пить чай. Софья принесла маленький самовар, баранки и варенье. Говорили много, торопливо, слишком оживленно, чтобы разговоры казались искренними. И как-то сразу стало ясно, что на охоту они пойдут, Кадырев и Власов, вместе и немедленно! У палисадника показался широкий, румянноликий человек в парусиновом балахоне. «А вот и Перекрестов, друг!..» — воскликнул Кадырев, протягивая в окно тощие руки. Перекрестов, глядя в пол, боком сел к столу. Власов поймал его взгляд, устремленный с состраданьем на Софью. Софья, с того дня,

как рассталась с Михаилом Григорьевичем, мало изменилась, даже как будто слегка пополнела... Косо улыбнувшись, Михаил Григорьевич вспомнил, как она грозила умереть из-за любви к нему и бежала за ним следом, в морозную ночь, в одном платье. Софья, видимо, поняла эту улыбку; она покраснела; нагло, неумело сверкнула глазами и спросила ласково у Перекрестова: «Вам чаю?» — «Да, мне чаю», — ответил Перекрестов. И Михаилу Григорьевичу, как и много раз до этого, пришло опять в голову, что на Софье он женился потому лишь, что было лестно и немного опасно отбить жену у секретаря губисполкома; а затем и покидать Софью было тоже опасно: она грозила скандалом, судом, смертью своей... и еще ему подумалось: вот освободили женщину от оков брака, и стала она еще бо̀льшей рабой и более лживой, чем прежде. Чтобы привязать к себе мужа, она рожает детей, хотя детей и не любит и не умеет их воспитывать. Она лжет неумело, нагло, старается быть чистой там, где грязна, и грязной там, где чиста. Каждый муж для нее — храм, постоянно разрушающийся. И каких только негодяев надо ей научиться уважать!.. Вот и Кадырев огрызнулся на Софью совершенно так же, как полгода тому назад огрызался на нее Михаил Григорьевич и, кажется, даже (бессознательно, конечно) перенял манеру Михаила Григорьевича. Власов замолчал. И опять он поймал взгляд Перекрестова, устремленный на них всех с негодованием — и испугом. Перекрестов вскочил, заторопился: «А я, знаете, тоже с вами пойду, с вами!..». После короткого замешательства Кадырев, видимо понимая мысли Перекрестова, ответил: «У вас и ружья-то нету». Перекрестов необычайно образовался, торопливо выпил стакан остывшего чаю: «А я, знаете, с палочкой, с палочкой». Свистнули собак; посмотрели на патроны. У ворот Кадырев помахал ручкой Софье, а она позвала его в сени, поцеловать, он пошел неохотно... Все это происходило раньше, с Михаилом Григорьевичем, и еще раньше с кем-то другим. Власову стало скучно, и ясно стало еще то, что он приехал к закату их любви. Перекрестов неловко играл с собаками. Собаки визжали, катались по траве, короткой и щетинистой. Кадырев шел впереди неприятно широкими шагами, трава трещала, словно он шел по прутьям, — и вообще в его фигуре было много напряжения, словно он шел сквозь чащу. И Кадырев сам чувствовал свою неловкость и свою все растущую раздражительность. Еще утром ему почему-то подумалось: сегодня приедет Власов, и он сказал не с тем, чтобы обидеть Софью, а с тем, дабы разозлить себя: «Готовься угощать свою постельную принадлежность!». Он знал, за что он ненавидит Власова, так же, как он ненавидел многих, похожих на него, — Власов был храбр, удачлив в делах, и храбростью своей, оставшейся от войны, распоряжался очень умело и скупо. Этот человек не умрет на постели, и тот же Кадырев пойдет за гробом героя и будет искренне рыдать!.. Утром того же дня Кадырев своими руками отлил картечь, потому что картечи в кооперативе не продавали.

Перекрестов грузно, всем телом навалился на лодку. Лодка смешно заерзала по тине. Камыши стояли неподвижно, высоко подняв узкие

сабли своих листьев. Перекрестов все происходящее объяснял ревностью двух соперников из-за женщины, и так как в жизни своей больше всего страшных рассказов слышал (и воспринимал) о ревности, то и теперешние часы он считал самыми страшными в своей жизни. Лодка шла неподвижным каналом среди камышей. Вода, скользящая с весла, была густо изумрудного цвета и пахла странно: яичницей. Перекрестов с неумелым смехом сказал об этом запахе, но ни Власов, ни Кадырев даже не улыбнулись. Положив ружья на колени, они глядели друг другу на плечи и, видимо, ждали, кому из них заговорить и — выстрелить первому. Кадыреву казалось, что Власов молчит из презрения, а Власову — что Кадырев боится показать свою трусость. Собаки лежали тоже тихо, и одна из них взвизгнула; Кадырев пхнул ее ногой. Солнце, серое и тонкое, еще не зашло, но на небе уже показалась звезда, и Перекрестов сказал:

— Цонмон, знаете!.. Звезда: Пастух! Потому, видите ли, она приходит на небо вечером, когда в аул приходит пастух, и уходит с неба, утром, последней из звезд... пастух тоже идет последним.

Ему не ответили.

— Я полагаю, к островку вон тому пристать? Внутри островка-то ложбинка; источник Взывающего вогружен; из-за ложбинки на пригорочек выйдем неожиданно, и перед нами: вода. А на воде-то утки и гуси. Вот мы их дробью, как пастухи, в царство теней и погоним!.. Дробью, а?

Лодка пристала к островку. Густым тальником, по шипящей тине, они поднялись на пригорок. И точно, перед ними открылась низкая солончаковая долина.

— А в долинке-то, — тенорком вопил Перекрестов, — обратите внимание: источник Взывающего! Фетиш поклонения!.. тризна надежды!

Посредине долины груда черных камней поднимала к багровеющему небу два острых гребня — эти гребни походили на руки, или на космы волос, поднятые ветром, или отчаянием, или на лапки пингвинов, — но так или иначе в них чувствовалось горе, приниженность и в то же время что-то вызывающее. Увидав источник, люди разобрали гул бесчисленных комаров над камышами. Вспомнилось, что к источнику на исцеление только ночью, лунной и облачной тоже, приходят монголы, дабы никто не мог увидать, кроме луны, выскочившей из-за облака, как человек пьет воду источника Взывающего. Странные болезни лечил источник!.. Багровое зарево заката и легкое смущение, овладевшее людьми, заставило их ближе подойти к источнику, дабы простота и наивность сооружения уничтожила мысли о монголах и исцелениях. Бутылка из-под водки, не то дар дикаря, не то след пьянства, валялась подле черных глянцевитых камней. Перекрестов задумчиво поднял бутылку, а затем смущенно, — видимо, думая, что в такой торжественный и жуткий час смешно держать бутылку, — кинул ее. Лицо у Перекрестова было важное; тело его выпрямилось, и парусиновый балахон отливал багровым шелком. Власов стоял неподвижно и молча, а Кадырев (сам не чувствуя своих движений) начал переступать с ноги на ногу, все чаще и чаще. Он кашлянул, сказал

какое-то неразборчивое слово. Власов поднял ружье, спустил предохранитель... пушистый домашний голубь вылетел в это время из-за камышей. Голубь, должно быть, заблудился: он то поднимался кверху, то падал в камыши. Комары лезли ему в глотку, забивались среди перьев. Голубь, заметив людей, заметался тревожно и радостно, чем-то походя на Перекрестова... Голубь опустился в трех шагах от источника на солонец, глаза у него были глубокие и радостные. И, может быть, от взгляда на голубя, все трое подумали о пустыне и о своем доме. Тучи на западе были похожи на крутящиеся багровые веретена. На мгновение люди содрогнулись от ощущения бескрайней тишины камышей. Кровь широко ударила в сердца! Солнце закатывалось. Источник действительно теперь походил на человека, заблудившегося в пустыне и дико воззвавшего к небу о чуде. Руки человека подняты в последний раз! И голубь, и солнце, и тучи, похожие на веретена, и мысли о доме, — все это чрезвычайно неотчетливо лежало на памяти. Мешали и вопящие комары; и камыши, внезапно склоняющие сабли на неподвижную воду; и стаи уток, проносящиеся над островом... И Кадырев, с неприязнью, которая вдруг неожиданно быстро исчезла, увидал, что Власов откинул ружье; лицо его сразу как-то просветлело и пробрело то выражение, которое люди видели у него и которого у него никогда не бывало. Кадырев понимал, что сейчас необходимо иметь отвагу и сказать простое и в то же время торжественное слово, и это слово должно быть таким, чтобы каждый из трех одинаково понял его и одинаково тронулся душой. Такое слово уже пришло к нему в сознание! Он глубоко вздохнул, и здесь явилась мысль, что надо говорить быстрее, иначе люди вернутся каждый к *своему* слову, и будет уже поздно. Между ним и Власовым было не более шести шагов, но Кадыреву зачем-то понадобилось сократить это расстояние (может быть, он мало верил в силу своего голоса), он шагнул, — и тут Перекрестов закричал *свои* слова и то, как он понимает величие минуты, постигшей троих людей у источника Взывающего. Перекрестов закричал, что он любит Софью Табанец и что она ни к Власову, ни к Кадыреву — Михаилу Григорьевичу и Юрию Павловичу — не подходит! Им необходимы величественные, великолепные женщины, а он человек простой и даже обиженный судьбою. И то, что сообщением любви своей он как бы спасает жизнь двух людей, двух врагов примиряет, — растрогало его до слез. И, подумав о слезах, он действительно с радостью и гордостью заплакал. Легкий пар поднимался от источника. Родник был прикрыт досками с отверстием, наглухо закрытым тяжелым камнем. Пар пробивался в щели. Всхлипывая, Перекрестов сказал, что, напившись, человек должен закрыть отверстие, иначе не будет чуда, и еще есть поверие, что, если герой идет исцеляться от любви и тоски и после этого не убьет ни человека, ни животного, — отверстие откроется, и вода зальет страну и камыши! Предание всем, даже и Перекрестову, показалось глупым и непонятным, да и сам Перекрестов не понимал, зачем он рассказал его. И Перекрестов продолжал: он давно любит Софью, и она его любит... лицо у него стало беспомощное, словно он повторял не-

удачное сказание свое о гибели источника. И Кадырев начал расспрашивать про их любовь, и видно было, что он расспрашивает только для Власова; только для того, чтобы показать, что он еще муж и что имеет еще право расспросить о женщине и жене с беспутным характером. Но скоро злость у него схлынула, и ему стало стыдно; он не глядел на Власова, да и тому стало тоже нехорошо. Они отплыли. Перекрестов зажег фонарь, греб быстро и, выскочив на берег, побежал вперед. И собаки с тихими повизгиваниями кинулись за ним следом. Камыши остались позади, более светлые и более воздушные, нежели днем, и Власов, понимая, что закончилась его последняя охота в карабашских камышах, что наслаждение жизнью еще укоротилось на многое и что тоскливее и одиночнее стало на свете, — сказал медленно: «А плохие охоты стали». И Кадырев (наслаждаясь победой, ибо Власов струсил прямо высказать свою тоску и одиночество) резко и весело сказал: «Плохие времена, плохие и охоты». Власов понял ту мысль, которая змеилась под этой фразой; вздохнул, — и опять Кадырев почувствовал стыд и смущение. Дурачек Шурка, приплясывая, бежал по улице. Пробегая мимо них, он крикнул вопросительно: «Пляши?». Они смолчали. На Шурке была длинная рубаха, и волосы его походили на камни источника Взывающего. В домике Софья с тяжелыми пепельными веками, наклонившись, складывала в сундук свои вещи. Неподалеку от нее стоял сияющий Перекрестов, и Власов, взглянув на его маслянистые щеки, подумал с завистью: «А ведь он ее и на самом деле любит!». Софья посматривала на Перекрестова с неприязнью и с какой-то далекой надеждой, и видно было, что она уже не видала теперь своих мужей, так же, как она не видала раньше других мужей, когда уходила к Власову или Кадыреву. Затем и Софья, и ее новый муж ушли. Оставшиеся сели на стулья. Власов скинул ружье; свистнул собаку — собаки не было. Он спустил предохранитель. Кадырев глядел в палисадник. «И моя удрала», — внезапно и хрипло сказал Кадырев. Кадырев понес свое ружье в соседнюю комнату. «Прощай», — сказал Власов и вышел. Кадырев не ответил ему. Он думал: было ли это храбростью или трусостью, что он сидел спиной к Власову, чувствуя в хребте озноб и еле имея силы раздвинуть губы и сказать: «И моя удрала»; и картечью ли заряжено ружье Власова? «Картечью, картечью», — старался упрямо повторить Кадырев. У ворот Власов засвистел собаку. Подскочила дворняжка, та, что встретила его утром — гнилозубая, и Власов вдруг вскинул ружье и выстрелил. Прибежал Шурка. Одергивая рубаху, он выкрикнул: «Пляши?» — «Пляши, горе!» — с горечью ответил ему Власов. И тот вдруг присмирел, даже присел как-то и неумелой новой походкой, уже не приплясывая, отошел от ворот. Блаженное лицо его перестало сиять и стало озабоченным, как у всех живущих в России, и походка его стала походкой исцеленного. Власову стало непереносимо жаль Шурку; жаль того, что нашлось столь внезапно необходимое (да необходимое ли?) слово. И больше ничем не отозвался городок на выстрел Власова! Улицы были пустынны, песчанны. Власов остановился у потока Имень; воды, быстро шелестя песком так, как будто потирали

сухие ладони, спешили в пустыню. И Власов подумал, что за сегодняшний день много туманностей произошло в его жизни и что мысли его приобрели в то же время много ясности. Другой бы человек, другой герой остановился бы сейчас у потока и, преодолевая свою тоску и свое одиночество, взял бы три горсти земли, кинул бы их в поток и сказал бы необходимое для осушения потока слово: «Готово». Именно: «готово!», а не какое-либо другое слово... Подбежала его собака и лизнула ему руку. Руки у него и все тело его горели. И он понял, что собаки бежали от смерти и от смятенных человеческих душ. И почти в те же минуты Кадырев вышел с ружьем за ворота. Дворняжка еще трепетала. Кадырев, закрыв глаза, выстрелил в нее. Но ему легче не стало. Город спал. Даже Шурке и тому незачем было приходить... Темнота была теплая и легкая. Мир огромен, и два человека, два героя, так и не поняв друг друга, пошли в разные стороны. Мысли эти показались Кадыреву трогательными и умными. Он зарыдал, не стыдясь своих рыданий. Да и кого стыдиться, если весь город спит?..

Дом Черновых.

(Отрывки из романа).

Скиталец.

В имении купца Силы Гордеевича Чернова «Волчье логово» в зимний вечер состоялся семейный ужин, за которым было изрядно выпито по весьма серьезному поводу: в этот вечер из Москвы приехал знаменитый художник Валерьян Иванович Семов свататься за младшую дочь Силы Гордеевича — Наташу. Дело, повидимому, шло на лад: художника приняли радушно, хотя еще окончательного разговора не было. За ужином говорили о посторонних предметах, больше слушали рассказы гостя, а старик зорко приглядывался к будущему зятю, наводящими вопросами экзаменуя его.

После ужина, когда члены многочисленной семьи разошлись по комнатам огромного дома в старинном дворянском стиле, с антресолями и зимним садом — Сила Гордеич пригласил Семова в кабинет. Кабинет был небольшой, но уютный. Топился изразцовый камин с ветвистыми рогами лося над ним, с большим кожаным диваном у стены, украшенной фотографиями беговых лошадей, с мягким ковром, застилавшим всю комнату. На письменном столе горела электрическая лампа под зеленым шелковым абажуром, а рядом был накрыт маленький круглый столик с двумя стаканами кофе и бутылкой коньяку с ломтиками лимона на тарелке.

Они сидели вдвоем за этим столиком, продолжая начатый за ужином разговор.

Сила Гордеич был маленький, сухенький старичек в опрятной пиджачной паре и крахмальном воротничке с седой головой, остриженной бобриком, с седыми, коротко подстриженными усами, чисто выбритый, с сухим, энергичным лицом, напоминавшим фельдмаршала Суворова.

Знаменитый художник — высокий молодой человек лет тридцати, в черной бархатной блузе, бледный, с длинными волосами, с маленькой эспаньолкой и веселыми, смеющимися глазами, — в положении жениха чувствовал себя не совсем свободно.

Старик налил в обе рюмки коньяку и, чокнувшись, заговорил неожиданным от его фигуры густым басом:

— Выпьем-ка, брат, Валерьян Иваныч, да потолкуем! Вы за ужином-то много кой-чего нам рассказали, — теперь мой черед, расскажу и я вам про себя!

Он выпил, крякнул и продолжал:

— Род наш старинный, купеческий, отцы и деды наши купцами были! Разорялись мы и на «нет» сходили, и опять возрождались: потому — у нас в роду коммерческий талант! Не хвалясь скажу: я, Валерьян Иваныч, большой коммерсант! Да-с! Имейте это в виду! Я завсегда могу деньги нажить, честно и чисто, как и до сих пор наживал. Вы знаете — как я начинал?

— Нет! — улыбаясь, отвечал художник: — расскажите-ка! Это, наверно, интересно.

— Хе-хе-хе!.. — низким грудным смехом засмеялся старик: — не только интересно, а, пожалуй, для вас, молодых людей, и поучительно!

Он придвинул мягкое кресло, в котором сидел, поближе к собеседнику и начал:

— Вот, послушайте-ка! Отец мой помер, разорившись до тла. Перед концом его жизни жили мы на мужицкий лад, сами пахали и сеяли, на базар хлеб возили. Бывало, все пойдут в харчевню, а ты купишь калача, да на возу и поешь, чтобы деньги целее были. После смерти отца стало еще хуже: оставил он мне всего-на-всего полторы тысячи... долгов! Только и всего! За долги пришлось последнего лишиться, все распродать: осталась избенка да лошаденка! Забился я в деревню, пришипился — ни гу-гу! В город и глаз не кажу! Людей стыдно! Думаю — как жить? Ведь надо же делать что-нибудь? Работал крючником на пристани, водоливом был — да не понравилось. И надумал я овцами торговать, а у самого денег ни шиша, взяться нечем! Делать нечего, отправился в город и — к дяде! Дядя был у меня купец состоятельный, но, конечно, такой, что зря деньгами не сорил. Рассказал ему, каким делом хочу заняться. Дядя для начала дал мне взаймы триста рублей. С них я и начал. Купил на все эти деньги овец и сам стал пасти их! Пастухом был! С пастуха, Валерьян Иваныч, я начал. Бывало, пасу это я в поле овец и все думаю: как бы мне деньги нажить? Хе-хе! Осенью сам повез овец в Москву, продал выгодно, очистилась мне тысяча; я на всю тысячу — опять овец и пошел в гору. Смотрю — годика через два у меня уже с десяток тысченок завелось. Тут мы с братом моим покойным хлебную торговлю завели на Волге, двое орудовали, вместе и жили, попросту, без затей! Шибко мы тогда погнали дело! Случалось, брали барышу тысяч по сорок и по восемьдесят!

Старик потянулся к бутылке и, наливая в рюмки, сказал нравоучительно:

— Вот как мы наживали, Валерьян Иваныч

— Да, у вас, повидимому, была большая энергия! Но чем вы все-таки объясняете такой быстрый успех? Откуда были такие барыши?

— Бог его знает! — Сила Гордеич вздохнул. — Время такое было! Случалось, покупаем хлеб на одной пристани по одной цене, а перевозим

прямо на другую пристань, верст за пятнадцать — и продаем на пятак за пуд дороже — на всю-то партию и выходило тысяч пятьдесят барышу! Волга-то тогда дикая была, телеграфу никакого не знали. Первые-то пароходы на моей памяти пошли. Ну, кто посмышленее, да порасторопнее других — те и наживали. И греха в этом никакого не было! Так и вырастали капиталисты из простых, из трудящихся людей, а дворяне и тогда ничего не делали, только имения свои проедали! Я, Валерьян Иваныч, открытый враг дворянского сословия: они проживали, а мы наживали! Они падали, а мы возвышались! Вот это имение и дом, где мы сейчас с вами сидим, перешли ко мне за долги от кутилы гусара, который всю жизнь только и делал, что наследственное, не им скопленное, по ветру пускал! Дом мой в городе — тоже бывший дворянский. Ненавижу дармоедов, и жалости у меня к ним, действительно, нет никакой! Деньги прожить, проесть и пропить — это преступление великое; не жалеть и не любить деньги — это значит людей не уважать; деньги — это труд и пот человеческий, это кровь человеческая! Кто рубля не бережет, тот сам гроша не стоит!

Зычный голос старика постепенно повышался.

— Деньги — это что-то такое нежное, — заговорил он вдруг полушопотом, с неожиданной теплотой и лиризмом в голосе. — С ними нужно осторожно! Не дотрагиваться до них, всякую пылинку с них сдувать, чтоб расли они, а не таяли, иначе, ведь, они живо пылью разлетятся! Любить их, беречь и лелеять нужно, нежно с ними обращаться,— ведь это же что-то живое, святое, неприкосновенное, как жизнь человеческая, цена многих жизней людских!

— Ненавижу дармоедов, расточителей, разрушителей! — загремел он вдруг разряжающимся голосом. — Уважаю только тех, кто создает, кто накопляет, кто строит жизнь, и не хвалясь скажу — это мы! Мы строили жизнь! Мы создаем силу, движущую человечество вперед, к лучшему будущему! Идея накопления капитала — это великая идея! Ей посвятил я жизнь мою: самоучка, учился в уездном училище, с пастуха начал — я провел мою жизнь в неустанном труде, на себя трачу не больше, чем, может быть, самый последний бедняк тратит, и цель моя—не наслаждение! Личного счастия не знал никогда, и сейчас не знаю, да и не надо мне его! В семейной жизни глубоко несчастлив — наплевать! Идее служу! Российский капитал воздвигаю, создаю силу, которая в общем своем составе, может быть, впоследствии все судьбы России к лучшему будущему повернет! И что бы там ни было, какие бы войны и революции ни устраивали, как бы ни разоряли мир — он будет спасен только капиталом, только скоплением труда миллионов людей в тех руках, которые не растрачивают, не распыляют его, а заставляют работать для всех! Ведь вы подумайте, что это за сила, и тогда не станете повторять старую сказку, что капитал — зло, что от капитала — и бедность, и все страдания людские! Какая чепуха! Народ, не скопивший капитала — не народ, а мразь! Где нет капитала — там-то и есть всеобщая бедность, темнота и звериная жизнь, без капитала

не до культуры, не до науки, не до искусства! И только, когда в народе скопляются результаты многолетнего, неустанного плодотворного труда— начинается расцвет страны! Приходит капитал — и пустыни обращаются в цветущие поля, недра земные открывают свои сокровища, словно по волшебству какому вырастают города, дворцы, храмы, театры, университеты, академии. Появляются художники, писатели, мыслители, гении! Все от капитала! Стоит только уничтожить капитал, распылить его, пустить по ветру и все исчезнет: все и поля-то занесет песком, реки обмелеют, города опустеют! Обеднеет, одичает народ, и на кой чорт тогда нужны буду: озверелым-то людям, голодным, безработным и безграмотным, ваши картины, ваши искусства и науки? Все исчезнет, все в первобытность обратится! Кто, как не капитал, создал и вас, Валерьян Иваныч,— ваш талант, вашу славу, оценил и обеспечил вас?.. Ведь, если народ опустится до того, что только в пору о хлебе едином помышлять — он не поддержит, он втопчет в грязь всех своих мыслителей, писателей, художников, он их до себя принизит, и сам же останется без мыслей, без идей, без веры, потеряет все человеческое, несчастнее сделается в тысячу раз и беден, беден будет во всех смыслах, в материальном, умственном и душевном! Так вот что̀ такое капитал! Вот та великая, государственная, мировая идея, которой я посвятил мою жизнь, а ведь жизнь эта была долгая и тяжелая! Спасение народа и государства я полагаю в том, что каждый самый маленький и бедный человек должен работать изо всех сил, чтобы не только на поддержание своей жизни заработать, но и откладывать, да не на черный только день, а чтобы во всем народе возрастала и повышалась жизнь, тогда и будет общее богатство, всеобщая культурность и не окажется большой разницы между богачами и бедняками. Вот как я думаю, Валерьян Иваныч! Вот почему уважаю и люблю капитал! Верю в его благотворную силу и служу ему! Все — работай! все — изо всех сил! каждый человек — работай! и машина и скотина — работай! и каждая тряпка и хворостинка — работай! Пускай ничто не пропадает даром, даже каждый отброс, что только бы сжечь да выкинуть — и то должно иметь свое место, все должно работать! каждая копейка — работай! все — кипи! все — возрастай! Пускай корни, накапливай силу: человечество должно копить свой труд для будущего, если только не хочет погибнуть на земле, как погибают черви, если люди действительно хотят быть царями земли! Капитал — это все! Если одни растратят — другие должны будут опять с самого начала создавать его,— без этого — гибель, без этого — смерть! В капитале будущее счастье всех! Все — для создания капитала, в нем — все начала и все концы!..

Львиный голос маленького старика раздавался в ушах Валерьяна непреклонно и грозно. Художник слушал, склонясь на локотник кресла, полузакрыв ладонью глаза, и казалось ему, что голос этот принадлежал не хилому, низенькому, седенькому старичку, сидевшему против него, а кому-то другому. Казалось это голосом гения, голосом Льва Тринадцатого или Петра Великого, носителя огромной идеи, непреклонного, без-

жалостного, сгибающего в дугу всех, но и несущего на плечах своих тяжкую чугунную ношу.

Голос умолк.

Художник очнулся и взглянул на старика. Седой, сухой и хилый старичек вздохнул и наполнил рюмки.

— Одно меня крушит, — более спокойно, низкой октавой продолжал он, — некому дело передать, преемников нет!

— Да ведь у вас уже взрослые дети и все такие хорошие! — удивленно возразил Валерьян.

— Люди-то они хорошие, слов нет, а только что не коммерсанты: интеллигенты все! Эти капитала не наживут! Дай бог хоть бы то, что есть — сохранили! Жена воспитанием их всех перепортила, книжница она у меня, идеалистка старая, все по книгам, все по системе, нагнала полон дом учителей — швали всякой, им бы, как служащим людям, место ихнее указать, чтобы знали они его, а она их — в передний угол! Развалится какой-нибудь выгнанный студентишка и порет дичь со всякими красными словами, а сам — уж видно его наскрозь — рассукин сын, блюдолиз!.. Жена моя ничего этого, бывало, не видит — слушает словеса, да мне ж в лицо фыркает: ты, дескать, что понимаешь? Тебе бы жеребят, а не ребят воспитывать! Твое дело — деньги наживать, а вот это — люди! Хе-хе! Вроде как увлекалась одним эдаким!.. А он — не будь дурак, да старшую-то дочь со двора и смани! Ну, тогда, само собой, жена моя его возненавидела. Денег за убежавшей дочерью я, конечно, не дал никаких, и мучилась она с прощалыгой десять лет, пока от него назад ко мне не сбежала! Живет теперь здесь, ни вдова, ни мужняя жена — изломалась вся! Старший сын — больной, к делу неспособен, а младший — идеалист, вроде как толстовец, не сочувствует мне, перед новыми идеями преклоняется, а того не понимает, что эти идеи придуманы специально против нас, имущего класса, чтобы нас же с нашего места спихнуть! Вот и некому дело передать. На тебя ежели посмотреть — парень ты славный, чистый, прозрачный какой-то, наскрозь тебя сразу и видно! Нет, не деловой, не практический ты человек, не такого бы мне зятя нужно! Ну, так что поделаешь?—Любимая дочка! Последнее и единственное мое утешение! Ведь она у меня — любимая, Валерьян Иваныч, совсем как ребенок, и сердиться-то на нее ни за что нельзя! Не знает ни людей, ни жизни, принцессой какой-то воспитали ее! Что поделаешь? Живите — уж! Об одном только прошу, не обижайте ее!

Художник вспыхнул и вскочил со стула; слова отца как бы ударили его по лицу.

— Что вы, Сила Гордеич? Да я жизнь мою за нее положу!

— Вижу, вижу, теперь-то это так, а жизнь велика, всего бывает, тогда и попомните мою просьбу, берегите ее, не обижайте!

Старик встал, растроганный и готовый обнять Валерьяна.

Художник тоже встал и обнял его. Они поцеловались. Потом опять сели, и купец заговорил совсем другим, деловым тоном:

— Денег Наташа будет получать три тысячи в год!..

Он махнул рукой и с шутливой строгостью зарычал:

— Больше не дам ни копейки!

— А вы ничего не давайте! — внезапно возразил художник. — У меня есть годового дохода тысяч десять, нам и хватит, а если придет надобность, то надеюсь, что вы тогда Наташе не откажете!

Сила Гордеич обиженно взглянул на будущего зятя.

— Как же это так — ничего? Этого нельзя! Сколько ей полагается, она будет получать, а вы,— с прежним воодушевлением заговорил он опять,— если у вас будут лишние деньги, — в банк их положите. Деньги надо беречь, Валерьян Иваныч,— они вам не легко, чай, достаются. Ведь вот теперь у вас успех, слава, зарабатываете прилично, а кто знает — надолго ли это? Пройдет на вас мода, или — не дай бог — болезнь пристигнет, и останетесь как рак на мели! А вы — покуда на вашей улице праздник — деньги копите! Деньги! деньги! Зажмите их в кулак вот так, крепче, покудова они сами в руки плывут, а не сумеете — потом поздно будет, близко локоть, да не укусишь. Послушайте меня, старика,— я долго жил, много на своем веку видел всего: и беден был, и сам капитал наживал; цену деньгам знаю, сколько труда-то человеческого в каждой копейке заключается! А вот вы, видно, еще не знаете, — даже своего труда, заметил я, не цените!

Молодой человек смутился.

— Ваша правда, я как-то не думаю о деньгах.

— Для чего же вы тогда картины ваши пишете? Конечно, деньги хотите нажить!

— Нет! — с улыбкой и удивлением возразил художник. — Нужда — скверная вещь, но, если бы за мои работы ничего не платили, я все равно писал бы. Работа моя сама по себе доставляет мне наслаждение!.. Ну, как вам это сказать? Ведь вот вы купец, а я — художник, трудно представить себе двух людей, более противоположных, чем мы с вами, но у вас — вы сами говорите — есть природный коммерческий талант к наживанию денег, которые вы лично на себя не тратите и даже за грех это считаете. Стало быть, не деньги сами по себе нужны вам, а только процесс созидания капитала, который является в руках ваших силой, управляющей жизнью людей. Благодаря этой чудодейственной силе вы можете, если захотите, творить чудеса: строить города, железные дороги, превращать пустыни в цветущие страны! Благодаря капиталу вы можете творить саму жизнь! Одним словом, капитал вы цените, как творческую силу, вам дорога и приятна возможность творчества. Мне тоже в моей работе важно мое творчество; мы на полотне показываем новые, лучшие, еще не воплощенные формы жизни, лучшие чувства и мысли, бросаем в жизнь идеи в образах. Если вы — строители жизни, то мы — ваши архитекторы, создающие план постройки, чтобы наши воздушные замки вы могли превратить в реальные — из железа и камня, из мрамора и золота. Я тоже, как и вы, думаю, что моя работа — в общем составе с работой других таких же, как я, художников, ученых, писателей и артистов — может иметь влияние на судьбы не только России, но и всего человечества. Ведь от того, что

создаем мы — взгляды у людей меняются, враждующие классы и сословия, расы и народности — примиряются, объединяются на одном вечном и возвышающем чувстве любви к прекрасному! И что мне будет за мою работу — большие деньги, или большая бедность — это уже не главное в нашем деле!

— Ловко подвел! — прогудел Сила Гордеич, с большим интересом слушавший художника. — Однако идеи идеями, а деньги деньгами. Нынче все измеряется на деньги; написал ты ценную вещь — тебе честь и слава и — деньги! Выбился из-под низу — значит ты есть победитель в жизни, сила: получай приз — жену хорошую! Хе-хе-хе!

— Впрочем, — продолжал он с причудливой строгостью: — посмотрю я, как ты пьешь: если плохо — не отдам за тебя дочь, а ежели сможешь мою марку держать — ну, тогда бог с тобой — бери! Ну-ка, наливай-ка, нечего мне зубы заговаривать!

Будущий зять, улыбаясь, налил рюмки, а старик, чокаясь, ворчал чудачливо:

— Люблю я тебя за то, что не из дворян ты, своим трудом и талантом выбился в люди, так же, как и я. Нашему-то роду двести лет, постарше другого дворянского: нынче тот дворянин, у кого деньги есть!

В комнату почти неслышными, как бы воздушными шагами вошла Наташа.

Красавица лет двадцати трех, несколько выше среднего роста, в простом сером, серебристом платье, с темнокаштановой длинной косой, нежно-смуглая, с большими синими глазами, оттененными черными ресницами, художнику она показалась похожей на царевну «серебряного царства» на картине Васнецова.

— Можно к вам? — тихо и смущенно улыбаясь, спросила она глубоким, низким голосом.

— Можно, можно! — весь сияя, весело закричал Валерьян: — пожалуйте! — и вскочил, подвигая ей кресло.

— Ты что, коза, зачем пришла? — шутливо заворчал отец.

— Не пора ли отдохнуть вам, папа? Уж поздно!

Наташа не села на придвинутый стул.

— А вас, Валерьян Иваныч, братья мои ждут в гостиной.

— Ну, и пускай ждут! — с чудаческой шутливостью и с оттенком нежности в голосе возразил отец. — Но только вижу я, что это все твои штуки! Не беспокойся,—вот он, цел и невредим! — кивнул он на Валерьяна. — Грешный человек, хотел я поглядеть на него на пьяного, да не поддается, шельмец, ни в чью у нас игра вышла!

Наташа укоризненно покачала хорошенькой головкой.

— И я тоже ошибся! — весело сказал Валерьян. — Думал, много ли старцу нужно, чтобы свалиться! А теперь боюсь, как бы он меня на обе лопатки не припечатал!

— Ну, положим, что не вам, молокососам, меня напоить! — рычал Сила, тяжело поднимаясь с места. — Однако вижу, парень ты твердый,

с умом пьешь, головы не теряешь! Отдаю за это тебе в супружество любимую дочь мою Наталию! — Наташа!

— Что, папа!

— Поди сюда!

Он взял за руки дочь и художника, потянул их обоих к себе.

— Пойдешь за Валерьяна?

— Как прикажете, папа, — лишь бы вам не в противность!

Наташа лукаво опустила глазки.

— У-у, ты коза хитрая! Не бойся, знаю, что приказ мой по шерсти тебе будет. Какая уж тут противность? Ну, благослови вас бог!

Старик внезапно всхлипнул. Обнявши, поцеловал в лоб дочь и зятя, махнул рукой и нетвердыми ногами направился к двери.

— Отдохнуть пойду. До завтра!

Молодые люди стояли рядом, держась за руки и смотря ему вслед.

На пороге старик остановился и, овладев собою, шутливо погрозил им пальцем:

— Ну, смотрите у меня, живите дружно, а не то — вот я вас!

Тут он улыбнулся юмористически и зарычал с притворной строгостью:

— Лекции моей не забывать! Кто пьян да умен — два угодья в нем!

* * *

Поздно засидевшись накануне, Сила уже сходил посмотреть новую, только что выстроенную паровую мельницу. С юношескою легкостью поднимался по многочисленным лестницам и, повидимому, остался недоволен. Постройкой мельницы и всем имением с образцовым конным заводом заведывал Константин, еще неопытный, под надзором Кронида. Вся суть была в дельном и хозяйственном Крониде, но как же он-то не доглядел? Да и то сказать, Константин заносчив, самоуверен, чужих речей не слушает, все норовит своим умом решать. Из-за этого и с отцом отношения навостренные, нет, чтобы совета попросить, все по-своему делает. А там, глядишь, и проруха! Дал ему на пробу имение, вел бы его по-старому, как исстари заведено, — так нет: еще и мельница не готова, а уж по всей усадьбе электричество провел!

Конный завод сократить бы надо: какие от него барыши? Баловство одно, а он его расширил! В Москву на бега послал двух рысаков, производителя нового купил, когда и старый хорош!

Эх! изменились времена: не слушаются дети отцов! Дмитрий болен, а чем — неизвестно. Только у него и дела, что спит каждый день до обеда, да микстуру глотает. Стихи пишет, на книгах лежит. Ничего не делает. А ведь парню двадцать пять лет! Женить бы надо, на богатой, конечно, а он сдуру на Елене, на сестре двоюродной жениться хочет! Боится сказать отцу, но Силе и без того известно. У Елены нет ни шиша, сиротой в его же семье выросла.

Вчера Сила Гордеич дал свое согласие на брак Наташи, даже с женой не посоветовавшись. Эдак-то лучше, чтобы не втемяшилось ей фордыбачить! Совет-то ее можно и нынче спросить, когда уже сказано Силой Гордеичем «быть по сему!».

После осмотра мельницы побрел не спеша по снежной тропинке на широкий двор усадьбы. В глубине двора виднелось длинное кирпичное здание конюшен конного завода. Обратил внимание на электрические провода, проведенные с мельницы не только в дом, но и в конюшни. Войдя через широкую калитку во двор, увидал, как кухарка выплеснула что-то с крыльца в снег. Кухарка была необычайной толщины, без кофты, с голой грудью и руками. Каждая рука была гораздо толще ноги Силы Гордеича. Он сердито сплюнул и отвернулся.

На дворе встретился кучер Василий, широкоплечий атлетического сложения мужик с курчавой белокурой бородой и высокой грудью.

«Экие они все! — с невольной завистью подумал старик. — Один другого толще! а мы-то? кожа да кости!»

— Василий, отопри конюшню, да кликни конюхов и Кронида позови!

Василий отворил широкие ворота конюшен и бегом побежал в дом.

Сила Гордеич вошел под крышу конюшен, где на обе стороны длинного, темноватого коридора были двери в каменные стойла лошадей. Сел на скамью и стал ждать. Больше года не наезжал из города в имение; хотел сделать опыт, как поведет дело сын? Теперь предстояло произвести ревизию.

Быстрыми шагами пришел Кронид. За ним шли два конюха с деловым выражением лиц. Один — молодой и краснощекий, другой — пожилой, сутулый, — когда снял шапку, низко кланяясь, обнаружил лысину во всю голову.

— Двухлеток хочу поглядеть! — сухо сказал Крониду Сила.

Кронид ничего не успел ответить, как оба конюха кинулись в длинный коридор конюшен.

— Справа начинайте! — крикнул вслед им Кронид.

Вывели под узцы вороного жеребчика, двухлетнего стригуна. Взволнованно поводя агатовыми глазами, стуча стройными крутыми копытами по досчатому, покатому полу, он плясал, думая, что ведут в отворенные ворота во двор, но молодой конюх осадил его умелой, сильной рукой. Жеребчик слегка осел на задние ноги, уперся передними и звучно фыркнул. В морозном воздухе пар из ноздрей коня выскочил двумя косыми лучами. Все засмеялись, кроме старого хозяина. Он сидел, запахнувшись в шубу, бритый, маленький, хилый, выглядывавший из енотового воротника и напоминая в это время гоголевского Акакия Акакиевича. В сравнении с прекрасным конем, метавшим искры из глаз, извергавшим пар из ноздрей, полным красоты и силы, старичок казался ничтожеством. В тусклых старческих глазах и морщинистом, желтом лице застыло скорбное бессилие.

— Уведите, — брюзжащим голосом сказал Сила и махнул рукой.

Вывели другого, потом третьего. Кронид объяснял родословную каждого, от каких маток и производителей происходит это подрастающее поколение. Но хозяин слушал уныло и нетерпеливо. После вчерашней выпивки у него болела голова. Но Сила, скрывая нездоровье, бодрился.

— А ну их! Покажите эту... новокупку то!

Старик улыбнулся насмешливо.

Вывели гнедого рысака-великана. Это был громадный жеребец с лоснящейся темно-золотистой шерстью, с черным, волнистым хвостом до земли, длинною гривой и огромными, добрыми глазами. Стоял спокойно, выгибая лебединую шею и пытаясь дружелюбно толкнуть мордою знакомого конюха.

— Шалишь! — улыбаясь, сказал ему конюх.

Кронид потрепал великолепного коня по крутой, теплой шее. Жеребец не вздрогнул, не шарахнулся, только посмотрел на него умным взглядом черных, блестящих глаз.

— Ну, брат, у тебя нервы — мое почтение! — смеялся Кронид: — тр-р! Родненький! Родненький!..

— Как кличка-то? — спросил Сила.

— «Родненький»! Пятилеток от знаменитых производителей. Гигант, а нрав, как у теленка: хороший производитель будет для дышловых, каретных лошадей!

Сила Гордеич, понимая толк в лошадях, с одного взгляда определил первоклассные достоинства новой лошади: широкая грудь, прямые, как струнки, передние ноги, крутые копыта, пропорциональность сложения, сразу видна порода! Но старик и виду не показал, что лошадь ему понравилась. Сурово пожевав губами, он махнул рукой. Жеребца увели.

— А «Железный» жив еще?

— Жив! Только не выводим его: сами знаете — зверь, а не лошадь!

— Да ему уж, чай, лет двадцать?

— Двадцать два! — вставил свое слово пожилой конюх.

— Старик, а верхом на него так никто никогда и не садился! Запрягаем иногда для проездки: четверо конюхов держат, пока возжи натянешь, а потом — ворота настежь, и уж тогда только держись: пятьдесят верст ровною рысью идет!

— Да что толку-то? — возразил Сила. — В производители стар стал, а ездить на нем — кому жизнь не мила? Продать надо! Ну-ка, погляжу!

Старик встал, кряхтя и охая. Кронид и конюх засуетились.

Остановились в коридоре перед обитой железом дверью.

Все стояли перед ней полукругом: в центре, позади всех — Сила. Конюх отворил дверь настежь. В каменном стойле стоял белый, как снег, арабский конь необычайной красоты, прикованный к стене своей тюрьмы двумя толстыми цепями. Это и был «Железный». От избытка энергии он весь дрожал налитыми мускулами, ходившими под атласной, серебристой кожей, переминаясь на пружинистых, легких ногах, которым,

казалось, ничего не стоило отделиться от земли, взвиться выше леса стоячего, ниже облака ходячего.

Заслышав шум, конь насторожился, поднял уши и, повернув небольшую, красивую голову, слегка заржал, скосил злые, огневые глаза.

— Вот это — лошадь была бы! — с невольным восхищением сказал Сила. — Если бы не характер! Характер-то у него железный! Так и не сломили, а теперь уж поздно! Это не теленок, не «Родненький» ваш!

Старик подумал, вздохнул.

— Жалко, а придется назначить в продажу! Кронид, скажи, чтобы вывели во двор, погляжу его!

— Опасно, Сила Гордеич! Позвать еще двоих придется!

Сила повернулся и вышел из конюшни во двор. Следом за ним шел Кронид.

Через несколько минут раздался топот, и из конюшенного здания вылетел «Железный» с четырьмя здоровыми мужиками, висевшими на длинных железных прутьях, прикрепленных к его узде, по два с каждой стороны. Красавец-конь, весь дрожа от гнева, пытался вырваться и встать на дыбы, но конюхи крепко держали за прутья, упираясь ногами в снег.

При свете утреннего зимнего солнца арабский жеребец казался серебряным и был красив, как картинка. Густой, волнистый хвост, слегка отделяясь от туловища, струился до земли, гладко расчесанная грива падала до сухих, стройных колен, огромные глаза сверкали синим огнем. «Железный» не был так громаден, как «Родненький», но казался крепче, изящнее, легче. Огненный темперамент чувствовался в каждом его движении, обличая тонкую, нежную организацию. В гневе на державших его тюремщиков могучий конь крутился по двору, швыряя висевших на нем мужиков, тряс головой и гривой, испуская не ржание, а рев, звучавший металлическим звуком.

Сила Гордеич стоял в отдалении и любовался борьбой.

Вдруг лошадь круто, почти стоймя поднялась на дыбы, конюхи выпустили прутья, а «Железный», сделав гигантский прыжок по воздуху, грянулся о земь, скребя копытами снег.

Кронид подбежал к нему, схватил за узду: морда коня оскалилась, белки глаз закатились под лоб. «Железный» простонал, как человек, содрогнулся всем телом и остался неподвижным. Кронид пощупал сердце, припал ухом и, поднявшись на ноги, сказал с испугом:

— Разрыв сердца! Удар!

Все окружили павшего «производителя».

Подошел Сила Гордеич.

— Вот тебе и «Железный»! — сказал он. — Значит, полная отставка!

Из конюшни донеслось ржание: заржал «Родненький».

* * *

Сила Гордеич сидел на скамейке в саду у своего дома. Дом его стоял на главной улице в ряду других купеческих и дворянских домов. Почти

все купеческие дома в городе принадлежали прежде дворянам и помещикам, но помещики давно уже приходили в упадок, один за другим разорялись, запутывались в долгах, а дома и имения их за бесценок переходили в руки купечества. Некоторые, наиболее крупные дворянские фамилии еще держались, являясь прослойкой между купеческими особняками, но обитатели дворянских домов жили замкнуто, нигде не показываясь и не играя никакой роли в городе и губернии. Купцы давно уже были владельцами многих дворянских хором в городе и родовых имений в уезде, верховодили в земстве, заседали в городской думе, хозяйничали в банках. Сила Гордеич директорствовал во Взаимном кредите и председательствовал в биржевом комитете. Имя его было окружено всеобщим почетом и уважением, не столько за миллионное состояние — были люди в городе и побогаче его, — сколько за то влиятельное положение, которое он занимал, благодаря большому уму, энергии и деятельной натуре. Бывшую свою хлебную торговлю, которой он удачно нажил состояние, Сила Гордеич счел за лучшее прекратить. По его мнению, уже не те были времена, хлебное дело стало рискованным. Он крепко зажал свой миллион, почти не пуская его в оборот, продавал только тот хлеб, который давало имение.

Мечтой для прозорливого ума Силы была выгодная скупка прогоравших дворянских имений. Это дело он считал своевременным, но проводил его с выдержкой, терпеливо выжидая выгодные случаи. Многие дворяне были у него в долгу, как в тенетах, и он, как паук, все больше запутывал в них свои жертвы. В любое время Сила Гордеич мог оказаться владельцем нескольких больших имений — целого удельного княжества на Волге, — но не спешил с этим делом, не подавал ко взысканию по закладным, ждал, когда помещичьи усадьбы сами свалятся к нему в руки, как созревший плод.

Дворяне естественным путем шли к уничтожению, на смену им уже и теперь выдвигалось купечество. Этот неотвратимый жизненный процесс совершался на глазах Силы Гордеича, а себя и других ему подобных купцов он считал полезными для будущего России, настоящими добрыми хозяевами русской земли. Сила Гордеич мыслил государственно и, не будучи злым или бессердечным человеком, все-таки готовил жестокую участь легкомысленным, беспомощным людям, заложившим ему свои имения, и не только не чувствовал угрызений совести, но считал себя вправе ненавидеть этих безнадежно неделовых, бестолковых и недальновидных людей.

Готовясь сделаться в будущем родоначальником крупнейших землевладельцев в России, он стоял теперь во главе коммерческого сословия в богатейшей части государства и в качестве банкира руководил коммерческой жизнью края. Этот маленький, с виду хилый старичок, ежедневно ездивший на старой лошадке в общественный банк, где объединялись миллионы местного купечества, одним росчерком пера решал большие банковские дела, неизменно проводившие переход помещичьей земли

в руки купечества и отчасти крестьянства. Такова была жизненная задача этого дальновидного, убежденного в своей правоте человека. Революционное движение, издавна существовавшее в России, он ненавидел столько же, сколько и дворянское сословие, но думал, что когда завершится процесс перехода земли к капиталистам и крестьянским обществам, тогда и революцию можно будет обойти, бросив кусок крестьянину. В своем имении он так и сделал: помог мужикам выгодно купить землю в частную собственность. Мужики относились к нему с несомненным уважением.

Вообще Сила Гордеич считался хорошим человеком, либеральным, нового образца купцом, равнодушным к религии и духовенству, но и ничего не имевшим против них, врагом дворянства, но другом капитала, желавшим политических свобод, главным образом, для его преуспеяния. Властный, честолюбивый, но не любивший ничего показного, ненавидевший роскошь и расточительство, он чувствовал превосходство своего природного ума над многими окружавшими его людьми. Основною мыслью его была мысль о соединении капитализма с землевладением и, таким образом, выдвигание капиталистов на первое место в государстве. Таковы были его стремления и убеждения. Банкирскую и биржевую деятельность он любил, уважал и искренно считал общественно-государственным делом.

Свою личную и семейную жизнь стремился согласовать и даже использовать сообразно общим своим взглядам. Уже предстояла свадьба его сына с дочерью Блинова. Сегодня совершается бракосочетание.

Блинов, подобно Силе, у всех на памяти сказочно превратился из ничтожества в миллионера. Пожилые люди еще помнили крикливую торговку на базаре, потом хозяйку магазина, с красным товаром, на которой женился Блинов, ее приказчик. Дела быстро шли в гору, и теперь бывшая торговка превратилась в необыкновенной толщины купчиху, которую словно раздуло от спеси и чванства.

Купили бывший дворянский каменный дом — дворец с зеркальными окнами, двухсветным залом для балов и концертов, с высоким потолками, расписанными итальянскими художниками, с зимним садом и с примыкающим к дому огромным парком, выходившим на противоположную сторону квартала. В этом доме, созданном во времена крепостного права, когда-то жили культурные рабовладельцы, понимавшие толк в красоте и комфорте. В свое время тут шла широкая жизнь старого барства. Рабы давали средства на многолюдные балы и приемы, когда в двухсветном зале гремел крепостной оркестр и танцовала нарядная толпа в кринолинах и фижмах, в блестящих военных мундирах. Потом уезжали в столицы, делали карьеры, путешествовали по европейским странам, прожигали состояния и наконец, лишившись рабов, выродились и частью вымерли. Доконали их выходцы из низов, бывшие мужики, торговцы, лавочники, трактирщики, а теперь первой и второй гильдии купцы, вроде Блинова с Черновым, пришедшие на смену старому культурному дворянству.

Бывшая базарная торговка, поселившись в зеркальном, художественном дворце, оставалась прежней неграмотной бабой, но зазнавшейся от миллионов, напоминая старуху из сказки о рыбаке и рыбке, превращенную золотой рыбкой в столбовую дворянку. Бывший приказчик оставался все тем же длиннобородым мужиком, потребности их оставались прежними, дворец казался ненужным, а венецианские зеркала и художественная мебель ни к чему. На этой мебели сидели люди в нечищеном платье, в грубых сапогах и не знали, что им теперь делать. Блиновы никогда не собирали у себя гостей, да и гости были все такие же, как хозяева, разве только еще проще. «Ну, их, гостей-то! — говаривала старуха Блинова: — какой толк? Только насорят да полы натопчут!» Сам Блинов находится у нее в подчинении, ибо капиталы принадлежат ей. Живут одиноко и скучно, в огромном безлюдном дворце, похожие больше на сторожей этого великолепия, чем на хозяев его.

Два дома Силы Гордеича оказались как раз рядом с дворцом Блиновых, оба старинные, дворянские, деревянной постройки. Один большой, с венецианскими окнами, с антресолями во втором этаже, другой — поменьше, по другую сторону решетчатых дугообразных, железных ворот с висящим над ними никогда не зажигающимся матовым шаром. Двор общий для обоих домов, широкий с каменными службами в стиле стародворянской усадьбы; в глубине двора за деревянной изгородью дремлет обширный, тенистый, сильно запущенный парк, смежный с парком Блиновых.

Когда сватовство состоялось, в заборе, разделявшем сады соседей, в знак предстоявших родственных отношений была сделана калитка для удобств сообщения. «Ну, только вряд ли с Блиновой долго надружим: невыносимая баба». До свадьбы сына Сила Гордеич малый дом или «тот дом», как принято было его называть, сдавал «квартирантам», но теперь дом заново отделали для «молодых». Мебель, зеркала и все убранство дома выписано из Москвы, из лучших магазинов, и уже месяц, как с вокзала то-и-дело привозят запакованные ящики. Теперь все готово: в простенках между окон стоят от пола до потолка литые зеркала без рам, заключенные в тонкую резьбу, резные стулья из грушевого и сливного дерева, на которые страшно садиться толстым купцам и купчихам; поставлены зеркальные шкафы, никкелевые кровати, развешаны ковры, гардины, стоит зеркальная горка для драгоценной посуды, где уже красуются подарки будущим супругам: массивный серебряный самовар, подстаканники, чаши, бокалы, кувшины — всякое серебро. В столовой над ореховым обеденным столом художественная электрическая арматура.

На этот раз ввиду торжественности события Сила Гордеич не пожалел денег на обстановку дома. Это требуется для общественного мнения и видного положения двух миллионеров в городе. Не даром он и купил сразу два смежных дома: для обоих своих сыновей. Одно не хорошо: имение Силы с тысячью десятин чернозема, с паровой мельницей и конным заводом отныне отдано во владение старшему сыну на правах первородства и по случаю выгодной женитьбы.

Но в этом обида для младшего, который до этого управлял имением, трудился, не вылезая из деревни. Теперь его приходится отстранить.

Старик огляделся кругом. Ворота растворены настежь: в доме ждут свадебный поезд. Прислушался. Нет! Еще не слышно, чтобы ехали. Жара спадала. От громадных старых деревьев, еще помнящих времена крепостного права и дворянских балов в этом саду и доме, падали длинные, прохладные тени. Ветви деревьев таинственно шелестели что-то многозначительное, мудрое, примиряющее — о жизни и судьбе людской.

Все проходит. Были дворяне, пожили, насладились жизнью. Теперь черед новых сильных людей, черед Черновых и Блиновых. Да, они несомненно сильные люди, иначе бы и не создали капитала. А дети? взять хотя бы Дмитрия: больной, неприспособленный; дают ему Блинову— конечно, только потому, что он Чернов. Покуда деньги есть — будут жить, как прежние дворяне жили; вот только больших денег не надо в руки давать; тогда, может быть, приспособятся. Молодуха-то с характером, в мать, копейку зажмет. А дела по имению попрежнему Кронид будет вести: собаку съел на этом.

У Блинова, кроме дочери, сын еще есть, Михайло. Никчемный человек. Образования совершенно никакого не дали. Он и вырос балбесом. Наследник миллионов, а компания ему его же приказчики да шофферa. Только и делает, что на автомобиле пьяный катается. Намедни прямо из ворот на чужой забор наехал. Как напьется — отца лезет бить, зачем образования не дал? Вот каковы дети-то пошли! Какая будет смена старым купцам?

От этих тяжелых дум сухое, морщинистое лицо Силы становилось все мрачнее и печальнее. Вдруг зазвенели бубенчики. Сила встал и быстрыми молодыми ногами пошел к подъезду. Там с лукошком в руках, в старинном штофном платье, с кружевной наколкой на волосах стояла Настасья Васильевна.

— Куда вы пропали? — укоризненно сказала она, передавая ему лукошко с насыпанными зернами хмеля. — Едут уж, встречать надо!

Во двор въехала коляска, запряженная парой вороных рысаков, за ними въезжали другие экипажи с поезжанами свадьбы.

Из коляски вышли «молодые»: Дмитрий — во фраке и белом галстухе и Анна — в подвенечном наряде. Они приблизились к старикам и тут же, на крыльце — поклонились им в ноги.

Сила Гордеич всхлипнул, глубоко задышал и осыпал их двумя горстями хмеля по старинному народному обряду, которого все еще придерживалось старое купечество.

* * *

Первого мая в ясное, светлое утро вышел Сила Гордеич из дому прогуляться на «Венец». Так назывался край высокой горы, где стоял его родной город. На Венце, над зеленым обрывом были врыты в землю старые скамейки для гуляющей публики; дома стояли в одну линию и

глядели с горы на Волгу. На одну из скамеек сел Сила Гордеич, опираясь на вязовую палочку, загнутую клюкой.

Крутой откос горы был весь покрыт знаменитыми садами анисовых яблок, антоновки и хорошавки, которыми на всю Россию славился город. Промежду садов вилась разбитая ездой ухабистая шоссейная дорога — пятиверстный спуск с гигантской горы к Волге. Ниже, на берегу виднелись купеческие хлебные амбары и пристань — целый ряд пароходных конторок. Стоял тут на якоре и его собственный буксирный пароход «Редедя», за долги взятый: старье, а когда-то сильнейшим буксиром на всей Волге считался.

Сила Гордеич долго смотрел с горы вниз, где изумительно сверкала разлившаяся Волга под ярким весенним солнцем у подножия зеленой горы, возглавляемой белокаменным городом с пятью золотыми куполами старинного собора. Сила Гордеич смотрел, кряхтел и думал.

Небывалый разлив! Только что прошел ноздреватый, рыхлый камский лед и пошло прибывать! чуть не по аршину в день! все затопило, все поймы залило! все островки и косы песчаные, луга, поля и перелески — все под водою очутилось, и разлилась матушка-Волга около старого, тихого города чуть не на тридцать верст. Как море, плещется она мутными, желтыми волнами, пенится и хлыщет в крутой зеленый берег, винтом винтится быстрина и летит, громадина, без удержу куда-то в даль далекую, в море великое!

Вспомнил Сила всю свою долгую жизнь, всю тяжелую, бедную молодость в родных приволжских местах. Вся жизнь прошла около Волги, и от юности до старости яркой лентой опоясывала эту жизнь Волга. Ярче всего вспоминались Силе волжские весенние разливы: перво-на-перво пассажирские пароходы пойдут, эдакие белые, как лебеди, двухтрубные великаны, густыми протяжными голосами сразу в две ноты поют, красными колесами желтые пенные бугры подымают, к каждому городу, к каждому богатому селу, где только пристань стоит, с праздничным видом заворачивают, чалки на конторки закидывают и тут — что только поднимается на берегу! Суетня, беготня, толкотня, суматоха! торговки со всякой волжской снедью сидят, приготовились, зазывают краснощекие толстухи звонкими, певучими голосами: говор у волжского народа протяжный, круглый, песенный говор.

Крючники — оседланные люди — как муравьи, тюки в три раза больше себя — и не видать его — скрючившись, рысью по мосткам таскают! — пахнет новой рогожей, лыком, свежим тесом, дегтем да хлебом, не разберешь! всякую всячину в пароходное брюхо кидают! и нефть по деревянному жолобу льется «ему» куда-то в ноздрю: ноздрей пьет! Крючники, известно, всегда с песней работают, без песни им невозможно, для работы она и поется, одна песня у них, как у волка: старая, вековечная, бурлацкая:

Эх, ты, матушка да Волга!
Ты широка и долга!..

С реки доносились голоса невидимого хора.

Ладно эта песня у них выходила. С виду будто бы утешаются ребята, играют десятипудовыми тюками, со стороны-то незаметно, как у них спины трещат, руки и ноги дрожат от напряжения; трудная, чортова работа, знает ее Сила Гордеич!

Вдалеке, где синяя равнина широкой реки сливалась с горизонтом, показался дымок: сверху шел большой пассажирский пароход, быстро увеличиваясь в объеме. Через несколько минут к городу подплывала двухэтажная, белая громада, сделала по реке полукруг, заворотилась, и, подходя к пристани, затрубила двухголосым, гулким ревом — «Меркурий» пришел. На берегу, как мошкара, замельтешила чуть видная сверху толпа.

Сейчас на конторку слепой гармонист придет с певцом-мальчишкой; давно их знает Сила Гордеич. У слепого лицо бритое, без бороды и усов, без возраста, безглазое да бесстрастное, застывшее лицо, как лицо судьбы, а мальчишка — веснущатый, беловолосый крепыш — водит слепого за руку. На ремне у гармониста висит гармония, особенная какая-то — «саратовская», с серебряными ладами, с колокольчиками и полутонами. Нащупает скамью слепой и, как только пристанет пароход, так грянет, растянувши мехи, что сразу весь пароходный шум покроет, а мальчишка трубным, густым альтом затянет: «Роковой час настает» — всегда они каждый пароход этой песней встречают. И откуда такой голосина у мальчишки веснущатого?

Чистая пароходная публика столпится на верхней палубе, кидает слепому пятаки, а то и гривенники, а мальчишка знай заливается...

Так и пойдет пароход, зашумят колеса, а ей, публике-то, долго еще будет слышен гармонный гром да мальчишкин трубный голос. К следующему пароходу выйдут опять.

На пароходе, когда идет он серединой неоглядной реки, тоже, конечно, музыка есть: это что, если в первом классе барыни на рояли молотят, а ихние кавалеры жидкими голосами подпевают — пустяковина это! нет: в четвертом классе, где тюки горами лежат, и грязно, и тесно, и неуютно кругом, и Волга — вот она — рядом плещется, там на бочке дегтярной гусляр сидит и на гуслях играет: попадаются еще изредка гусляры на Волге! Денег за игру не собирает; для себя играет и для всего простого народу, которым битком набит четвертый класс: слушай кто хочет, хоть из первого класса чистый господин приди, — не остановится и внимания не обратит. Мужик он самый обыкновенный, лядащий, в лаптях, в старой кумачевой рубашке, в казинетовом пиджаке и бороденка мочалкой у него: забирает корявыми, грязными, заскорузлыми ручищами, водит крючковатыми пальцами по жильным струнам, а ни разу не ошибется, чисто играет, да так забористо, что два мужика непременно выйдут на середину, плечами передергивают и пляской один другого перешибить норовят.

А то на корме вдруг простонародный хор запоет! Это — если жнецы, жнеи да косцы артелью на заработки едут, курские больше, или тамбовские. Так поют, что вся чистая публика с верхнего этажа на них глядит...

Слушает волжские звуки Сила Гордеич, и вспоминается ему все, что слышал и видел он на Волге каждую весну за всю свою жизнь: бегут, поют пароходы белорозовые с красными каймами на черных трубах, гусли звенят, гармонные лады ревом ревут, бурлацкая — крючническая — песня плывет-разливается, волны вешние шумят, и вся приволжская жизнь певучими звуками полна. Сколько их! Перепутались, слились, друг друга покрывают, никто никого не слушает, а если со стороны посмотреть да послушать—хорошо выходит: засмотреться и заслушаться можно.

Расстилавшаяся внизу могучая река, великолепная в своем весеннем разливе, с плывущими там и сям барками, с целой гаммой красочных звуков, смягченно доносившихся издалека, навеяла Силе какое-то никогда прежде не свойственное ему нежно грустное настроение: жаль кончающейся жизни, в которой было все, кроме личного счастья. С необычайной яркостью вспоминалась теперь вся его кипучая, полная энергии, разнообразная жизнь, посвященная одной непреклонной идее: созданию капитала.

И с каким-то небывалым прежде, мягким и грустным сожалением вспоминал он ее.

Да, был он и крючником, был водоливом на барже, был пастухом овец. Но никогда не оставляла его мысль — из пастуха сделаться миллионером.

Ну, и что же? Ну, и сделался! Откуда же это сожаление, как будто вся жизнь была ошибкой? Разве это ошибка — отдать жизнь служению великой идее? Ведь, деньги — это пот и кровь человеческие, труд миллионов людей: великий грех обратить в пыль результаты труда миллионов! Нет, он, как пчела, по капле собирал все это! Создал капитал, а сам жил как бедняк, отказывал себе даже в необходимом, недоедал, недосыпал, страшно работал: во всю силу своей необычайной энергии. Не пожил для себя, не жил сердцем, засушил душу: некогда было чувствовать, некогда любить, а наслаждаться жизнью он никогда не хотел. Работал, жил и страдал для своей задачи. Не жил жизнью обыкновенных людей с их стремлением к счастью. И вот — задача исполнена, жизнь — кончена. Правильная, большая жизнь большого человека. О чем же сожаление?

Волга плыла перед ним во всем своем весеннем юном блеске, ликующая в сознании своей силы и очарования своего. Силе Гордеичу казалось, что никогда еще не видал он такой красоты, как будто в первый раз увидел родную реку. И внезапные, неожиданные, непонятные слезы выступили на его стариковских, тусклых, печальных глазах.

Волжские разливы приносили ему золото, богатство. Но как знать — не придет ли такой разлив, который смоет все построенное им здание, унесет, размечет волнами? Вот — пророчили революцию и, действительно, был девятьсот пятый год. Здание трещало, колебалось, но устояло. Пылали дворянские имения, а Волчье логово уцелело: не потому, что мужики уважали Чернова, — в такое время уважение не поможет, — а просто он подогадливее других оказался: в ту зиму дал денег полицеймейстеру, купил триста пар валеных сапог — и триста солдат на его счет

отправлены были охранять имение Силы. Все и обошлось благополучно. Да что! Разве на этом окончится русский разлив? Вряд ли! Вода-то не убывает, а прибывает, и доберется же она когда-нибудь до устоев, на которых тысячу лет Россия стояла! Уже оползни поползли, не на чем стало укрепиться. Несется куда-то быстрина! Лиха беда от берега оторваться! Унесет всех нынешних хозяев жизни в такую прорву, что назад и не выберешься! Уж и так многое и многих унесло.

Дочь Варвара вышла было замуж за депутата, а теперь он не депутат, а эмигрант.

Жалко, опять промахнулась она с замужеством. Словно сама судьба издевается над ней, — посылает вместо славы и богатства одни унижения да бедность. Но не покинула она своего депутата, разделяет с ним горькую судьбу. Пишет всегда сухо и сдержанно, без лишних жалоб, как и всегда писала: ну, да между строк видно, до какого бешенства ей деньги нужны. Все еще и за границей хочет роль играть. К братьям и сестре зависть ее разбирает: во всем, должно быть, отца винит. Чем же отец виноват? Не лезла бы в революцию!

Знает Сила Гордеич, зачем ей революция нужна: не для идеи, конечно: поди-ка, наплевать ей на мужиков, она их и не видала никогда, никакого интереса к ним не имела! Так — честолюбие одно: министрихой думала быть. Золотые горы снились, а дело-то повернулось иначе. Теперь только тем и живут, что им Сила высылает. Да то ли еще будет? Не к лучшему, а к худшему дело идет. Кому в конце концов попадут в руки капиталы Силы Гордеича? Не разлетелось бы все прахом? Чем тогда будет оправдано их многолетнее собирание?

Костя женился, своим хозяйством живет. Сам толстовец, а жену заядлую дворянку взял! В душе-то и получился сумбур, ходит хмурый да пасмурный. Эх, слабые дети у Силы Гордеича! Ни одного нет настоящего, который бы за себя постоял. Придет новая волна и никто из детей не удержит в слабых руках наследственного капитала. Ненадежны оба его сына, а о зятьях и говорить нечего: интеллигенты! Чем бы за знаменитостями гоняться, взять бы в зятья Крюкова; этот изо всякой революции сух выйдет! Так нет: в интеллигенцию полезли — и вышло дело — швах!

Вот уже два года, как лечится Наташа в Крыму, а все, видно, не поправляется. Пишут, что был плеврит, а теперь катарр легких оказался! А что такое катарр, как не чахотка? Доктора-то никогда правды не скажут.

Глубокую задумчивость старика внезапно прервал знакомый, веселый голос: как из земли вырос перед ним Крюков: легок напомине!

— Сила Гордеич! А ведь я вас ищу! ей-богу! Кузин новую моторную лодку купил, всю нашу компанию собрал! Лодку, значит, испытать хотим, по Волге прокатиться! Кстати, первое мая нынче! Но только без вас никак невозможно! Послали меня за вами, а ты тут! Хорош денек нынче! Едемте, Сила Гордеич, — все уже на пристани ждут!

Крюков, шумливый как всегда, в своей поддевке и красной рубахе — не говорил, а кричал, размахивал руками и по обычаю своему котлом кипел. Никогда не молчит этот шумный человек, не устает, и не спит, должно быть, никогда! А уж как пристанет — ни за что не отвяжется! До смерти заговорит!

Сила Гордеич мрачно посмотрел на него поверх очков, махнул рукой и улыбнулся: любил за что-то Крюкова.

— Так я с вами, с пьяницами, и поехал! — шутливо зарычал он. — Нашли дурака! Знаю я вас: наберете всяких бутылок, напьетесь, а потом — тонуть! Слуга покорный!

Сила Гордеич встал со скамейки и поклонился. Потом сделал вид, что хочет уходить.

— Сила Гордеич! — взмолился Крюков, идя рядом с ним. — Вот те крест, вот те истинный — ни капли не возьмем! С какой стати? Ни боже мой! Все — как стеклышко будем! Прокатимся тихо, смирно, по-хорошему. Боже избави, чтобы что, а либо еще что, а не то что!

Сила Гордеич засмеялся болтовне Крюкова, но продолжал шагать к своим хоромам. Это ободрило озорника. В знак своей честности он даже перекрестился.

— Вот те крест, ничего спиртного! Да неужто же будем пить? Как стеклышко!

— Знаю я ваше стеклышко! А жаль! Кабы не пьянство ваше, поехал бы! День-то нынче! Я все любовался!

— Господи! — закрестился опять Крюков.

— Ну, ладно, вот придем, велю дрожки заложить! Только ты смотри у меня, цыган! Чтобы — ни-ни!

Когда пришли в дом и к подъезду поданы были дрожки с монументальным Василием на козлах — Сила Гордейч сказал, надевая пальто:

— Не верю я тебе. Не надо бы мне, старику, связываться с вами, да у меня сегодня настроение какое-то особенное!

Он пошел вперед, а Крюков, следя за ним глазами, выхватил из буфета бутылку с коньяком, с быстротой молнии спрятал ее в карман поддевки и, садясь в пролетку, продолжал свои бесконечные уверения. Сила Гордеич недоверчиво качал головой.

* * *

Вверх по Волге, против течения, разрезала и пенила встречные волны острогрудая моторная лодка; она прочно и глубоко сидела в воде: не ее поднимали волны, а она резала их пополам и, как хищная, большая рыба, смело мчалась вперед, одолевая быстрое течение, разбивая желтогривые, певучие волны. Мчалась она, словно затерявшись среди водного раздолья: чуть виден был на высокой, зеленой горе златоглавый, старый город, а другой, луговой берег — чуть-чуть маячил на горизонте.

В лодке сидели не кто-нибудь, а именитое купечество города, человек восемь — все имена, все фирмы — сильные волжские воротилы, и уже

не старое поколение, а молодое: сошли со сцены старики — кто в могилу, кто на одр болезни: только один Сила Гордеич не отстал от молодежи — да еще какую марку держал — уже никак десятую рюмку пил! Разошелся так, как давно не расходился! Уже не сердился, что его обманули: откровенно, на самой середине лодки — стол поставили, белой скатертью накрытый, а из погребца и водку, и коньяк, и пиво, и всякую закусь вынули: столько там всего этого оказалось, словно собирались они плыть до Астрахани. Сам Белоусов, хозяин лучшего колониального магазина, за столом бутылки и закуски умеючи расставлял, в стаканы и рюмки всякое винное зелье с прибаутками и присказками разливал, зубы Силе Гордеичу заговаривал. На заглавном месте, у руля, — Кузин — опасный на воде человек: только одного Крюкова переесть да перепить не может, а больше к нему никто не суйся — бочка бездонная и озорник: еще на суше — так сяк, а как на воду попал — пиши пропало: никто ему не указ! С виду таково сладко, да вкрадчиво тенорком говорит, а на самом деле — как есть Чуркин-атаман! И отец его, что помер недавно от запоя — такой же был, царство ему небесное, заводило-мученик! Бывало, как закрутит — так уж недели на две без просыпу! Тот был церковный староста в соборе — и этот за свечным ящиком таково смиренно стоит, тот никогда своих обещаний не выполнял — и этому верить нельзя, а особенно среди Волги: тут он царь и бог, коли за галстух попадет!

Наблюдательно посматривает на него зоркий Сила Гордеич: как будто пока ничего, не дошел еще до точки, да и у самого от коньяку старая кровь по жилам заиграла: так вот и хочется сделать что-то и сказать что-нибудь всем на удивление, чтобы возрадовалась душа: эх, ты, дескать, Волга-матушка! Уж никто, как ты, всех нас богачами поделала! Одарила ты нас, родимая! Спасибо тебе и поклон земной, добрая, щедрая река!

Скучной показалась Силе Гордеичу вся его мудрая, осторожная, беспокойная жизнь, захотелось чего-то яркого, красивого, но ничего по этой части, кроме разгула и пьянства, ему не было известно.

— Эх! наливай, что ли! — сказал он Крюкову и махнул рукой. — Да хоть бы песню спели!

Выпили уже, пожалуй, по пятнадцатой рюмке, а за песней дело не стало: Кузин, певун, завел сладким тенором:

Среди лесов дремучих
Разбойнички идут
И на руках могучих
Товарища несут...

А уж тут все хором подхватили.

Сила Гордеич, конечно, не пел: куда уж петь под семьдесят лет? Только слушал, улыбался и качал головой: ведь вот и разбойничья песня, а хорошая!

— Пароход навстречу! — закричал Кузин. — Ни за что не сворочу! Шире дорогу!

Дошел, стало быть, до точки.

Действительно, прямо на них валило двухэтажное чудище полугрузовой системы, с одним громадным колесом позади кормы: такие пароходы очень большую волну подымают.

Сметил, видно, капитан, или знакомый был, но пароход своротил направо, дал дорогу маленькой моторной лодке: догадались там, что едут на ней не простые люди, а волжские купцы загулявшие.

Ух, какие горы воды поднял за собой пароход! По сажени каждая волна! Вся в золотисто-серебряной пене!

— Ходу! — крикнул разошедшийся Кузин и повернул лодку прямо на саженные волны.

В лодке все зароптали.

— Ну, зачем? зачем?

— Утонуть-то не утонем! — ободрял всех Крюков. — Да ведь вымочимся понапрасну!

— Уж и так намокли!

Сила Гордеич молча уцепился за края скамьи: ох, уж этот Кузин, еще хуже Крюкова! И зачем только поехал? Ведь знает он их обычай: на тройке поедут пьяные — лошади разобьют, на лодке — обязательно тонуть начнут!

Лодка врезалась в водяной кипящий холм и, конечно, не поднялась на него, а разрезала его пополам. В лодку через головы всех со звоном бухнула сразу целая масса воды. Еще момент — и лодка врезалась во второй бугор: опять в нее хлопнулась с грохотом тяжелая, холодная волна.

Никто не двинулся, не крикнул: все словно замерли, облитые водопадом. Еще одна такая волна — и лодка, захлебнувшись, пошла бы на дно, но Кузин, отрезвев, успел свернуть в сторону от водяных холмов, оставленных могучим колесом парохода.

Поругали Кузина, но не очень: все были пьяны и не поняли миновавшей опасности. Не обратили внимания и на то, что, как заявил машинист, руль сломался. Чорт с ним! Чини, коли сломался, а тут согреться да обсушиться надо: выпить то-есть!

И продолжали пить.

Незаметно наступила ночь, черная, весенняя, беззвездная. Волга стала тихой и недвижной, как зеркало. Берега, река и небо — все слилось в одну бархатную, теплую тьму. Мотор бездействовал. Казалось, что лодка остановилась и стоит посредине реки. Все чувствовали себя хорошо, коньяку и водки было еще много. Они галдели и, как все пьяные, говорили разом: каждому хотелось многое рассказать, а другие, не слушая, перебивали.

Сила Гордеич тоже был пьян и думал, что он повеселился, отдохнул душой от всех неприятностей, тяжелых мыслей и тревог своей жизни.

На самом же деле лодка не стояла на одном месте: быстрым весенним течением ее мчало бог весть куда.

Предрассудок.

(Рассказ).

Николай Колоколов.

На полевой дороге лежал пустой коровий рог, проросший зеленой ıесенью. За межу зацепились сквозные дымки ивовых кустов. Коровий)г напомнил Никите деда Касьяна, пастуха. Тихая грусть подвела ıлотную полуголодное, босое — и все же теплое — детство.

— Хороший старик был, петь мастер. А на рожке как наигрывал!

Зазывный голос рожка забрезжил в памяти. От этого — и от того це, что была осень — грудь залилась жалостью к покойному деду асьяну и ко всем, кто в упряжи мужичьих будней прошел невозвратно) неоглядным полям. Отец вспомнился: целую жизнь ломил медведем— : сломил лютую нужду. Мужика загрызла грыжа, взбесившаяся на моло-)й месяц. Теперь мать истаивает покорно — в одиночестве, тоске, бо-:знях.

— ... Приду и скажу: так и так, мамаша, женюсь, и вас в город :ру. Упрямиться нечего. Довольно, помаялись тут — пора и отдохнуть. если обижал вас когда словом, так без этого нельзя. Предрассудки не — нож вострый. Предрассудка никому спустить не могу — такой зрактер.

Никита шел быстро и ровно. В ивняке, зябко чирикая, просыпалась)робьиная стая. Впереди встали деревенские задворки — овинами, ıетами, стогами. Повеяло дымом. Нарастал топот цепов.

Из крайнего овина выбежал Мишка Игнатов, комсомолец.

— Никите Семенычу! Почет течет! Новостишки несешь?

— Здорово, — тряхнул Никита потную и жаркую руку. — И без)востей хорошо. У вас тут как?

— Да что! Видишь — молочу, одно слово. Папироса есть?

— На!

Мишка, тряхнув рыжими кудрями, ловко подбросил полученную зпиросу и поймал ее зубами.

— Во! Давай и огня. У нас тут — могила, одно слово. Главное :ло — стары черти! Все лаюсь. Каждый день — дым коромыслом. Одно ıово — пропаганда!

Мишка выкинул изо рта целый ворох дыма и сплюнул.

— Меня поп боится, ровно нечистой силы. За полверсты сворачивает. А коли тебя кто помянет — отплевывается... Здорово ты честил тогда ихнее сословие, в волости-то!... Помнит.

— Ну, и пусть помнит, — усмехнулся Никита и добавил другим тоном. — Я, брат, жениться хочу. По-советски...

— Да ну!

— Верно. Невеста партийная.

* * *

Избушка под соломой ветхая, низкая: по пословице — через такую хоромину впору прыгать собакам. И Дарья под стать жилью — маленькая, сгорбленная, сморщенная. Приросло старушечье сердце к закоптелым стенам — не оторвешь. На дворе — куры, в избе над столом — соломенный голубь на нитке. Истопит Дарья утром печь, кур накормит, взгреет самовар — сядет за стол.

Кусок в рот нейдет. Залегла в груди обида. Растила сына — души не чаяла, думала: в закопченных стенах будут внучата бегать, кликать бабушку. Многолетнюю надежду будто корова языком слизала. Ушел из деревни Никита в город на службу, отказался от земли — помирать Дарье бобылкой.

— ... К себе звал надысь... Куда мне!.. В городе, того гляди, и умереть-то по-христиански не дадут... Обасурманились!

Соломенный голубь в глазах; на столе ноет самовар. Закипает старушечье сердце обидой на сына. Не пожалеет ветхую мать, воротит по-своему! Будто не его она под сердцем носила, будто не для него беспросветную нужду безропотно выбаливала! Вдове парня выпестовать — легкое ли дело, когда после мужа только портки холщевые остались? «Эх, сынок... Бога забыл, крест снял!..»

— ... Матушка, здравствуйте!

Голосом молодым, крепким отмахнула обиду — будто дым ветром. Залилось теплом сердце, качнулся к порогу старушечий горб.

— Никеша! Сынок!

* * *

— Уж и не знаю, чем тебя еще попотчевать-то, сынок!..

Глаз не сводит старуха с Никиты — будто и не сердилась на него.

Никита ногу на ногу положил, закурил папиросу.

— Не хлопочите, матушка, не из голодающей губернии приехал. Сыт по горло. Давайте-ка, вот, дело говорить. Плохая вам тут жизнь в одиночестве — одно горе. На спокойное положение вам надо, в семью. Жениться я надумал, матушка!

Вскинулась Дарья, по морщинам улыбка разбежалась — как круги по воде от брошенного камешка. Соломенный голубь качнулся в глазах.

— Пора, пора, Никеша... Пора, сынок!.. Уж я так-то рада буду, так...

И вдруг — тревожная догадка задула улыбку, будто свечу. Отвела Дарья глаза от сына, спросила глухо:

— А кого берешь-то, Никеша? Из здешних?

— Нет, матушка. В городе нашел. Там и жить будем. И вас к себе возьмем.

— И венчанье — там?..

— Венчаться мы не станем, только в отделе запишемся. Мне эти религиозные предрассудки, матушка — нож вострый. И невеста — девица с понятием.

— Совецкая, значит?

— Теперь все — совецкие.

Похолодело материнское сердце.

— Никеша!.. Сынок!.. Да как же это?.. Господь с тобой!..

— Дело решенное, матушка.

— Одумайся!.. Не губи ты себя, Никеша... В ноги тебе поклонюсь!.. Вот... Мать родная... В ноги!.. Не губи ты себя, сынок!

У Никиты сжалось сердце. Легкая и смятая, как тряпка, лежала на полу мать, ловя руками сыновний сапог и плача. Быстро встал, нагнулся, поднял старуху с пола, прижал ее на один миг к груди, слабую и прильнувшую, и осторожно опустил на лавку.

— Вы это зря, матушка, — сказал ласково, но твердо. — Я на службе состою и в партии, и понятие у меня всячески правильное. Невесту я облюбовал, и — баста...

Дарья — с лавки долой, снова — в ноги.

— Не губи ты себя, сынок!

Нахмурился Никита, зашагал быстро к порогу.

— Ну, матушка, коли вы будете расстраиваться — лучше мне сейчас в город уйти.

Будто подбросило Дарью с пола. Глаза рукавом трет, глотает плач.

— Не буду... не буду, Никешенька!.. Не буду, сыночек — не уходи только, погости. Прости, Христа ради, дуру старую!..

Опять захотелось Никите приласкать мать, или сказать ей что-нибудь душевное, теплое. Но, сдерживая этот порыв, он бросил хмуро, не глядя на Дарью:

— Я сейчас к Игнатову пойду, а вы тут покамест успокойтесь. Пустяками себя тешить бесполезно.

* * *

Никита встретил Мишку на полдороге к избе Игнатовых.

— А я—к тебе, — сказал парень. — Не терпится, поговорить охота... душу отвести. С отцом сейчас на молотьбе схватился — из-за поповой меры. Муторно после ругани.

— И мне, Михаил, невесело, — вздохнул Никита, тоскливо глядя дырявый и черный пожарный сарай, обгнивающий близ колодца. — эйдем на луг, что ли, к реке?

Пока шли до околицы, Мишка успел подробно рассказать о ссоре этцом, закончившейся тем, что отец рванул ворот своей рубахи и, ударяя бя в грудь, закричал истошно: — «Ну, на, распоряжайся по-своему, роти на новый лад! Заткни отцу рот, чортова служка!» От этого истошго крика Мишке и стало так тяжко, словно его обвинили в преступлеи, которого он не совершал.

— По его так выходит, что я ровно бы для себя эту меру удержать чу. И брат Федор подхалимничать перед ним начал — на меня накился. Тебе, говорит, больше других надо. А мы, говорит, не меньше бя работаем». Да разе про то разговор? Разе я от жадности не хочу ру дать? За их же обида скребет: темные, задабривают лакея, а он век з барина живет. Виноват я, что правду разглядел?.. — Мишка резким ижением зачем-то надвинул козырек картуза почти на самые брови зоскликнул желчно, уязвленно, непримиримо: — И выходит — дьяволы! хотят человека понять...

— Меня, говоришь, поп здорово ругает? — спросил Никита — и дно было, что он слушал до сих пор парня не вплотную, а сквозь свои болевшие чувства и мысли.

— Еще бы не здорово! «Завелись, говорит, в моем стаде паршивые ран да ягненок». Это — про тебя со мной. Не в глаза мне, понятно, — сторонкой: все равно, мол, бабьей брехней донесет... «Если бы не і, говорит, двое — до века бы в моем приходе вера стояла. Другие-то збожники не крепки: нынче попа ругают, а завтра — в церковь прут. этих, говорит, ничем не спасешь. И себе, и другим дорожку в ад торят». э про нас-то.

— Та-ак. А мне, Михаил, тяжелее, пожалуй, чем тебе. С отцом ты эпиться можешь — он не безответный: в силе мужик и в зубы, неровен :, залепит. С таким разговор легче. А вот — что я с матерью поделаю?.. угрозы, ни ругани от нее — одна мольба. В город бы взять... притомиэь, еле ходит... с детишками сидела бы — народятся, небось, скоро. сть бы для себя икону какую захватила, — не мое дело. Да, ведь, не нет она в безбожном доме жить, своей иконкой утешаться!.. Ей подавай ь уклад истовый. И будет тут для нас на каждом шагу — обоюдное эстройство.

Мишка не знал, что сказать. Он сломил сухую ольховую веточку бросил ее в воду.

* * *

В бобылью избенку Никита вернулся вечером.

Под соломенным голубем желтела на столе маленькая лампа, — убь реял над ней кругами. К окнам прилипла снаружи густая синь. ршали в избе тараканы.

Дарья похлебку на стол ставила с изломанной улыбкой: притворялась веселой, не хотела расстраивать сына.

После ужина Никита сказал:

— Так как же, матушка, в город-то... а? Приезжать за вами, что ли?

Покачала Дарья головой.

— Нет, Никеша, какое уж мне у вас житье... Вы и икон-то, сказывал, не держите...

Зачерствел чуточку сыновний голос:

— Опять вы с предрассудками, матушка... Я в партии состою и на должности... Иконы же — один обман и жульничество. И Соня, опять же, в комитете служит...

— Вот-вот, я и говорю, — поспешно согласилась старуха. — Нельзя, сталоть вам... по-божецки-то. Ну, молодые вы, одно слово... можа, господь с вас и не так взыщет. А мне куда уж на старости лет грешить — одной ногой в могиле стою!

— С вами каши не сваришь! — сказал Никита и засопел.

Дарья убрала со стола плошку, завела разговор о деревенских новостях.

— Вуколов Василий женился, из Абрамова взял... Бабочка ничего, шустрая. Свадьбу три дня праздновали. Молодых-то о. Николай до дому в венцах вел.

— Силина Машенька замуж вышла в Ярцево. Село-то больно хорошо. Дьякона намедни наняли. По-люцки, по-божецки...

В блеклом и мутном голосе сквозила тоскливая зависть к тем, у кого все делается «по-люцки да по-божецки». И опять затеплилась жалость к старухе. Утешить бы ее, да — чем? «Не под венец же итти всамделе! Стыда одного сколько. Да и не по совести будет!..» Жалость, отягченная невозможностью утешить мать, переходила в раздражение.

— ... У Шумиловых благословение было — икона-то в серебряной ризе... — Поперхнулась вдруг Дарья, снова плюхнулась в ноги сыну. — Никеша, голубчик!.. Ну, делай ты по-своему, — дай только благословить тебя... Прости дуру старую... Дай благословить, Никеша!

Поднялась с пола, метнулась к божнице. Не успел мигнуть Никита — в руках высохших образки зацвели пыльной краской. И Никита-столпник тут, и богородица Казанская, и Николай-угодник... И тут же — на черном шнурке — повис медный крестик.

— Утешь у гробовой доски, Никеша!.. Дай, благословлю да крестик повешу... Сыно-ок!

Никита дрогнул от затылка до пят, схваченный жалостью, как ознобом. Он даже прикрыл глаза. И в ту же минуту перед закрытыми глазами возникли лица попа Николая и городских товарищей. Вскочил, крикнул чужим голосом:

— Долго изводить меня будете?.. Возьму, вот, всю рухлядь эту — да в лохань... Н-ну?..

Дарья, будто защищая, прижала святителей к груди, смотрела на сына беспомощно.

* * *

Ночью под полатями призрачно светилась оброненная гнилушка. И долго смотрела на нее с голбца, не отрываясь, Дарья.

— В лохань, грит, матернино-то благословение. Эх, сынок! Отворотили злые люди от бога. Как жить будет — без божецкой помоги?

Уже не за себя — за сына тоска душит. Креста не носит, а без креста — кто от невзгод оборонит? Некому. А чья вина, что Никита с пути сбился? Мать родная не удержала его в страхе божьем, а с чужих людей что спросишь?

— Чем помочь, господи-батюшко?

И вдруг — словно тьма поредела — вспомнилось: на ветру молитва матернина — от всех зол оборона. Встать на сыру-землю голыми коленями, молиться в ветер — разнесет ветер святые слова на все пути милого детища. Длинная молитва — Троице, трем богородицам, пяти святым и ангелу-хранителю напоследок.

Будто из омута сердце выплыло. И от ветряного воя, застрявшего в трубе, не тоской в грудь пахнуло, а — надеждой. Ведь, молилась так однажды — когда на царскую войну сын уходил! Помогло.

С голбца спустилась осторожно, надела башмаки на босу ногу, накинула шубенку, платок. Прокралась сенцами и крылечком, замирая при каждом скрипе половиц, на улицу. В лицо ударило изморосью. Дарья обогнула крыльцо, пошла на задворки и, приподняв юбку, голыми коленями опустилась на мокрую землю, на встречу ветру. Стала молиться. Крепнувший ветер хватал слова у самых губ, отрывал и уносил в ночь. Дарья не замечала стужи, изморосью въедавшейся в голые колени, в жилы и ветхие кости. Перед глазами ее были — небесные силы — защита милому сыну. И шопот молитвы падал в ветер — теплыми кусочками сердца.

Когда Дарья поднялась с колен — у нее прыгали от холода челюсти и легкой судорогой стягивало левую ногу. Она с трудом доковыляла до избы и отворила дверь осторожно, опасливо: не проснулся бы сын. Но Никита спал так же крепко, слегка прихрапывая. Дарья, трясясь в ознобе, легла на голбец с полегчавшим сердцем, успокоенная.

— Господь милослив!..

* * *

Никита проснулся резко, как от толчка.

В избе было серое осеннее утро. В груди ныло — то ли от нехорошего сна, то ли от предчувствия. Круто поднял голову, взглянул, опершись локтем о полати, на голбец — вздрогнул. Дарья лежала на голбце под шубенкой и тянулась к сыну больным, лихорадочным взглядом.

— Проснулся, сынок?.. Не...недужится мне... — проговорила она с усилием, хрипло и так торопливо, словно боялась, что он снова заснет.

— Недужится, матушка?.. Голову больно, что ли?

— И голову... и тута... и... — Дарья задохнулась, закашлялась, и в груди ее, и в горле зашумело сухо и жестко. — Всее при...крючило...

Она лежала раскрасневшаяся, с пересохшими губами, простоволосая. Сын поспешно приложил ладонь к ее лбу: лоб пылал, потным жаром несло из-под шубенки.

— Да вы, матушка, того... по-настоящему! — выронил Никита растерянно.

— Тяжко! сынок... ох, тяжко... Плохо...

— Фельдшера надо сейчас... Луку Игнатьича...

— Батюшку бы мне... приобщиться...

Но Никита притворился, будто не слыхал последних слов матери. Он наскоро накинул на плечи куртку и выбежал из избы. Через десять минут рябой и длинный Павел Трофимов гнал вороную лошадь в село Липовцы за фельдшером — Лукой Игнатьичем.

Никита до приезда фельдшера бестолково толкался около матери, не зная, чем ей помочь и что делать. Дарья лежала теперь с закрытыми глазами; казалось, она впала в забытье. Голова ее была слегка закинута на тряпье; худой подбородок поднялся остро. Дыхание было таким частым, что, казалось, оно шумно билось на одном месте — меж впалых обвядших губ.

Изредка больная роняла неразборчивые, глухие, бредовые слова.

«Ужели умрет?.. Да как же это? — с тоской и ужасом думал Никита. — Матушка кровная! Заболела, видно, ночью, а меня не разбудила, сон мой пожалела! Заботница-матушка!» — Осветилась мгновенно в глазах Никиты вся ее жизнь, отданная ему, только ему... И впервые почуял он всю силу кровной тяги, всю скорбь грозящей утраты.

Лука Игнатьич приехал скоро, спросил, когда заболела Дарья, и, одной рукой доставая из кармана слуховую трубку, другой расправил черную тяжелую бороду. Когда он подошел к голбцу и открыл грудь Дарьи-обтянутый изношенной кожей старушечий скелет выступил так подчеркнуто-скорбно рядом с крепкой фигурой широкоплечего фельдшера, что у Никиты защипало глаза и солоно стало в горле. «В чем душа держится»...

Лука Игнатьич слушал недолго и, убирая трубку в карман, сказал:

— Крупоз. Худо. Главное — сердце плохое, склерозное, да и весь организм — веретеном растряхни. Ну, да авось — поправится. Вставали и хуже. Компрессы... жаропонижающего дам... и чтоб ничто не тревожило, — сердце плохое... Еще, вот плохо, что она без сознания: нет ли чего-нибудь кроме крупоза... Ну, да там видно будет!

Фельдшер навязал Дарье на грудь компресс, дал Никите указания по уходу за больной, оставил порошки и обещал приехать завтра утром, если за ним вышлют лошадь. Перед уходом вспомнил:

— Да, вот еще что: не давайте ей резко двигаться. Эдак вот... круто. Для нее это — смерть. И чтоб ничто не беспокоило старуху. А я спешу — в Дерюгине тяжело-больной ждет.

* * *

Дарья долго лежала без сознания, потом очнулась и позвала сына:

— Никеша...

— Что, матушка? — поспешно нагнулся Никита к лицу матери.

— Тяжко мне... ох, тяжко! Помирать, знать... помирать... Ох, тяжко мне!.. Люто...

Дарья говорила хрипло, медленно, с трудом. Каждое ее слово острой болью отзывалось в груди сына. И когда старушечье хлибкое тело затрепетало от кашля, отрывавшего кровавую мокроту — Никиту захлестнул смутный стыд за его здоровье, за его молодость. Отдать бы матери эту силу, перелить в ветхое сердце свою горячую кровь!

— Матушка... Это так, матушка... Вы не бойтесь... пройдет — фельдшер сказал...

Больная, казалось, не слушала того, что говорил сын. В прищуренных глазах ее трепетала какая-то мучительно-настойчивая мысль, какое-то напряженное желание, идущее из глубины сердца, — самое значительное для нее в этот миг, захватывающее целиком.

— За... за батюшкой... сходи... Никеша... приобщиться... — туго выговорила больная, когда приступ кашля приостановился. — Сходи... скорей... сынок... Смерть моя... чую...

Снова затонул в кашле матернин голос, но старческие мутновато-воспаленные глаза не отрывались от Никиты, молили его в смертной тоске, робко и — вместе — настойчиво... И первым порывом Никиты под этим взглядом было — пойти к попу. Но в тот же миг он почувствовал, что это невозможно. «Язык не поворотится — просить... Стыд, позор! Он же высмеет... Село высмеет!» Однако Никита чувствовал, что сейчас нельзя возражать матери.

— ...Никеша... сходи... за батюшком...

— Сичас.

Никита вышел в сенцы. Здесь было холодно, от врывавшегося ветра дрожала на стене запыленная паутина.

Никита стоял минуты три, а подумалось: — не меньше полчаса. Когда вошел — мать, с открытыми глазами, хрипела, как загнанная на смерть. Ей стало заметно хуже. Но мысль — все та же мучительная, настойчивая — стояла в зрачках: будто вся душа прилила к глазам, чтобы приникнуть к причастию.

— А... ба... батюшка? — пошевелила она сухими, втянутыми губами.

При взгляде на нее, Никите стало вдруг душно: стыд сдавил горло. Избегая встречаться глазами с матерью, сын сказал глухо:

— Да нет его... попа-то!.. Уехал с требой в Сватково, а дома у него...

Он не договорил. Больная рванулась к нему всем телом, судорожно цепляясь руками за тряпье. Ужас и отчаяние встали в ее глазах. Никита видел, что она почуяла, угадала обман. И — заметалась, забилась.

— Сы...нок! — вскрикнула она так скорбно и беспомощно-умоляюще, что у Никиты захолодела кровь. — Да я, видь... уми...и...и...

Все еще шевеля губами, она медленно сникала на подушку. Никита сразу вспомнил слова фельдшера о резких движениях, о плохом сердце, которое нельзя тревожить. Но было уже поздно. Когда он склонился над матерью — глаза ее закатывались, мутнея, и изо рта шел последний, шумный, широкий вздох.

* * *

Схоронили старуху в ясный сентябрьский день, когда в небе черными крестами медленно проплывали журавли. К похоронам Никита устал от бессонницы и видел окружающее как бы за стеклом. Лишь на один миг раскололось это стекло: когда приготовились наложить на гроб крышку — гроб качнул кто-то, и покойница, казалось, кивнула головой сыну. Дрожь пошла по телу Никиты — и он даже рванулся вперед, чтобы еще раз припасть губами к холодному лбу. Но лицо матери уже скрылось за белой доской — навсегда.

Потом в избушке были поминки. Около стола хлопотали Василиса Косая и маленькая, вертлявая Романовна. Копавшие могилу соседи ели баранину, пили чай и сначала, по обычаю, хвалили покойницу, а потом заговорили о своих делах. Никита за столом не пил и не ел; его слегка тошнило. Он вышел в сени и выпил ковш холодной, со льдом, воды. Стало легче. Когда вернулся в избу, Василиса Косая, подперев подбородок ладонью, вздохнула в потолок и покачала головой:

— Умереть-то оно что... все помрем! А вот, только... не приобщилась она, покойница-то!.. Не привел господь. Небось, как страшно было помирать-то!..

В груди Никиты горячей и душной волной прошло острое, как ненависть, желание, чтобы все поскорей его покинули.

Но когда изба опустела — стало еще горше. Если до сих пор — все три дня — ему казалось, что он делает что-то для матери, перед ее глазами — пусть закрытыми, — то теперь он остро и глубоко почувствовал, что уже ничего и никогда не может для нее сделать.

Перед вечером Никита, обессиленный, заснул без сновидений. Проснулся ночью, вскочил и торопливо зажег лампу. Оделся и вышел на улицу.

Село спало. Ночь выдалась не по-осеннему теплая, землю окутывала податливая мягкая тишина. Только собаки развилисто лаяли в дали, и короткое, вязнущее в ночи, эхо дергалось тупо, глухо, истаивало вмиг. Никита заспешил к кладбищу. Свежая могила бурела глинистым горбом. Он не помнит, говорил ли что-нибудь матери сквозь землю словами, или — только сердцем.

— ... Матушка, встань! Поднимись, кровная, хоть на часок один! Где найти тебя, где встретимся? По рекам огненным к тебе поплыл бы, через горы ледяные босой пошел бы... Радельница-матушка: горе ведром пила, радость — наперстком.

Встал и, слегка шатаясь, пошел вон из ограды.

За калиткой вдруг вырос навстречу ему кто-то невысокий, шагавший торопливо. Оба едва не столкнулись друг с другом.

— О, господи, — воскликнул встречный. — Кого бог несет?.. Никак ты, Никита?..

— Он самый, — внезапно одеревеневшим голосом отозвался Никита, узнавший попа Николая.

— Тоскуешь по матери? Не греши скорбью. Всех земля возьмет. Бога помни, — успокоится сердце!

Никита странно-отчетливо почувствовал вдруг в темноте все свое тело, неожиданно-окрепшее. Казалось, какая-то тугая зарница потрясла и разорвала на минуту скорбную тьму, скопившуюся в его груди.

— Вы... вот что, — сказал он тихо, но так твердо и с таким тяжелым равнодушием спокойной, продуманной вражды, что поп Николай невольно отступил шаг назад. — Меня на беде ловить нечего. Сердце у меня — не камень, а только... вам дорога, мне — другая.

Поп Николай быстро зашагал мимо.

Никита не заметил, как вышел за село, к голому оврагу. Черные облака цепенели в безлунном небе. Стояла попрежнему вязкая тишина. За оврагом, на лугу, смутно рыжел разостланный лен, а по овражному склону белели мелкие камни, как просыпанные кости.

Подруги.

(Рассказ).

Глеб Алексеев.

Н. И. М.

Четверть часа назад из жизни Натальи ушел мужчина, ее муж. Комната была обидно-пуста и не нужна, и в осиротелости ее стало видно сразу, что она — не удобная, не созданная для того, чтобы в ней счастливо жить. По столу испуганно разбежалась чайная посуда, и в стакане недопитого чаю, который отодвинул он, чтобы уйти, еще кипели слова, какими со злой страстностью покидаемой женщины она бросалась в его лицо. В окно заглядывала осенняя липа; с нее с покорной стремительностью несчастья облетали листья. Из комнаты надо было уйти сейчас же, чтобы не завыть по-волчьи, сердцем в вытье не изойти. Вспомнив, что вечером она читает доклад в клубе швейников, Наталья заметалась как на пожаре, ища лежавшие перед глазами косынку, портфель, пальто, натыкаясь на стулья, которые вдруг словно ожили, нахально выставились на самом ходу, — но руки дрожали и не слушались, будто руки первые поняли непоправимость совершившегося.

Именно в этот момент в комнату вошла женщина в измятом вагонной ночью пальто, с фибровым, крест-на-крест обвязанным чемоданом; к чемодану был привязан жестяной солдатский чайник, звеневший крышечкой на ходу. Женщина вошла без стука, опустила чемодан у двери и пошла к Наталье тем неуверенно-радостным шагом, каким идут друг к другу не видевшиеся много лет, не уверенные в прежних отношениях друзья.

— Наташа! — опасливо позвала вошедшая.

Наталья узнала вошедшую сразу; увидев постаревшее, усохшее в уездном загаре лицо когда-то близкой подруги, смешной чайник, чемодан, увязанный наспех, как на пожаре, в котором погибли ключи, — она заплакала, протянула вошедшей руки, как бы ища у нее, у молодости прожитой вместе защиты от бессмысленности, пробившей четверть часа назад. Тогда заплакала и вошедшая, сливая в эти слезы женской встречи и то свое, что приносила она с собой. Они сплелись руками, плакали обе, без слов понимая друг друга и то, что жизнь была жестока с ними.

— Как же ты постарела, Ася! — сказала Наталья, всматриваясь в лицо подруги и по морщинкам ее, по втянувшимся в обеззубевший рот губам догадываясь о том, что и она, должно быть, постарела так же, и только не смеет приметить этого на себе.

— Так же, как и ты, — отвечала Анна, в свою очередь всматриваясь в лицо подруги, на которое постоянная озабоченность уже наложила пятна прокуренной комитетской желтизны, рассеянного внимания и покорства.

— И вот, — сказала Наталья, насиливаясь, наконец, сказать то, что обе пытались утопить в слезах встречи, — обоим надо начинать жизнь с начала, как тогда... как десять лет назад... Помнишь: — я с Петром уезжали в Москву, а ты и Борис пришли провожать на вокзал?..

Но только совсем к ночи, когда окно заволокло безутешной слизью ночного предгрозовья и обе женщины, боясь темноты и одиночества, прижались одна к другой на диване, — они заговорили о своем...

* * *

— С вокзала я прямо к тебе, — говорила Анна, глотая слова и слезы, — куда же? к кому мне кинуться? Много живет людей на свете, но как обидно мало знает людей человек! Десять лет прошло — помнишь?— с той поры, когда на головах наших трепыхались банты, и банты эти были нам как знамена. Знамена молодости, удачи, радости! И помнишь — ты уезжала! Когда, переполненный, отошел поезд, — мы, увязая в уличной грязи, шли домой, и Борис говорил: «Они счастливее нас, они будут хозяевами жизни, а мы — рабами. Видишь, революция еще кипит, а гусенята уже вылезают на улицу. Гусенята подрастут и перейдут нам дорогу!». Ах, Наташенька! Но в те дни — первые после свадьбы — разве мы думали о счастьи для других? Наше собственное горело как солнце. Ты знаешь это чувство, — теплое до радости, — какое невольно греет сердце, когда встретишь хорошего человека? Оно было у меня к Борису до самых последних дней. Люди стыдятся хорошего больше, чем плохого, но мы не стыдились своей любви. Мы удивлялись всему: нашей встрече, самим себе, лесу, облакам, тому, что называется любовью, что падает в жизнь, еще вчера темную, и вдруг освещает ее до дна. У нас не было голода, как в Москве, и московские приезжали к нам, привозили вещи. Однажды за ковригу хлеба я выменяла граммофон; женщина, принесшая его под окно, еле волочила ноги; я дала ей целый каравай, она сочла меня сумасшедшей, побежала по улице, прижимая хлеб как ребенка... Вечером пришел Борис, — ему в ту пору дали место в счетном отделе исполкома, — и мы завели граммофон, и до самой ночи он пел голосами Собинова и Шаляпина о нашем же счастьи, только другими, более звучными словами. И так прошло много лет, и за эти годы наша квартирка превратилась в крепость, в которую мы впускали только то из жизни, что не могло ее разрушить! Но ты не думай, Наташенька, что мы были какими-то контрреволюционерами. Наоборот, — революция самое нашу жизнь по от-

дельности сделала более весомой, более прочной, словно не по паспорту, а и на деле мы получали право жить в стране, в которой родились. Но — соединенные вместе — не разумом, а инстинктом, всей нашей кровью мы боялись, что революция мимоходом раздавит именно то, что не каждому в отдельности, а нам вместе принадлежит, и что светит нам счастьем только потому, что принадлежит нам вместе и принадлежит только нам. Вечерами Борис лежал на диване, я читала вслух Пушкина и Толстого, в книгах великих писателей мы также находили оправдание нашему одиночеству вдвоем, и до вчерашнего дня я верила, что мой Борис такой — как моя мечта о нем.

Так шли дни, шли годы... Скоро перестали привозить к нам платья, золотые кольца и граммофоны, базары опять завалили хлебом, и наглухо прикрытые окна наших домишек — будто весенние галчата — жадно распахнулись навстречу миру и теплу... Я скажу тебе, Наташенька, — именно в пьяные эти дни, когда люди вспомнили, что у каждого кроме фамилии, по которой нас кликали в годы военного коммунизма, есть еще имя и отчество, и помимо хлеба и дров есть чувства, и пришло время этими полузабытыми чувствами жить, — я вместо общей радости впервые ощутила в себе горечь непонятно тревоги... Это утро я помню до сих пор. Борис ушел в исполком, я штопала у окна его носки, была весна, воздух звенел будто далекие колокольчики — так звенит воздух только весной, — жуки летят, что ли? — и вдруг я роняю носок, гляжу как сумасшедшая на траву, и чувствую, что все, чего добивается человек от жизни, — у меня есть, и больше мне нечего хотеть... С этого дня я и начала ловить себя на мыслях, которые пришли в мою жизнь, как непрошенные гости, и перевернули ее словно корзинку с грязным бельем. Мне стало казаться, что я живу по какому-то расписанию, составленному задолго до меня, что до меня за меня прожито много жизней, и жизни эти вложены в меня, как стаканы, одна в другую, и если сверху потихоньку хлопнуть по ним ладонью — они расколются все сразу. Ах, Наташенька, у каждого, должно быть, человека бывает в жизни час, когда рождается он в мире, а не в самом себе, и когда надо ему отыскивать свое место на всей земле.

Тогда я принялась мечтать о ребенке. Ах, как я хотела иметь ребенка! Я металась по ночам, я думала только о нем, я знала, что ему я отдам всее себя. И вот я забеременела...

— Ты забеременела? — сторожко спросила Наташа, нагибаясь к подруге.

— Да... Это был день торжества, какого во второй раз не случится. У меня было ощущение, что теперь я пришита к земле как пуговица, навсегда, и меня не оторвать. Борис принял это известие со спокойствием человека, выполнившего самый большой свой долг, и в потемневшую комнатку нашу опять заглянуло счастье первых лет. Но тогда же я заметила, что чувство мое к Борису начинает двоиться, будто раскалываюсь я пополам, и половину себя отдаю ему; за его труд, за жизнь для меня,

вторая моя половина не только принадлежит тому будущему человеку, :оторого я ношу, но даже враждует с первой, борисовой. Эта раздвоен:ость заставила меня поближе заглянуть в самое себя: что же я такое конце концов? Ведь мы не видим ни лиц своих, ни своих поступков, ,аже своего характера не знает человек — себя мы учимся находить по ругим, а тут словно в зеркало заглянула я в ту половину, которую отовила другому человеку как почву. О, Наташенька... в этом скорбном глублении в самое себя было наслаждение, имени которому я не знаю. I увидела, что я, для которой работает солнце, умею отлично солить огурцы готовить обед, выводить пятна на шерсти и красить выгоревшие платья, о передать тому будущему, чью жизнь я вынашиваю в себе — как оправание своей собственной — ничего кроме этих секретов не могу. Моя кизнь оказывалась удобной и мягкой как наш диван, но рождая нового еловека, единственное, что я могу сделать — уступить ему просиженное вое место, с которого трудно встать: — до того оно удобно.

Это было открытие, опрокинувшее всю жизнь. Все для меня стало укой. Готовлю обед, на который раньше уходила большая часть дня, — солю его слезой, особенно едкой потому, что не знаю: — откуда она? Трибираю комнату — а прибирать ее я любила, — комнатка наша так светилась чистотой, — и вдруг щетка валится из рук от ощущения евозможной бессмысленности того, что я делаю. Это ощущение бессмысенности неустанно расло во мне, неуловимые пчелы повседневных забот гали жалить меня, выгонять из дому, в котором милые вжившиеся в меня ещи стали мне чужими, — и целыми днями, как только уйдет Борис, пропадала из дому, а в нем покрывалами оседала пыль на столе, на кроати, на шкапу, заживо заметая следы моих забот. За время этих скитаний словно открыла жизнь. Я поняла, что живя я только защищалась от :изни, проходила по ней как покупательница, отбирая лишь нужное ля моего счастья. А теперь меня стало интересовать все под-ряд. Пароходы на реке, полевые работы, базары, ремонт мостовых — все под-ряд. нашем городе ведут электрическую установку, — я часами наблюдала а проводкой, словно это была моя расширившаяся до пределов улицы омната. И однажды землекопы покрыли меня матерной бранью, с наглой езнаказанностью загоготали мне в лицо за то, что я вмешалась в их работу; режде эта брань ударила бы меня как пощечина, я побежала бы домой, ткнулась в подушку, с неделю не выходила бы из своей крепости, а теерь, забыв, что я — женщина, я едва удержалась, чтоб не ответить таой же забористой бранью. Я пошла в исполком, вызвала заведывающего ехнической частью, сказала ему, что землекопы ставят столбы лишь бы оставить, а это — ни к чорту не годится. Он очень заволновался, назвал еня товарищем (впервые в жизни называли меня так) и сейчас же поехал рабочим. На другой день я пришла на место работ опять, и вот, Натаенька, рабочие поздоровались со мной, и от этого их приветствия я окраснела как девчонка, побежала домой, и плакала, как не плакала г забористой их матерной брани.

Я поняла, что до сих пор я не жила, а лишь собиралась жить, прислушивалась к жизни, подглядывала за ней из своей раковины, а не смотрела прямо в ее лицо.

Тогда я решила сделать аборт и выйти из своей скорлупы в жизнь. Куда податься в жизни? — не знаю, я только убеждена, что каждому человеку жизнь дает работу не только для того, чтобы напихать желудок. Дав нам смысл жизни, революция и от нас требует осмысленности ее изживания. Видишь, с каким трудом я приходила к тому основному в жизни, с чего ты, счастливая, ее начала?

Но у меня был Борис. За десят лет жизни в одной комнате мое чувство врасло в меня, я привыкла к нему как к себе, но даже теперь я не знаю: — какой он? Как многие в нашем городе — он был двойным и замкнутым: одним — для себя, другим — для всех. От революции у него задержалась привычка оглядываться: не идет ли кто сзади? — и пригибавший к земле страх, что революция вернется, именно его схватит и повесит на фонарь. Смеющимся я видела его только дома. Но у нас в городе люди вообще не смеются, даже в кино, на самой веселой пьесе, на гуляньях — словно революция декретом отменила смех. Нашим городом — незаметные и потому непобедимые — правят дети. Да, Наташенька, это — так!.. Своими неудавшимися жизнями, а из ста жизней редко удается даже одна, — люди выстилают дорогу детям, которые за это должны доделать недоделанные ими самими дела, додумать недодуманные их мысли. Что нужды, что наши дети поступят со своими жизнями так же, мы то надеемся, что наши дети — лучше нас. Может быть, так и надо!.. Но, принося эту жертву, той же жертвенности люди требуют от окружающих; подымая выше своей головы, словно чашу со святыми дарами, детский горшок, они требуют, чтоб восхищались их походкой, и по степени восхищения судят об окружающих как о людях, делят людей на «он как работник», «он как коммунист» — и на «он как человек». И последнее — главное... А что может быть хуже родительской зависти или смешнее родительской гордости в наши с тобой дни?

И вот вчера я насмелилась ему, самому близкому мне человеку, сказать все. Он пришел домой часов в пять, и я нарочно приготовила зеленые щи, которые он так любит. Он сидел за столом, с удовольствием ел, а я глотала свое волнение, обжигавшее как перекипевшие щи. Я смотрела на его лицо, милое и родное мне, на короткие его, в покусанных ногтях руки, на смиряющую плешь, которая уже засветилась на его голове, и думала о том, что сказать ему то неуверенное, но для меня сейчас уже самое ценное — в привычной обстановке нашей крепости, — у меня не хватит решимости.

— Борис, — сказала я, — ты можешь исполнить маленькую мою просьбу...

— Ну, конечно, — а какая будет твоя просьба?

В голосе его скользнула тревога, — с такими словами я обращалась к нему, когда мне нужны были чулки, ботинки, новая блузка. И если

у него не было свободных денег, — я по самому тону его вопроса, как сейчас, догадывалась об этом. Он был добрым, — ему трудно было отказывать мне.

— Нет, нет, — засмеялась я, — я хочу попросить тебя пойти на Трубеж... До революции мы часто ходили туда гулять...

Он улыбнулся, — как все подозрительные люди — он был доверчив, а, может быть, принял мое желание за блажь беременной. Но он пошел со мной, и на реке я сказала ему, что хочу сделать аборт, так как родить для того, чтобы только родить — бессмысленно, а родить повторение себя — преступление.

От испуга у него потемнели глаза, он растерялся, стал маленьким, пришибленным, каким я не видела его даже в самые черные дни революции.

— Нашего ребенка? — в забытьи повторял он, — нашего ребенка, Ася? Для чего ж тогда мы жили? Для чего ж тогда вся человеческая жизнь? Ведь он один — лучшее, что останется от нас с тобой двоих...

Я заплакала, и он взял меня за руку.

— Видишь, как разраслись здесь кусты... — ласково, как с больной, заговорил он, — и даже лавочки нет, она, должно быть, сгнила... десять лет назад на этом месте мы нашли нашу любовь...

Я огляделась вокруг, — и в самом деле это было место нашего объяснения. И ведь он-то? Он — мой милый Борис, которому десять лет назад я вверила свою жизнь, и который теперь, десять лет спустя, дает мне еще большее, чем свою любовь — своего ребенка...

— Тебе холодно, — сказал он, помогая мне подняться, — ведь осень... ты должна беречь себя не только для нас с тобой...

Он пошел впереди меня, неуклюже раздувая сапогами осеннюю пыль, а я — словно на веревочке — шла позади, мучительно думала о том, что Борис, самый близкий мне человек, — сейчас так далек мне, как никто в нашем городе, чужой еще более, чем даже обругавшие меня рабочие... А в небе уже загорались звезды, и шла ночь, — последняя наша, ужасная ночь... Ах, Наташенька! Дома он напился чаю и молча стал раздеваться; я знала: — он будет говорить со мной ночью: ночью на кровати он находил слова, какие не давались днем. И вот мы легли, я завернулась в свое одеяло с головой, — закрыла глаза, молилась богу, всему миру и Борису, чтобы только пережить эту ночь! Он протянул ко мне руку, я умоляла его не трогать меня, я целовала его руку, я кусалась, царапала его лицо, но он скрутил мне руки назад, взял меня жестоко и жадно, будто я ему не жена, а, взяв, отбросил как вещь... Он скоро уснул, в свете луны мне было видно лицо его, поднятое на подушке. Тогда я взяла нож и с ножем просидела над ним всю ночь... Моя ненависть к нему была так велика, что, если бы он — шевельнулся, — я воткнула бы нож в его сердце.

Утром он гремел сапогами как пожарный, независимо насвистывал, он улыбался мне нахально, но глаза его были печальны и пусты, словно

из них вытекла жизнь, и я поняла, что мужским своим насилием он пытался вернуть меня к себе. Я натянула одеяло до подбородка, — мне вдруг стало стыдно, что он — полуодетый, а я при нем лежу в кровати...

Уходя, он насмешливо сказал:

— Может быть, и сегодня пойдем на Трубеж?..

И вот он ушел; я вскочила с кровати, наскоро собрала чемодан и этот чайник, и с первым же поездом в Москву... В поезде я всю дорогу простояла на площадке и пела песни... А завтра я сделаю аборт, и куда хочешь... хочешь в поломойки, в курьерши, в кооперативную лавку отвешивать соль!..

Дай же мне руку, Наташенька! Сегодня мне опять — восемнадцать лет, и если до сих пор я только защищалась от жизни, то теперь держись жизнь! Защищайся, жизнь, от меня!

* * *

— Этот недопитый стакан, — заговорила Наталья, — был последним, он гневно отодвинул его и ушел, чтоб никогда не вернуться. А я, видишь, — плачу, вместо того, чтоб радоваться и презирать, как презирала все десять лет совместной нашей жизни. Это невольное мое, жалеющее презрение началось, должно быть, в тот день, когда мы сели в поезд, чтобы в нем уехать, как сказала ты, в революцию. В Москве мы пришли во Дворец Труда, его посадили принимать объявления в профессиональную газету швейников, а меня — в помощницы ему. И вот десять лет он принимает объявления и будет принимать еще десять лет, а я — профработница губернского масштаба.

К своему теперешнему положению я шла с трудом и годами, главным образом потому, что я женщина. Одно то, что я не могу матерно ругаться, как при огорчении, при радости, при удивлении, во всякий момент жизни, когда не хватает ему обыкновенных слов, выражается русский человек, будь он хоть трижды партиец, — мешало мне стать товарищем в полном смысле этого слова. Но изо дня в день, незаметно для самой себя, я сдавала все свое женское: я стала курить, остригла волосы, одеваться стала так, что из женских нарядов на мне осталась одна юбка, и толстовки, которые покупал Петр для себя, мы носили по очереди. Я упрямо влезала в этот новый для меня мир, ибо знала, что новые отношения должны строиться обязательно при нашем, женском участии, иначе мужчина и на этот раз найдет возможность отпихнуть нас на второй план. Но сегодня я знаю и то, Асенька, что, отказавшись от своего пола, женщина — верно! — теряет его неудобства, но не выигрывает ничего из того, что присуще сильному полу. В личной жизни с Петром мы нашли компромисс, который удовлетворил нас обоих. В браке всегда кто-нибудь один оказывается первым, — такой «способной бабой» оказалась я, и то мужское в Петре, что возмущалось этим, скоро уступило место привычке и удобствам, которые ему мое первенство давало. — Я помню, как впервые он — а не я — поставил самовар: он был дома, я поздно приехала с заседания,

С каким уничтожающим торжеством он принес его из кухни! Он сам разливал чай, он выпил чуть не десяток стаканов. Но с тех пор самовары так и остались за ним с той разницей, что приносить их он научился не торжествуя. Обедали мы во Дворце Труда, — дешевле и удобнее нам обоим. Я должна сказать тебе в этом, в специфическом смысле... мне, в сущности, ничего не было нужно, но временами у меня принималась болеть голова, по спине побегут мурашки, дрожат кончики пальцев, и во рту — вкус табачного пепла... В эти минуты я невольно засматривалась на мужчин, вздрагивала от мужского голоса... Мне был нужен муж, и на утро я снова была нормальной... Любви, о которой так хорошо пишут твои Пушкин и Толстой, я не признавала. А в этом и была, должно быть, моя ошибка. Сейчас я знаю, что женщина может жить только одним. Что ей ни дай — какое хочешь равноправие, она все равно будет смотреть в стенку. Если у нее нет любимого человека — она будет смотреть как в стенку — в свое дело. Вероятно, так будет до тех пор, пока биологически не создастся новый тип женщины. Я не была верна ему... понимаешь? Однажды мы поехали в экскурсию, и в лесу один товарищ обнял меня и повалил на траву. Был вечер и большая луна, он был не противен мне, и, главное, я знала, что он — мой товарищ по работе, мы одних мыслей люди, — и ничего не видела плохого в том, что по обоюдному желанию мы будем принадлежать друг другу. Но на другой же день с болью и с удивлением я заметила, как с этим товарищем исчезла простота отношений, мы избегали заглянуть друг другу в глаза, даже враждебность какая-то пробежала меж нами. Будто в его глазах я стала менее ценным работником, и даже не только в его глазах — а и в своих глазах я увидела себя работающей словно сбоку... Человек от других людей может скрыть все, даже убийство, а вот отношений мужчины и женщины на глазах других никак не утаишь. Скоро и другие товарищи-мужчины стали говорить мне всякие глупости, заглядывать в глаза, прощаясь, задерживать мою руку. Сначала я не обращала внимания, но каким-то образом это начало влиять на мою общественную работу и на мое положение. Вот что заставило меня дорожить своим мужем. В конце концов он давал то, что мне было нужно, он был не настолько глуп или классово различен со мной, чтобы ставить меня в невыгодное положение как работницу, и в то же время он как бы оберегал меня от досадных таких случайностей.

Просыпаясь утром, я прежде всего хваталась за газеты: — ну, как сегодня то, во имя чего все мы живем? И поражение коммунистов на выборах в Германии, ход китайской революции, забастовка английских горняков — были так тесно связаны с моей жизнью, с моей человеческой личностью — что смерть Сун Ят-сена заставила меня плакать, как будто у меня умерла мать. Это каждодневное ожидание мировых событий наполнило меня сознанием важности моей личной жизни, стало содержанием ее и целью. Жизнь — борьба, и я, Наташа Кондратьева, — из трехсаженной комнатушки на Палихе не только слежу за всем миром, скрутившимся в этой борьбе, но принимаю в ней участие! Ты сказала,

что, когда понесла ребенка, почувствовала себя пришитой к земле, как пуговица. А я, Асенька, не пуговицей, а хозяйкой земли чувствовала себя, ибо кто же рискнет всерьез отрицать, что будущее земли — за нами, за коммунистами?! Так шли дни, и в каждый из них я приносила себя в жертву, отдавала все: молодость, время, женственность, семью, средства, ибо очень большая часть моего жалования уходила в мопр, осоавиахим, на подписки на поддержку бастующих рабочих в Англии, в Греции... И вот этим летом я была в доме отдыха в Сочи. Целый месяц я не читала газет, была всецело предоставлена самой себе, своим мыслям, делам. Я была одна, отпуск Петра не совпал с моим. Целыми днями я просиживала у моря, — оно плескалось у моих коленей, а я впервые думала о своей жизни, как она есть, о жизни, не связанной ни с миром, ни с задачами, а только о Наташе Кондратьевой, приехавшей из Рязани в Москву завоевывать счастье и мир. И этот мир я завоевала, а простое, человеческое счастье, которое есть у каждой мещанки в вашем неулыбающемся городе, — счастье оказалось не завоеванным, оно ушло мимо рук. Тогда я стала думать о Петре, — может быть, он не годится, чтобы дать мне счастье, и впервые в разлуке и издали тот легкий холодок презрения, какой всегда есть у женщины к мужчине, если она чувствует себя больше его, начал таять. Я поняла, что мне не достает его голоса, его походки, его рук, ощутила досаду на то, что в нашей с ним жизни было мало — если так можно сказать — непонятного... И вот за целую неделю прежде срока в странном, доходившем до восторга волнении — я мчусь в Москву. Всю дорогу я думаю только о нем, я называю его ласкательными именами: Петей, Петрушей, Петушком, как постеснялась бы назвать прежде, я не сплю две ночи, представляю себе: — как приеду, приду к нему, рассмеюсь, брошусь ему на шею! И вот вчера, чуть не плача от радости, врываюсь в наш дом, звоню три звонка, он вышел мне отпереть, а, увидев меня, побледнел, сказал, чтоб я пришла через десять минут, будет скандал, потому что у него другая женщина, и нужно время, чтоб она успела одеться и уйти.

— Я объясню тебе все, но сейчас — уходи...

И, взяв из моих рук чемоданчик, он толкнул меня назад на лестницу. Эти десять минут на улице я простояла у палатки моссельпрома, не спуская глаз с парадного. И в эти десять минут передо мной поднялась моя жизнь, я увидела ее ничем не прикрытую, не прикрашенную никаким лозунгом, — жизнь, которую я отдавала другим, и которая сегодня вспомнила, наконец, обо мне самой.

Из парадного вышла девушка в коротенькой юбке, в шляпке чугунком, — она шла, покачиваясь в походке сытой, удовлетворенной лаской женщины, пряча глаза, чтобы не расплескать по чужим лицам своего счастья. Я пошла ей навстречу медленным шагом судии. Я вся дрожала. Я боялась, что могу вцепиться ей в волосы, ощущала к ней такое страстное чувство вражды, что будь у меня нож — я бросилась бы на нее. И когда мы поровнялись — она в презрительном качании ресниц подняла глаза, и в них я прочла торжество победившей.

И вот я поднимаюсь по лестнице, к изменившему мужу — понимаешь? — и вместе со страстной, неодолимой злобой к ней, только что ушедшей — несу к нему, к моему Пете, свою вину! Да, свою вину, за то, что не была женщиной...

Петр встретил меня с наглостью вора, пойманного с поличным. Все это слова: «свобода», «свобода», «свобода личных отношений», — а право собственности на человеческую личность не сумели отменить даже в революцию. Он гневно ходил по комнате, ероша глаза и размахивая руками:

— Ну, что ж тут такого?.. Я — мужчина, и не мог ждать, когда ты вернешься...

Он защищался теми словами, какие сказала ему я. Он лишь возвращал мне то, что строила я сама, как фундамент своей независимости. Мы стояли друг перед другом в предельной оголенности, и опять чутьем, а не мыслью я поняла, что, закричи я сейчас, попробуй унизить ту, чья губная помада еще не смылась с его щеки, — он начнет сравнивать, и я проиграю.

— Ну, полно! — рассмеялась я, — разве я не понимаю... ты очень остроумно поступил, что вытолкнул меня назад, пока никто из соседей не вылез в коридор...

Он ждал скандала, ждал слез, какие и в самом деле кипели во мне, но я подходила к нему по-товарищески, — и он растерялся.

— Что же я тебя купила, что ли? — продолжала я, — ведь не только за то мы боролись, чтобы передать нищим дворцы, а фабрики — рабочим... Если отменять собственность — прежде всего отменять собственность на человека...

— Наташа, и ты говоришь это... серьезно, а? — спросил он.

Его голос звучал такой тоской, какой никогда я не слышала прежде, словно через него, как через окно, шла она из пустоты.

И весь вечер мы вздрагивали, когда один обращался к другому, и весь вечер мы отводили глаза. А ночью — впервые за всю совместную нашу жизнь — я пришла к нему сама, я была требовательной как женщина, и впервые стала женщиной — ты понимаешь? — именно в эту ночь. Обессиленный и удивленный, он заснул на моей руке, — и я всю ночь стерегла его сон. И уж под самое утро, когда в кухню пришла молочница, и голоса — хриплые и злые со сна — загудели в коридоре, я тихонько поднялась, завесила окно, чтобы солнце не било в его лицо, вышла на кухню, приготовила чай, сварила яйца в мешочек, дрожа от мысли, что они переварятся, а он не любил вкрутую, и они действительно переварились, и я варила яйца еще раз. Когда он встал и увидел, что я все приготовила, — он улыбнулся мне благодарной улыбкой, и эта улыбка светила мне наградой за бессонную ночь, и за эту улыбку я могла бы не спать еще десять и сто ночей... Я стала переодеваться, чтобы итти на службу... Я подошла к зеркалу, спустила рубашку, впервые не стесняясь при нем, и в зеркале я увидела его глаза, следившие за моей обнаженной грудью неотступно и холодно — словно он оценивал меня, сравнивая

меня с той. И тогда я увидела сама, что грудь у меня опустилась и висит, и мне стало холодно и стыдно. Это было ужасно так же, как если бы надо мной занесли нож.

— Я знаю! — закричала я, — ты опять пойдешь к ней...

Он ничего не ответил, его руки лежали на столе, будто накрыли выпавший некстати взгляд.

Я поняла: — он решил, и бесполезно все, что я сейчас сделаю. Эта бесполезность родила во мне отчаяние. И тогда, зная, что каждым своим словом я буду проигрывать, каждым движением буду рыть яму, в которую сама же упаду — я закричала о том, что люблю его, что ничего в жизни у меня нет больше его, все сон, — и мир, и английские горняки, и хозяйка земли с Палихи были сном, но я еще проснусь, и, проснувшись, буду ему рабой... Я ухватила его руки, целовала эти руки, державшие меня за сердце, но он резко отодвинул стакан и встал... Он жалел меня, растерзанный мой вид и грудь, выпавшая из рубашки, — были ему гадки...

— Оденься, — сказал он с улыбкой.

И тогда я крикнула:

— Подлец! — и плюнула в его глаза.

Он вздернул плечами, засвистал под нос и подошел к столу. Он взял со стола портфель, взял с вешалки пальто, — взял пальто, чтобы не вернуться... И вот он ушел, и он не вернется, а у меня нет сил даже крикнуть о том, что я прошла мимо жизни, и обойденная жизнь мстит мне за это!

* * *

Пустая, томившая предгрозовьем ночь кончилась, и обе подруги заснули в слезах. Но небо за ночь не выплакалось, и туча все еще висела над городом и пахла водой. Перед самым восходом, вместе с воробьиной тревогой, стронулся ветер, он нес городскую пыль, она застилала окна, и мир за окнами лежал грязным и неприбранным.

Наташа проснулась первой. Как это часто бывает после больших нервных потрясений — она долго не могла понять: почему рядом с ней лежит Ася? — а, вспомнив, застыдилась. Вчера—в женской безысходности — подруга казалась ей единственным, самым близким человеком, сегодня она была чужой настолько, что при ней было стыдно своей наготы. Соскочив с дивана, Наташа побежала за платьем, и видела, что и подруга не спала, что из-под спущенных ресниц она следила за каждым ее движением таким же настороженным и чужим взглядом.

— Помнишь, — сказала Ася, усмехаясь, — ты вчера сказала, что мы опять встретились на маленькой станции, от которой по разным дорогам пойдут поезда нашего счастья?

— Да, помню, — отвечала Наташа, закрываясь платьем.

— И больше мы никогда... Слышишь, Наташенька?.. мы никогда больше с тобой не встретимся... Твоему счастью помешаю я, как ты помешаешь моему...

Огненная лапа.

(Роман).

(Продолжение).

Хаджи-Мурат Мугуев.

9.

— Нет... это прямо не постижимо уму... Вы обратите внимание на эту нефть... более прекрасной я не видывал во всю жизнь... Масло... янтарь... нектар, — и восхищенный Вильбуа, зачерпнув ладонью жидкую тягучую массу, медленно слил ее обратно в кожаное ведро...

Черные маслянистые капли тяжело скатывались в ведро, играя на солнце, словно черные алмазы.

Словно угадывая мою мысль, консул восхищенно протянул:

— Не нефть... а чистый бриллиант!..

Вокруг нас стояли равнодушные курды, со спокойным любопытством озиравшие редких и не совсем обычных гостей. Они услужливо помогали нам, залезая в нефтяные ямы, вытягивая из колодцев ведра с жидкостью и бесстрашно заползая в черные нити пещер, где скопился горючий газ...

Осмотр наш не обошелся без курьеза, к счастью, не оставившего никаких серьезных последствий. Мистер Гигос, вся храбрость которого исчезала вместе с дневным светом, — никак не решался забраться в черневшие гроты нефтяных пещер, но, наконец, когда наш осмотр был почти уже закончен, и довольный Вильбуа истребил не менее трех дюжин пластинок на фотографирование нефтяных богатств, наш славный, но не совсем бравый Гигос расхрабрился и полез было в одну из пещер. Но, не пройдя и трех шагов, он, как видно, испугался и, забыв о предупреждении Вильбуа, зажег спичку, желая продолжать путь. В ту же секунду вспыхнул ярким пламенем скопившийся в пещере газ, и оглушительный треск, сопровождавшийся сильным пламенем, ошеломил перепуганного агента. Не успели мы притти в себя от неожиданности, как бедный Гигос вылетел пулей из пылавшей пещеры, вопя благим матом о помощи и стараясь потушить затлевшее на нем платье. Мой Дерибаба, не растерявшись ни на секунду, вывернул на Гигоса ведро с холодной водой и этим остановил злоключение бедного агента, под дружный хохот сбежав-

шихся отовсюду курдов пытавшегося привести в порядок свой растерзанный туалет...

Через полчаса все смятение улеглось. Гигос, сменив мокрую рубашку на широкий китель Вильбуа и уже смеясь, благодушно вспоминал свое трагикомическое приключение; газы, бывшие в пещере, выгорели, и огонь потух, а Вильбуа, подогреваемый жарой, торопил нас обратно в поселок.

Уходя, мы забрали несколько экспонатов нефти, а Вильбуа, опросив местных жителей о величине нефтяного поля, что-то записал в своем дневнике, отметив на дорожной карте осмотренные нами источники густыми точками, жирно поставленными красным карандашом.

По словам старшины, вся западная часть хребта Мардинских гор и плоскость, спускавшаяся к Моссулу, изобиловала подобными месторождениями нефти, и сотни источников и колодцев прорезали почву, дыша светильным газом и выбрасывая на поверхность тяжелые струи нефти.

— Вы видите!.. вы слышите!.. — поминутно перебивал его рассказ возбужденный Вильбуа, и глаза все сильнее загорались жадным и беспокойным огоньком.

Выступать обратно решили к вечеру. Так как Гигос ничего не знал об официальном положении Вильбуа, то консул решил и не рассказывать ему о себе, несколько раз, впрочем, будто бы случайно, сказав о том, что он инженер, интересующийся нефтяными разработками в Ираке. Впрочем, Гигос и не интересовался этими вопросами, так как это не касалось его сферы торгового агента, а желание угодить высоким гостям и полное доверие к имени лорда Хьюза и погонам лейтенанта уничтожали всякую подозрительную мысль.

— А вы, мой друг, не проговоритесь, — обратился ко мне консул, — ибо я не хочу создавать вокруг себя больших подозрений. Особенно же будьте сдержаны с княгиней...

Я вздрогнул... опять княгиня... здесь что-то, несомненно, есть... но, когда я открыл было рот, чтобы спросить Вильбуа, мой толстяк-консул быстро отвернулся и, напевая что-то под нос, поспешно вышел из шатра.

Часам к шести, когда зной спал, и с гор повеяло прохладой, наш небольшой караван двинулся в обратный путь. Только к самому утру наши усталые кони подошли к еще спавшему Хуммару.

У ворот агентства, борясь с дремотой, стоял часовой, открывший ворота, в которые шумно въехала наша небольшая экспедиция.

10.

Мистер Гигос оказался не только хлебосольным хозяином, но и тонким знатоком виноградных вин. Будучи британским подданным, а потому и англофилом, он завел у себя исключительно английские по-

рядки, и только в одном он остался армянином до мозга костей, это в сверхъестественной любви к виноградному вину. Несмотря на отдаленность расстояния, он имел почти все сорта персидских вин, начиная от желтого хамаданского вплоть до сладкого шарапа Шираза. Но особенную симпатию он питал к кахетинскому вину, присланному ему от какого-то дядюшки из Тифлиса, через Энзели и Керманшах.

Вильбуа, не упускавший нигде случая выпить доброго вина, как и приличествует настоящему французу, отведал все эти вина и весьма изрядно их похвалил, хотя потом, когда мы остались наедине, он заметил, что подобную дрянь он пил впервые, и, конечно, весь этот букет вин он охотно променяет на одну бутылку старого бордо. Я не протестовал, о вкусах ведь не спорят...

О том, что произошло позавчера ночью, ни я, ни воспитанный француз не обмолвились ни словом. Во время обильного и тяжелого, как все английские завтраки, брекфаста было решено отправиться на катере в «научную поездку». Мистер Гигос охотно взялся сопровождать нас, хотя, по его собственным словам, он с трудом мог отличить кузнечика от таракана. Мистрис Хьюз и корреспондентка, одетые по-дорожному, добросовестно закусывали, запивая завтрак «настоящим ширазским вином». Княгиня, вышедшая к столу позже других, ела мало, но была весела и шутлива и отведала вина, предложенного ей хозяином. Лейтенанта и его подголоска не было вовсе. Они с самого утра ушли на охоту, предупредив хозяина, что опоздают к завтраку и не смогут отправиться в экспедицию.

После завтрака мы, оставив слуг в селе и захватив с собой только Дерибабу, отправились вверх по реке в поисках наиболее подходящих, по определению натуралистов, мест. Второй катер остался в селе, поджидая лейтенанта и Слепцова, если бы они вздумали присоединиться к нам.

Отъехав верст семь к западу от Хуммара, мы остановились у отлогого берега, пляжем спускавшегося к реке. Вокруг берега рос невысокий кустарник, высокая трава, облитая солнцем, чуть колыхалась, пригибаемая к земле легким ветерком. Поодаль, на холме, виднелись заброшенные развалины какого-то, вероятно, доисторического, городка. Кругом не было ни души.

Дерибаба и матросы выгрузили на берег наш багаж и помогли натуралистам развернуть их сачки и снаряды. Через минуту они бесстрастно зашагали, возглавляемые мисс Эвелин, пугая лягушек и кузнечиков, по траве. Княгиня, Вильбуа, леди Хьюз и я последовали за ними. Мои спутницы, по примеру мисс Эвелин, были в мужских костюмах и высоких охотничьих сапогах. Дерибаба, которому наскучило сидеть у наших вещей, увязался за нами. Разбросавшись веером, наша группа медленно продвигалась в сторону развалин. Мистер Гигос, несмотря на похвальные качества гостеприимного человека, оказался трусоватым спутником, ни за что не желавшим итти к руинам, так как, по его словам, в них гнез-

дилось множество змей кара-дженгель, и водилась даже Гюрза. Но слова «храброго» Гигоса вызвали обратный результат. Услыша, что в камнях можно встретить старую знакомую — Гюрзу, корреспондентка, напрягая силы и еле вытягивая ноги из густой травы, направилась к скалам. Мы последовали за ней. Зная, что Восток всегда, а особенно теперь, полон всяких неожиданностей, я захватил с собой пару ручных гранат, а на спине Дерибабы болталась десятизарядная винтовка системы «Ли и Метфорд». Мисс Эвелин добралась до камней, за ней забрался и Дерибаба. Надо сказать, что кубанец питает своеобразную нежность к этой энергичной мужеподобной девушке.

— От бисова баба, як вьюн, — философствовал казак, глядя, как она деловито рассматривала в бинокль раскинувшуюся по ту сторону холма степь.

Постепенно вся группа подошла к холму. Несмотря на уверения Гигоса, мы не только не встретили Гюрзу, но не нашли вообще ничего, кроме нескольких скорпионов и двух-трех фаланг. Внизу, под холмом, тянулась дорога в Керкукк, как объяснил нам мистер Гигос. По всей степи, далеко верст на десять-двенадцать, не было видно ни одного жилья. Голая степь, почти пустыня, начиналась за нашим холмом. Мы разглядывали в бинокли всю панораму степи.

Вдруг Дерибаба нагнул голову и, прислушавшись, сказал:

— Кажись, конные едуть...

Мы замолчали. Действительно, где-то за холмом, внизу, слабо цокали копыта. Еще через несколько минут на дорогу, ниже нас, выехала группа вооруженных всадников. Конные не замечали нас, так как мы, сидя в камнях, были почти скрыты от их взоров.

— Это позавчерашние курды, — сказал Гигос и, привстав на камни, крикнул что-то по-курдски.

Всадники разом остановили коней и, как по команде, взбросили винтовки на-изготовку. Гигос продолжал кричать, называя себя. Двое из всадников что-то ответили и, сойдя с коней, стали подниматься на холм. Минуты через три они были около нас. Один из них был тот, с которым я позавчера вел беседу на улице, другой был старше и с более почтенным видом. Подойдя к нам, курды вежливо поклонились. Справившись о здоровьи всех и узнав причину нашего приезда, они сказали, что здесь трудно найти что-либо интересное, но что в Курдистане, там, откуда они родом, водится много самых разнообразных птиц и зверей, таких, каких они никогда не встречали здесь.

— Финик вкусен, когда созреет, но у него слишком длинный ствол,— сказал арабскую пословицу Гигос и засмеялся.

Оба курда переглянулись и сдержанно улыбнулись.

— Какой красавец! — сказала княгиня, глядя на курда.

Молодой курд был действительно красавцем в полном смысле этого слова, а живописный и воинственный костюм дополнял его красоту. Мисс Эвелин попросила разрешения снять курдов, но старший из них запро-

тестовал, сказав, что это грех, так как нигде в коране нет указания на это. Молодой, смеясь, согласился. Корреспондентка раза два щелкнула аппаратом. Посидев еще несколько минут и выкурив свои трубочки, курды спустились к поджидавшим их спутникам. Прощаясь, княгиня взяла у молодого курда на память его широкие четки и отдала ему взамен свой маленький изящный бинокль. Курд был очень доволен подарком. Уходя, старший спросил, как зовут нас. Я сказал ему и, в свою очередь, спросил его имя. Курд широко улыбнулся и ответил:

— Амир-Афшар.

Уже снизу, сидя на конях, молодой курд крикнул нам:

— Если аллах поможет, мы скоро, наверное, опять увидимся с вами.

Копыта снова зацокали по камням, и конные рысью поскакали вперед.

Несмотря на усиленные поиски, экспедиция наша не могла найти ничего подходящего. Все, что встречалось до сих пор, было уже засушено и заспиртовано натуралистами. Видя, что мы теряем впустую время и помня слова майора, я предложил компании вернуться обратно в Хуммар, перенеся поиски на другой день. Все с облегчением вздохнули, а особенно радостно приветствовал мое предложение сам мистер Гигос, вина которого, как видно, не позволяли ему удаляться от них на длительный срок. Обратное путешествие прошло без всяких приключений, и через некоторое время катер наш пристал к берегу Хуммара. К нашему удивлению, второго катера у пристани не было, а встретившие нас слуги Гигоса передали Вильбуа адресованный ему пакет с сообщением Гильдебрандта о том, что, ввиду срочной необходимости, он со всеми оставшимися людьми и багажом выехал обратно в Сади-Кянт и полагает, что и нам следовало бы срочно отправиться обратно. Огорченный Гигос упрашивал нас остаться пообедать, но дамы, под влиянием моих настояний, решили теперь же возвращаться назад. Наскоро закусив, мы, провожаемые моторной лодкой Гигоса и добрыми напутствиями, двинулись в Сади-Кянт.

В пути княгиня перешла ко мне на корму, где я полулежал на коврике, бесцельно глядя на берега Каруна. Она села около меня и, глядя через поручни на воду, сказала:

— Как тебе понравился этот яркий курд? Не правда ли, хорош?

— И даже очень, — равнодушно подтвердил я.

Она повела глазами в мою сторону; я не отводил своего взгляда от бежавшей за кормой синеватой воды.

— Я хочу подарить тебе его четки, — сказала она.

— Пожалуй, подари, только я не знаю, чем отблагодарить тебя взамен, — сказал я, взглянув на нее.

— Я тебе скажу. Я была бы очень благодарна тебе, если бы мы еще раз пошли к славному Бен-Кадыру.

— Изволь, хоть завтра, — сказал я.

Довольная улыбка пробежала у нее по губам. Берега проносились мимо нас. Мы уже входили в Диалу. Моторист вел катер с максимальной

скоростью, так как я приказал ему не жалеть мотора и гнать судно возможно скорее. Присутствие княгини волновало меня... Странное влияние имеет на меня эта удивительная женщина. Оставаясь наедине с собой, я долго и часто разбираюсь в своих чувствах, стараясь найти в себе хоть искру любви к ней, и не нахожу. И, тем не менее, меня безудержно влечет к ней и влечет настолько сильно, что я начинаю бояться этой могучей власти тела. Левая рука княгини как бы случайно коснулась моего плеча, и моментально знакомая истома и волнение охватили меня. Эта женщина, как нектар: чем больше пьешь и узнаешь его вкус, тем сильнее и непреодолимее жаждешь его. Чувствуя мое состояние, она тихо улыбнулась и, искоса взглянув на меня, шепнула:

— Милый.

И снова, одним движением ее губ и глаз, я был выбит из равновесия. О, проклятая власть тела! Теперь я понимаю несчастного лейтенанта, так истерически рыдавшего прошлой ночью.

К нам неуклюже пробирался Вильбуа. Мы втроем, трое близких и в то же время трое чужих людей, сидели молча на корме мчавшегося катера и думали. И каждый из нас знал, о чем думает его сосед.

11.

Майор, против обыкновения, был сух со мной. После первой встречи он просил меня зайти к нему. Разговор, по всей вероятности, коснется позавчерашнего инцидента. Я очень рад, так как всю эту неприятную и довольно нелепую историю надо покончить когда-нибудь.

Входя к майору, я предполагал, что он будет один, и мне придется вести разговор наедине. Я не то чтобы не хотел очной ставки с Гильдебрандтом, но после ночной истерики мне было и жалко и стыдно за этого здорового и сильного мужчину. Войдя в комнату, я увидел майора, сидевшего за столом, сбоку от него сидел лейтенант, не обративший на меня никакого внимания. У стены, там, где была большая карта Месопотамии, стоял, опираясь о стул, Слепцов. «Компания не из приятных», — подумал я. Отдав честь, я подошел к майору и спросил его о цели моего вызова. Майор встал из-за стола и, принимая официальный вид, сказал:

— Ввиду полученных мною сведений от господина лейтенанта Гильдебрандта и прикомандированного к моей миссии для секретных поручений господина Слепцова, вас подозревают в двух больших и тяжелых преступлениях, сержант. Первое — это измена, выразившаяся в сношениях с курдскими и арабскими повстанцами и их представителями. По сведениям этих двух господ, не далее как позавчера, в два часа ночи, тайно от всех, вы пытались встретиться с ночевавшими в селе Хуммар главарями курдского племени Кельхор, с которыми днем вы имели таинственную беседу один, намеренно пропустив вперед своих спутников. Несмотря на попытку лейтенанта задержать и даже арестовать вас, вы, тем не менее, самовольно ушли и вернулись только в пять часов утра, проведя всю ночь с курдами. Второе обвинение выдвигается против вас

г. Слепцовым, по наблюдениям которого вы все это время ведете пропаганду среди местного населения в пользу большевиков. Помимо этого вы здесь же в селе, под видом изучения арабского и персидского языков, имеете конспиративную квартиру, откуда ваша пропаганда распространяется по окружности. Прошу вас, сержант, дать мне сейчас же, в присутствии этих господ, ваши объяснения... Нужно сказать, — уже мягче добавил майор, — что я лично ценю вас как опытного солдата, знающего лучше многих местную службу, быт и условия, и что ваших самых простых и коротких объяснений будет вполне достаточно.

Я молчал. Все мое существо было возмущено этой подлой и низкой местью, где так гнусно переплелись ложь и подлость. Лейтенант и Слепцов отлично учли, что ни при каких обстоятельствах я не назову имени княгини и не объясню майору причину моего ночного исчезновения. Таким образом, главное обвинение — в измене — не будет опровергнуто, а второе обвинение — в большевизме — логически вытечет из первого.

— Ну-с, сержант. Я жду, — напомнил мне майор, в волнении барабаня по столу пальцами.

— К моему глубокому сожалению, господин майор, я не могу и не хочу объяснить вам причину моего ухода ночью. Да, я действительно уходил в два часа ночи и вернулся только к пяти часам утра, но смею вас заверить, что ходил по личным делам и никакими изменами и разговорами с курдами не занимался.

— А можно ли узнать, по каким это личным делам мог выходить в чужом, незнакомом селе сержант и почему так долго длились эти «частные дела»? — ехидно задал вопрос Слепцов.

— Господин майор, по некоторым соображениям, я бы просил разрешить мне не отвечать этому господину, — сказал я.

Злая усмешка показалась на лице лейтенанта.

Добряк-майор растерялся. По всему его виду было заметно, что он ни на грош не верил обвинению меня в измене, но мое молчание и мои ответы приводили его в смущение. Он ухватился за мою фразу и спросил меня:

— Может быть, вы, сержант, не хотите говорить в присутствии этих джентльменов? В таком случае вы можете просить переговорить со мной наедине.

Я взглянул на Гильдебрандта. Тревога забегала в его глазах. Он переглянулся с Слепцовым, который, казалось, подбадривал его. Злость охватила меня. Ну, ничего, я вам припомню как-нибудь это, господин лейтенант. Глядя прямо на него, я сказал:

— Благодарю вас, господин майор. Но я ни сейчас, ни наедине ничего больше сказать не могу. Все обвинения, выдвинутые против меня, ложь, и господин лейтенант больше чем кто-либо знает это.

Глаза Гильдебрандта были устремлены куда-то в сторону. Только Слепцов улыбнулся и развел руками в сторону майора. Майор насупился. Он нервно прошелся по комнате и, остановившись против меня, резко крикнул, волнуясь, мне в лицо:

— Это ваше последнее слово?

— Да, — сказал я, — последнее.

— Лейтенант Гильдебрандт, — обратился майор к лейтенанту, — немедленно возьмите двух солдат и арестуйте сержанта. Держите его под караулом на мониторе, до моего особого распоряжения.

— Слушаю-с, — вытянулся Гильдебрандт и направился к двери.

Дверь широко распахнулась, и в комнату вошла княгиня. Она крупными шагами подошла к майору и, глядя на него в упор, сказала:

— Эти два господина, — не глядя в их сторону, она указала пальцем, — обманули вас. Они отлично знали, что сержант идет на свидание ко мне, и, если сержант не сказал ни звука об этом, это только делает его еще выше и порядочнее этих джентльменов.

Мертвое молчание воцарилось в комнате. Гильдебрандт, пораженный внезапным появлением княгини и ее смелым и открытым признанием, стоял у двери с помертвевшим бледным лицом. На нем ежесекундно сменялись выражения стыда, боли и отчаяния. Слепцов с трусливым и жалким видом жался у стены. Он, кажется, многое дал бы сейчас за возможность очутиться где-нибудь далеко за пределами Сади-Кянта. Лицо майора поминутно теряло окраску. Оно из розового становилось белым, и наоборот. Наконец, он овладел собой. Не надо было слов, чтобы по внешнему виду моих обвинителей угадать правду, сказанную княгиней.

— Лейтенант Гильдебрандт, — как бы продолжая свою речь, сказал майор, — немедленно же отправьтесь на монитор и не сходите с него раньше, чем я не разрешу вам этого. А вы... — тут он повернулся в сторону сжавшегося от страха Слепцова, — как только мы вернемся в Бомбей, чтобы я вас больше не встречал в Индии. Теперь же дайте мне и этой даме слово, — если в вас осталась еще хоть капля джентльменства, что вы ни звуком и ни словом никогда и нигде не обмолвитесь о том, что здесь сегодня происходило.

Оба «джентльмена» наклонили головы и через секунду исчезли в дверях. Майор подошел ко мне. Он долго жал мне руку, затем внезапно крепко обнял меня, еле выговорив от волнения:

— Прошу простить меня, — затем, подойдя к княгине, нагнулся и поцеловал ей руку. — Вы храбрая, смелая женщина, удержавшая меня от большого греха. Простите и вы меня.

Княгиня обняла его голову и поцеловала в лоб.

Когда мы возвращались домой, я, еще не совсем придя в себя от этих превращений, спросил княгиню:

— Как вы об этой истории узнали и каким образом очутились у майора?

Она долгим взглядом посмотрела мне в глаза.

— Я сделала это потому, что, кажется, полюбила тебя.

Она помолчала и добавила:

— Моей вины в этом немного, главная же лежит на милом Вильбуа, который заботится о тебе не меньше твоего казака.

Так вот оно что. Это славный француз, отлично зная, на что способны оба друга, предупредил о случившемся княгиню.

— Сегодня мы вместе, — не правда ли? Ведь пока наши враги находятся под арестом на пароходе и не сумеют помешать нам.

Я благодарно поцеловал ее руку. Оглянувшись, я увидел в окне майора. Бедный старик стоял с опущенной головой и о чем-то долго и мучительно думал.

Дома я расцеловал волновавшегося Вильбуа.

За ужином нас было еще меньше, чем в прошлый раз. Майор, огорченный событиями дня, прислал сказать, что не сможет выйти к столу. Князь, чувствуя приближающийся приступ малярии, принимал все меры к ликвидации его и также не появился за столом. Лейтенант и Слепцов сидели на мониторе, и только я, Вильбуа да всегда сонный мистер Хьюз представляли за столом сильную половину человеческого рода. Натуралисты, занятые спиртованием своих жертв, поужинали раньше и теперь не отходили от своих препаратов. Несмотря на нашу малочисленность, ужин прошел оживленно и весело, причем мисс Эвелин против ожидания оказалась обладательницей очень приятного сопрано. Она спела несколько милых народных ирландских песенок, которые были со вниманием прослушаны аудиторией.

Было уже совсем поздно, когда общество стало расходиться по домам. Мы с французом взялись проводить княгиню. Пройдя с нами несколько шагов, Вильбуа вдруг заторопился и, провожаемый смехом княгини, исчез из наших глаз. Темная беззвездная ночь скрыла нас от взоров редких прохожих, встречавшихся на улицах Сади-Кянта. Молча, как будто по уговору, мы обнялись и свернули в финиковую рощу, тянувшуюся на холме, над Сади-Кянтом. По ту сторону холма, к реке спускалось арабское кладбище. Кругом было тихо и безмолвно. И снова, как вчера и раньше, я был отдан во власть этому роскошному телу с его безумной и ненасытной жаждой любви. В промежутки, когда сознание слабо озаряло мой рассудок, я делал попытки вырваться из чар этой обольстительной сирены, но жадные губы тянулись к ней, и я снова падал в бездонную чувственную пропасть.

Эта ночь была самой безумной и бредовой. Даже сейчас я не могу вспомнить всего, что говорила мне княгиня, и как во сне, смутно и неясно, встают в памяти мои собственные слова.

Кажется, сегодня я сказал ей — «люблю».

Кажется, а впрочем не помню. Я только твердо знаю, что сейчас, когда я пишу эти строки, и когда она находится вдали от меня, я не люблю ее, не хочу и даже ненавижу. Странно, незаметно для себя, у меня сорвалось с пера это слово — «ненавижу». Милый сержант, вы, кажется, начинаете превращаться в истерического лейтенанта. Прошло уже больше часа, как мы расстались с ней, и я, индивидуалист и штирнерианец, каким я любил рисовать себя другим и даже себе самому, сижу, волнуясь,

за столом. За окном ночь, скоро рассвет. Рядом со мною мирно спит Вильбуа, и только я, штирнерианец, ха-ха-ха, да еще, быть может, больной и издерганный лейтенант не спим и думаем о ней, о той, которая в своих руках держит мою и его судьбу. Я вскочил. Мне пришла в голову дерзкая мысль. Я решил сейчас же, не откладывая ни на секунду, пойти к дому княгини и, подобно Печорину, через окно взглянуть на нее. Быть может, она так же, как и я, не спит, переживая минувшее свидание. Я быстро вышел на улицу и через минуту был уже у дома Кятхуды. Собака заворчала за стеной, я переждал минуту и полез по кривому стволу граната на стену. Дом спал мертвым сном. В одном окне слабо мерцал свет. Раздвинув ветви дерева, я пытался заглянуть через стекло, но расстояние мешало мне. Бесцельное сидение на дереве показалось мне смешным мальчишеством. «Княгиня давно спит и, конечно, даже во сне не помышляет о тех треволнениях, которые испытываю я». Я полез по стволу вниз, в эту минуту на улице послышались осторожные шаги. Показались две фигуры, направлявшиеся в мою сторону. Я решил переждать и итти домой. Выглянувшая на секунду луна осветила лица остановившихся внизу людей. Я чуть не вскрикнул. Под деревом стояли княгиня и Гильдебрандт. Они говорили тихим шопотом, но все, что они говорили, ясно и четко запечатлелось в моем мозгу.

— Значит так, мой ревнивый паша,—говорила княгиня,—вы даете слово, что завтра же извинитесь перед сержантом за ваш некрасивый поступок?

Лейтенант хотел что-то возразить.

— Молчите, Арчибальд. Это мое непременное условие, и вы должны исполнить его. И второе — эти несколько дней я буду проводить с ним и только с ним; вы же обязаны оставить вашу необузданную ревность и не мешать мне. Даете слово?

— Вы любите его,—простонал Гильдебрандт, сжимая руками голову.

— Нет, милый лейтенант, я не люблю его, потому что эта любовь была бы гибелью для меня, хотя, сознаюсь, он лучший из всех, прошедших мимо меня. Вот потому-то я и хочу, чтоб он полюбил меня так, как любил покойный Стокс, как любит меня Генри О'Брайн, как любите вы. И я сделаю это. Он — первое препятствие на моем победном пути, но я смету его и сделаю и его покорным и ручным.

— А я? — с тоской спросил лейтенант.

— А вы, милый, вы — после. Вы — уже ручной. Мне надо приручить его, и, как только я это сделаю, я опять буду вашей. А пока не мешайте мне, — иначе вы потеряете все. Ну, прощайте!

Она протянула руку, лейтенант сделал робкую попытку обнять ее, но не решился на это и припал к ее руке. Калитка захлопнулась. Постояв минуту неподвижно, лейтенант тихо пошел на монитор.

У меня пропала охота подглядывать в окно. Я слез с дерева и поспешил домой.

Восток уже был подернут предутренней розовой дымкой.

12.

Когда мы входили во двор, нам представилась следующая картина. У бассейна сидел Бен-Кадыр, справа и слева от него сидели мулла и местный, уважаемый всеми, торговец Хаджи-Юсуф. Несколько арабов почтительно стояли перед сидевшими, а двое, усиленно жестикулируя, что-то с жаром и большой убедительностью говорили сидевшим. Мальчик проводил нас к толпе.

Бен-Кадыр и мулла приветствовали нас. На мой «селям» [1]) отозвалась вся толпа. Княгиня села рядом со мной на ковер, и мы стали прислушиваться к говорившим. Оказывается, один из крестьян Сади-Кянта обвинял скупщика сырых коконов в недобросовестной оплате товара. Некоторые из толпы громко подтверждали слова истца, другие защищали скупщика. Сидевший сбоку муллы юноша быстро записывал арабскими иероглифами показания обоих тяжущихся, держа на коленях лист бумаги и длинный калимдан [2]). Судьи, покачивая головами и поглаживая бороды, внимательно слушали споривших. После разбирательства дела судьи пошептались, затем оба тяжущихся и их свидетели, поклявшись на коране в том, что они говорят правду, отошли слегка в сторону. Судили на основании корана и шариата. Мулла и Бен-Кадыр ежеминутно брали у юноши-секретаря какие-то свитки и книги и заглядывали в них. Когда закончилась вся подготовительная процедура, Бен-Кадыр встал, за ним поднялись и другие. Мулла, держа коран, прочел молитву. Бен-Кадыр громко объявил решение суда, скупщик шелка, обманувший крестьянина и не додавший ему денег за товар, приговаривался к доплате истцу двенадцати рупий и, кроме того, штрафу в пользу мечети в три рупии. Толпа удовлетворенно зашумела, а истец и ответчик, как видно, оба довольные решением суда, весело направились к выходу. Бен-Кадыр, задержав муллу и Хаджи, подошел к нам и пригласил нас к себе в дом. Сидя за чашечками кофе, мы разговорились о правосудии вообще. Бен-Кадыра и Хаджи интересовала постановка судебного дела в Советской России, и только мулла, неодобрительно пожевав губами, заметил, что вряд ли у большевиков, отрицающих бога, могут быть справедливые суды.

Вскоре поднялся мулла и, откланявшись, ушел вместе с Хаджи, провожаемый Бен-Кадыром. Как только гости скрылись за дверями, из соседней комнаты показалась головка Мадинэ. Она радостно закивала нам и вопросительно посмотрела на двери.

Я засмеялся.

— Иди сюда, Мадинэ, все ушли, — крикнула княгиня ей.

Я перевел слова княгини, и к нам вошла смеющаяся Мадинэ и ласково протянула руку княгине.

— Здравствуй, госпожа. Мадинэ думала, что ты совсем забыла место, где стоит наш дом, а ты, сагиб, верно, забыл не только дом, но и

[1]) Селям — приветствие.

[2]) Калимдан — пенал.

тех, кто живет в нем. Ведь ты обещал зайти к нам сейчас же после приезда.

— Милая Мадинэ, — сказал я, — если бы не было здесь этой госпожи, я бы поцеловал тебя так же нежно, как и тогда, в прошлый раз, и мое сердце лучше сказало бы тебе, что я очень скучал и грустил по тебе.

Лицо Мадинэ снова залилось ярким румянцем. Она смутилась и, опустив глаза, пробормотала:

— Сагиб, я знаю, что это правда, язык мой говорил совсем другое, чем то, что думало сердце. Только, ради аллаха, не говори больше ничего при этой госпоже. Я боюсь, что она угадает твои слова.

Княгиня внимательно взглянула на зарумянившиеся щеки Мадинэ.

— Идиллия в стиле Шехеразады, мне кажется, кончится, Борис Петрович, новеллою в духе Декамерона, и чем скорее, тем лучше для вас.

Я засмеялся. Предо мною встала в памяти вчерашняя ночь. Дерево граната, на верхушке которого восседал я, и фигуры княгини и лейтенанта внизу.

— Я предпочитаю новеллы Бокаччио — «жалобной книге» Чехова.

— Смотрите, — протянула княгиня, — пока у вас все шансы расписаться в ней под Ивановым седьмым.

Вошел Бен-Кадыр. Усевшись поудобнее на ковер, мы завязали оживленную беседу. Старик, полный энтузиазма, восторженно поведал мне новости, о которых я еще ничего не знал. Оказывается, за эти три-четыре дня произошли крупные события, взволновавшие все мусульманское население Двуречья. Несмотря на льстивые обещания и заигрывания с арабами эмира Фейзаля, народ, возглавляемый духовенством и аль-хазаристами [1]) и поддерживаемый интеллигенцией и купечеством, два дня тому назад вынес пожелание об эвакуации нашего корпуса из Месопотамии, отозвании британских чиновников в глубь Индии и созыве арабского парламента при дворе Фейзаля. Эту декларацию представители народа передали верховному комиссару серу Перси Ноксу, обещавшему дать ответ после переговоров с правительством Индии и Лондона. Рассказывая об этих событиях, Бен-Кадыр прослезился.

— Настала, наконец, пора, когда аллах опять обратил свои священные взоры на бедный и многострадальный народ свой. Опять после сотен лет турецкого ига восстанет на благо ислама арабский народ, единый в своем воскресении. Соединить все разбросанные и оторванные друг от друга племена, скрепить территориальную связь между Сирией, Аравией и Ираком — вот наша священная задача, сын мой. Аравия для арабов. Только мы будем хозяевами в своей стране, и только своими руками мы будем работать для блага арабов и для укрепления святого ислама на Востоке. И вот в этом деле вы, руссы, окажете нам самую великую и святую помощь.

[1]) Аль-Хазар — высшая богословская семинария в Каире.

Старик опустил голову, немного помолчал и потом вдохновенно продолжал:

— Сын мой, опять для ислама и его детей начинается пора возрождения. Годы унижений и невзгод не прошли бесследно для детей пророка, они воскресили нас. Те, кто думал, что мы умерли и разложились, как мертвый скот, — ошиблись. Весь Восток встает в одном порыве — сбросить оковы, надетые на нас Европой. Турецкий народ дал свой национальный обет, и он кровью и железом выполнит его. Индостан волнуется, и слова Ганди огнем пугают сердце англичан! — Старик торжественно произнес: — По всей стране организовалось общество освобождения Ирака (Аль-Мутама-Эль-Ирак), и мы, весь народ, как один, приветствуем и благословляем его. И горе инглизам, если они не прислушиваются к голосу народа.

Пока старик говорил, княгиня и Мадинэ ушли в сад. Мы остались вдвоем. Я внимательно слушал. Бодрое возбуждение и непреклонная вера старика в свой народ удивляли меня. Глядя в его честные, горевшие энтузиазмом глаза, я был буквально захвачен его пламенным порывом... То, чего так недоставало мне и что отсутствовало в моем сердце, — сейчас как бы переливалось в меня из ярко горевших возбужденных глаз Бен-Кадыра и заражало и меня верою в успех их национального освобождения, хотя мой разум властно говорил, что им не запугать Англию своими жалкими карабинами и двумя десятками неисправных пулеметов. Не желая обижать старика, я успокоил его, уверяя, что, конечно, правительство Индии будет считаться с голосом народа, и, несомненно, все требования националистов будут удовлетворены.

— Мы сами тоже думаем, что великий английский падишах поступит так, как ему подскажет аллах и его совесть, хотя ты ведь знаешь, что «противоречить шаху — это значит вымыть руки в своей же собственной крови», — смеялся Бен-Кадыр.

Я пошел во двор разыскать ушедших женщин.

— Поищи их, сын мой, они, наверное, сидят в саду, у бассейна, — крикнул мне вслед Бен-Кадыр.

Обойдя весь сад, я не нашел никого. Неожиданно в меня попала слива. Я поднял голову. Надо мною, на крыше дома, стояла Мадинэ, сзади виднелась голова княгини.

— Иди к нам, сагиб, — позвала Мадинэ.

Я поднялся по глиняной лестнице наверх. На высокой плоской крыше был разостлан ковер и несколько цыновок. На них были разбросаны подушки, и стояло блюдо со сливами. С крыши виднелась река, монитор и часть села.

— Не пора ли нам домой? — сказала княгиня, поглядев на часики.— Как вы настроены на этот счет, милый Декамерон?

— Пожалуй, пора, — ответил я.

Мы стали спускаться по лестнице вниз. Пропустив вперед княгиню и видя устремленный на меня взгляд Мадинэ, я негромко сказал ей:

— Я хочу тебя видеть, Мадинэ, и кое-что сказать тебе.

— Да, сагиб, и у меня есть слова для тебя.

— Приезжай завтра в полдень туда на остров, где ты в первый раз встретила меня.

— Хорошо, сагиб. Я приеду, — ответила Мадинэ и быстро сбежала по лестнице к ожидавшей нас внизу княгине.

Встретив насмешливый взгляд княгини, я отвернулся.

На площади навстречу нам попался Вильбуа. У милого консула, забросившего из-за княгини свои дипломатические дела, был весьма возбужденный вид. Да и вся площадь сегодня казалась какой-то другой, чем всегда. С криками проносились, обгоняя друг друга, мальчишки, проходили, куда-то спеша, обычно степенные и важные арабы.

— Господа, новость такая, какой вы, конечно, не ожидаете, — еле проговорил, переводя дух, Вильбуа.

Мы смотрели на него, заинтригованные его необычайным волнением.

— Тигр, — коротко и неожиданно выпалил француз. — Да, да, самый настоящий бенгальский тигр.

Я взглянул на княгиню. Она спокойно спросила:

— Где же он? Бегает здесь по улицам, что ли?

— Не знаю, — отмахнулся Вильбуа. — Идемте к майору. Ведь я еще и сам как следует не знаю ничего. Это мне сказала сейчас мисс Эвелин.

Мы все трое засмеялись и зашагали к майору. Майор сидел за столом. Около него возбужденная и радостная стояла корреспондентка. Вокруг сидели натуралисты и с любопытством разглядывали двух старых изможденных индусов, что-то рассказывавших переводчику. Переводчик, выслушивая их, кивал головой и поддакивал. Закончив эту процедуру, солдат, вытянувшись, доложил:

— Эти индусы — жители села Дизабада, отстоящего от Сади-Кянта в трех часах пути по реке. Деревня их стоит на одном из притоков Тигра — Куфа. Недели две назад к ним на деревню стал приходить большой тигр. Сначала он таскал у них скот и не трогал людей, но последние несколько дней тигр стал среди дня уносить людей. Он оставил скотину и теперь питается только людьми. Вчера у этого старика, — он ткнул пальцем в стоявшего слева индуса, — тигр унес дочку, а два дня назад сожрал двух детей, игравших за селом. Они просят вас, сагиб, чтобы вы послали солдат застрелить тигра и спасти деревню.

Солдат замолчал, а оба старика упали в ноги майору и что-то заговорили по-индусски. Майор посмотрел на нас. Мисс Эвелин, вообще склонная, по характеру, к авантюрам, первая, как всегда, заволновалась и крикнула:

— Конечно, сэр. Мы должны спасти этих несчастных от хищного зверя!

Мы поддержали смелую девушку.

Майор добродушно засмеялся и промолвил:

— Подчиняясь общему желанию, я не только пошлю солдат за зверем, но, с вашего позволения, предлагаю самим принять участие в охоте на него.

Восторженная корреспондентка кинулась к майору и стала в порыве благодарности трясти ему руки. Мы шумно выразили свою радость по поводу столь необычной и интересной поездки. Обрадованные индусы благодарно ловили для поцелуя руки майора.

— Передайте им, — обратился к переводчику Коутс, — что послезавтра с утра мы выедем к ним. Они должны остаться с нами в качестве проводников.

Индусы и солдат вышли. Мы с интересом обсуждали предстоящую охоту. Майор, которому по службе в Бенгалии несколько раз приходилось охотиться на тигров, рассказал нам ряд интересных случаев, имевших место на охоте.

— Предупреждаю, друзья мои, — добавил майор, — что охота на этого зверя так же опасна, как и интересна. Особенно же опасны вот такие людоеды, как этот тигр. Эти одиночки, живущие без пары, самые страшные из них.

Майор сказал, что даже гораздо севернее Сади-Кянта, в лесах Персии и зарослях Афганистана и Белуджи, часто встречаются эти хищники, за ночь легко пробегающие сорок и пятьдесят километров.

Когда мы возвращались домой, княгиня вскользь бросила мне:

— Хочешь доставить мне удовольствие, мой милый друг?

— Непрочь, — ответил я, чувствуя, что за простотой слов скрывается какая-то просьба, касавшаяся меня.

— Дело в том, что лейтенант в одиночестве обдумал свой проступок, и я бы просила тебя сегодня, когда он извинится в некорректном поведении по отношению к тебе, пожать ему руку и забыть об этой истории.

Я холодно взглянул на княгиню.

— Нет, княгиня... Не советовал бы лейтенанту протягивать мне руку для примирения. Я не из тех, — тут я снова взглянул ей в глаза и резко бросил, — над кем можно производить опыты.

Она удивленно посмотрела на меня. В ее голубых глазах на секунду забегали тени, но, быстро подавив смущение, она спокойно ответила:

— Как хотите. Мне просто было бы неприятно видеть вас обоих на охоте с надутыми лицами. А впрочем — ваше дело.

Она повернулась и быстро пошла к себе.

13.

В половине четвертого я выехал из Сади-Кянта на объезд постов. Касатка, на которую я не садился уже несколько дней, горячилась и рвалась из-под узды на карьер. Я сдерживал лошадь и, ласково похлопывая по крутой шее, успокаивал ее. Дорога шла по берегу реки. Проехав версты две рысью, я пустил Касатку шагом и стал всматриваться через реку

на дорогу, ведущую через пустыню на оазис Сиди-Абдаллах. Вдали по пескам длинной вереницей тянулся караван. Высокие верблюды, помахивая маленькими умными головами, несли свои тюки из Персии или Курдистана к далекой Мохаммере. Почти ежедневно тянулись к югу и обратно на север такие караваны, проходя мимо Сади-Кянта. Но меня заинтересовал не самый караван, а большое количество конных арабов, гарцовавших вокруг него, и странное направление, взятое передовым караваном. Если груз направляется в Мохаммеру, то путь к оазису шел восточнее, и вожаку надо было свернуть влево у высокой дюны, за гребнем которой сворачивала дорога, ведшая на Сиди-Абдаллах. Если же караван двигался на Ктезифон и Хаммание, то путь его лежал только через Сади-Кянт по эту сторону реки. Других путей не было, кроме... кроме тропы, ведшей на Керкук, но по этой тропе бродили только летучие отряды воинственных бедуинов бени-лаам да кочевые таборы курдов Шаммара. Но никогда ни те, ни другие не подходили так близко к нашим постам, отлично зная силу наших дальнобойных пулеметов. Крайне заинтересованный этим неожиданным явлением, я въехал в кусты и стал пристально наблюдать в бинокль за уходившим в сторону Керкука караваном. Так и есть. Это перекочевывал в глубь Синджарских гор какой-то кусок племени Шаммара, уходя от нас.

Странный и очень подозрительный симптом. Когда за дюнами скрылся последний верблюд, я пустил Касатку рысью к посту. Мне казался очень загадочным весь этот караван с его таинственным грузом. Скоро я подскакал к посту. Рослый афганец, начальник этого поста, сообщил, что уже третий караван в течение последних двух суток уходит на Керкук, но, по словам жителей, это несколько персидских хаджей [1]), везущих в Кербалу и Неджеф трупы своих соотечественников, сворачивают в Керкук, желая по обету помолиться у гробницы Имама-Джафара. Признаюсь, это объяснение нисколько не умалило моей тревоги, так как я хорошо знал путь, по которому шииты возили из далекой Персии трупы своих сородичей, перед смертью пожелавших быть погребенными в святой земле Кербалы.

— По реке участилось движение на плотах, лодках и даже турсуках [2]), — продолжал афганец. — В последнее время из Багдада вниз по реке шлют большие грузы мануфактуры и железа в Курдистан.

Осмотрев дозорную вышку и отдав несколько приказаний, я отправился домой.

Несмотря на кажущееся спокойствие, я чувствовал всем инстинктом военного человека, помноженным на опыт кондотьера, воюющего с 1914 года, что воздух насыщен событиями, которые каждую минуту прорвутся в беспощадный огненный пожар. Сейчас я твердо знал, что груз, ушедший с караваном на Керкук, заключался в патронах и ружьях, а быть может, и нескольких пулеметах.

---

[1]) Хаджи — богомолец, бывший в Мекке.

[2]) Турсуки — пустые козьи меха, надутые воздухом, вроде пузырей.

С невеселыми думами въехал я в Сади-Кянт. Майор, выслушав мои донесения, сказал, что сегодня радиограммы из Багдада не поступало и что, по всей вероятности, сейчас между националистами Фейзалом и сэром Перси Ноксом идут обычные в таких случаях переговоры.

— Во всяком случае, я думаю, сержант, что мы еще очень далеки от начала каких-либо активных выступлений этих дикарей.

К вечеру появился лейтенант. Как и при каких обстоятельствах произошло примирение майора с ним, но во всяком случае, по словам Вильбуа, Гильдебрандт держался довольно нерешительно. Слепцов не показывается вовсе. Его жалкая подлая натура контрразведчика, как видно, не выносит встреч с майором.

Вечером, как всегда, мы сидели за ужином, и, как всегда, он прошел торжественно и шумно. Княгиня очень ровно держится со мной, трудно предположить, что она сердита на меня. Лейтенант держит себя очень мило и свободно. Второй раз я вижу его в таком превосходном настроении. Вильбуа по обыкновению много ест и еще больше пьет. Когда после десерта мы стали расходиться по домам, я услышал, как княгиня вполголоса сказала лейтенанту:

— Проводите меня, сэр Арчибальд, я хочу перед сном погулять.

Впервые за эти несколько ночей я как следует и во-время улегся спать. Вильбуа расхохотался от души, видя, с каким ожесточением я бросился в постель.

Ровно в полдень лодка моя отплыла от пристани к островку. Как и тогда, я лежал на корме и полусонно отдавался солнечным ласкам. Дерибаба, мурлыча свою бессмертную «Ой та не из тучушки...», повез меня через камыши. Сойдя на берег, я крикнул ему:

— Приезжай за мной через час!

Казак утвердительно мотнул головой, сплюнул сквозь зубы на воду и снова загреб в камыши.

Я сел под куст алиссавы, у которого недавно убил фламинго. Мадинэ еще не было. Достав из кармана стихи Омера-Хейяма, я стал с наслаждением читать их. Гениальные, полные высокого откровения слова этого восточного Гете поразили меня:

Если б от меня зависело притти на этот свет, — не пришел бы,
И так же, если бы от меня зависело уйти, никогда бы не ушел,
А лучше всего было бы в этот смертный мир
Не приходить, не существовать и не уходить.

Как просто и как глубоко! И вот теперь, прожив тридцать лет, я оглядываюсь назад на пройденный мною путь... да... он прав... он тысячу раз прав, этот гениальный поэт! Как ни пуста и как ни бесплодна жизнь, но уйти из нее «никогда бы не ушел».

Легкий шорох заставил меня обернуться. Сзади стояла Мадинэ. Я притянул за руки смущенную девушку и стал тихо осыпать поцелуями

ее руки, лоб и смуглую шею. Эти поцелуи еще больше смутили ее. Она стала робко отнимать свои руки и закрывать ими лицо. Я ласково, но настойчиво продолжал целовать ее. Ее сопротивление волновало нас обоих. Она тяжело дышала, силясь отвести голову от моих приближавшихся губ. Это были первые поцелуи, которые разбудили в ней женщину, и волновали меня. Не в силах вырваться из моих рук, она со стоном опустилась мне на грудь, и мои губы встретили ее раскрывшийся влажный рот.

— Сагиб, милый сагиб, опомнись, — шептала Мадинэ, — опомнись ради Бен-Кадыра!

Я пришел в себя. Бедная девочка лежала у меня на груди и тихо плакала радостными слезами счастья. Я нежно обнял ее и, лаская, произнес:

— Милая сестра. Это только порыв, который больше не повторится. Я люблю тебя, моя девочка, и никогда не обижу тебя.

Мадинэ прижалась ко мне. На мою ладонь капнула ее горячая слеза. Не глядя на меня, она прошептала:

— Сагиб, я не боюсь тебя. Если надо, ты можешь сделать с Мадинэ все, что ты только захочешь, потому что я люблю тебя, сагиб.

Я опустил голову. Эти простые слова, сказанные таким глубоким и искренним тоном, обезоружили меня. Эта девушка, случайно и так беззаветно полюбившая меня, отдавала себя всю моей минутной страсти, не требуя и не беря взамен ничего. Только мне, жившему на Востоке и знавшему его суровые и беспощадные адаты, была понятна вся глубина этой великой жертвы. Я еще раз обнял Мадинэ и по-братски поцеловал ее в лоб.

— Знаешь, сагиб, если б для твоего блага тебя нужно было отдать этой женщине, я бы молча отдала тебя.

Она помолчала и потом тихо добавила:

— А сама бы умерла.

Увидев лежавшую на траве книгу, она подняла ее и, раскрыв наугад, прочла вслух первую попавшуюся строчку:

Любовь, это — аромат розы,
Любовь, это — укус змеи...

Тихо гладя головку Мадинэ, я думал о том, как на меня неожиданно сошло великое и редкое счастье — любовь вот этой простой и чуткой девушки и грозная, как «укус змеи», сжигающая страсть княгини.

Мой Дерибаба решительно превращается в Лепорелло Дон-Жуана. Когда он вез меня обратно в Сади-Кянт, он, искоса поглядывая на меня, хитро улыбался и всеми силами пытался показать, что он знает обо мне нечто таинственное и важное. Не дождавшись от меня вопроса, он молча полез за обшлаг и вынул оттуда маленький конверт, такой же, как и прошлый раз.

— Опять вам письмо.

На маленькой мраморной четвертушке было небрежно нацарапано:

«Милый Анахорет. Хочу вас видеть. Очень соскучилась, если хотите, то в час у пристани».

Вместо подписи опять стояла буква «И», а ниже приписка:

«Не сердись, звереныш».

Я меланхолично разорвал письмо и бросил клочки его в воду. Лодка подходила к Сади-Кянту.

Мы с Вильбуа играли в шахматы, попыхивая сигарами и потягивая излюбленный французом коктейль. Мне не везло. Веселый француз выигрывал у меня уже вторую партию. Моя королева, загнанная конями Вильбуа в угол, тщетно пыталась выйти на простор шахматного поля, но ее конец приближался. Внезапно в дверь постучали.

— Войдите, — не поднимая головы, крикнул я.

В комнату вошел Бен-Кадыр. Старик был совершенно спокоен и, как всегда, вежлив и сдержан. Он ласково поклонился Вильбуа и любезно справился о его здоровьи. Но я, привыкший к Бен-Кадыру и хорошо его знавший, видел, что старик еле скрывает свое волнение.

«Не узнал ли он о нашей встрече с Мадинэ?» — подумал я.

Вильбуа, чувствуя себя лишним, позевывая, вышел во двор.

Старик бросился ко мне:

— Сын мой, — волнуясь, заговорил он, — не прошло еще и суток, как английский начальник обещал поддержать наше требование перед своим падишахом, а сегодня они уже предали и обманули нас. Люди, прибывшие из Багдада, сообщили, что комитет наш разогнан, Шейх-Уль-Ислам и парламент арестованы, и английские броневики гуляют по улицам Багдада, пугая жителей. Вместо отвода они разорили аэропланами оазис Мэнзариэ. Они сами вызывают нас на священную войну, и теперь ничто не остановит нашей мести. Скоро, очень скоро везде по Ираку польется кровь. Пока не поздно, уезжай отсюда, мой сын. Твоя кровь вечным укором будет на нашем святом деле.

Я отрицательно покачал головой.

— Не могу, отец.

Он молча пожал мне руку и, заглядывая в глаза, тихо спросил:

— Даже и для Мадинэ.

— Даже и для нее не могу.

Он тяжело вздохнул и у самых дверей сказал:

— Подумай хорошенько, сын мой... Да вразумит тебя святой аллах... Прощай... но помни, что, в случае беды, мы — твоя защита и спасение...

К вечеру была получена из Багдада радиосводка, в общем дополнившая картину, которую я уже рисовал себе. Весть об аресте парламента и разгоне нашими частями «Комитета спасения Ирака» буквально наэлектризовала всех мусульман. В Бассоре был объявлен бойкот англичанам, и ни один мусульманин не нагружал и не разгружал судов с английскими

товарами. В Бакуба была произведена попытка взорвать железнодорожный мост и амбары с продовольствием. До открытой войны дело еще не дошло, хотя повсюду были усилены гарнизоны, и наши эскадрильи совершали разведку в пустыню Кара-Лют и горы Синджара. Радиосводка передала приказание майору оставаться вместе с монитором в Сади-Кянте до прибытия сюда особого батальона ассирийцев, который должен был сменить нас. Обсудив новости, мы решили усилить наблюдение на дорогах и спокойно ожидать событий.

После ужина, провожая княгиню домой, я ей вежливо, но твердо сказал, что обстоятельства, не предвиденные мною ранее, мешают мне быть у пристани в полночь.

— Что вы будете делать ночью? — прервала меня княгиня.

— Мне надо заняться отчетностью и перепланировкой постов.

— Хорошо. В таком случае я приду за вами позднее.

И вот я, в силу необходимости, сижу за отчетностью поста, которую мне надо представить в дивизион только через две недели. Делаю ряд глупых и ненужных выписок, вымарок и поправок и с удовольствием гляжу за стрелкой часов, быстро передвигающейся направо. Вильбуа, узнав о предстоявшем визите княгини, несмотря на мои уговоры, ушел спать в комнату Дерибабы, куда его расторопный лакей Поль перенес кровать со всеми атрибутами. Таким образом я вычерчиваю ряд цифр, склонившись над бумагой, но глаза мои не сходят с бегущих стрелок часов.

Было около трех часов, когда под окном стукнули. Я отодвинул осточертевшие мне выписки и вышел во двор. У окна стояла княгиня, опираясь на руку Гильдебрандта. Встреча была самая неожиданная. Гильдебрандт, подойдя вплотную ко мне, спокойным и ровным голосом сказал:

— Прошу вас, сэр, извинить мой ничем не оправдываемый поступок. Я считаю себя глубоко виноватым перед вами. Думаю, что вы поймете мое извинение.

Все это произошло так быстро и неожиданно, что я потерял обычное самообладание. Сознание своей вины, звучавшее в словах лейтенанта, обезоружило меня. Несмотря на короткий срок нашего знакомства, я видел в нем сильного, порой неукротимого человека, с сумасшедше-буйным нравом, скрытым под оболочкой светского и воспитанного человека. Я раздумывал.

В ту же минуту я почувствовал в своей руке теплые длинные пальцы княгини. Я молча поклонился Гильдебрандту и пожал его протянутую руку.

— Отлично, — воскликнула княгиня, — вы оба милые и хорошие люди, а теперь, сэр Арчибальд, благодарю вас за внимание, идите домой. Мне необходимо переговорить кое-о-чем с сержантом.

Гильдебрандт поклонился и пошел к выходу, я последовал за ним, провожая его на улицу. Как только мы вышли за ворота, он резко повернулся ко мне и тихо с плохо скрытой злобой прошептал:

— Надеюсь, милостивый государь, вы понимаете, что я ничего не беру назад и что для меня высочайшим наслаждением будет момент, когда я увижу вас в кандалах.

Я молча повернулся и пошел назад. Тысячи разных переживаний волновали меня. Я особенно был зол на себя за дурацкую минуту слабости, когда, как идиот, пожимал руку своего заклятого врага. Не замечая моего состояния, княгиня обняла меня, и мы вошли в дом.

В эту ночь впервые ее ласки не возбуждали меня. Впервые я чувствовал скуку в минуты, когда она обнимала меня. Единственным моим желанием было остаться наедине и, кинувшись в кровать, поскорее заснуть тяжелым, долгим сном. На рассвете я провожал ее домой. Прощаясь, она была весела, и глаза ее казались радостными и удовлетворенными. Неужели она ничего не заметила?

14.

После завтрака начались сборы в путь. Наши охотники в лице Вильбуа и натуралистов прочищали и смазывали свои ружья, немилосердно стуча прикладами. Корреспондентка запаслась маленьким «бульдогом», из которого обещала убить тигра и этим обессмертить себя. Леди Хьюз и княгиня также выразили желание поехать с нами, и даже Слепцов, прощенный по просьбе Гильдебрандта, носился по Сади-Кянту, одетый в какой-то нелепый тирольский охотничий костюм.

Все село с самого утра знало о нашем выступлении, поэтому волновалось не меньше нас. За час до нашего отплытия майор послал первый катер с солдатами в указанную деревню. Всего было послано пятеро солдат и, кроме них, еще двое взятых мною, Дерибаба и калмык Кашабулаев, о котором я упомянул в самом начале моего рассказа. В нашем катере поместились дамы, натуралист, майор и мы. Вильбуа с неизменной сигарой восседал, как всегда, на крыше катера. Наконец, мы отошли от берега и понеслись по течению реки к притоку Куфа. Провожающие замахали нам вслед платками. Через несколько минут мы потеряли из виду Сади-Кянт. Майор, казалось, был больше всех обрадован предстоящей встречей с грозным врагом. Он без умолку рассказывал о коварстве и силе зверя и способах охоты на него. Все с интересом слушали, изредка задавая вопросы, на которые он охотно с увлечением отвечал. Один из проводников-индусов сидел на носу катера, рядом с рулевым, и указывал ему путь. Пройдя мили четыре, мы вошли в приток Тигра — широкую быструю реку Куфу. Берега Куфы не были похожи на оставленный позади пейзаж Тигра. Низкие, еле видные, они были почти сплошь покрыты низкорослым колючим кустарником и высокими зарослями камыша и бамбука. Иногда перед нами на мгновенье открывались небольшие поляны с густой нетронутой травой, за которой виднелся высокий девственный лес. Часто попадались болота, за которыми начинались джунгли, тянувшиеся на много сотен верст в сторону Индии. Мы плыли уже часа два и не встретили на берегах Куфы еще ни одной деревни, ни одной живой души. Не-

мудрено, что в такой глуши водились тигры-людоеды. Наш индус сделал рукой движение вправо, и катер, послушный колесу рулевого, свернул в довольно широкую речонку, пройдя по которой версты две, мы увидели раскинувшееся по берегу довольно большое село. На берегу и по улице бродили наши солдаты. Тут же сновали индусы, выбегавшие навстречу нам. Катер наш встал рядом с первым, и мы по очереди стали шаткими мостками осторожно сходить на берег.

Посидев полчаса в селе и переговорив со старшиной и стариками, мы выработали план действий и направились к околице. Впереди цепью раскинулись солдаты, рядом с которыми шли трое индусов, указывавших путь. Сейчас же за солдатами шел я, около меня брели Дерибаба и Кашабулаев. Остальная группа, возглавляемая майором, двигалась за нами. Выйдя за деревню, мы, растянувшись полукольцом, стали продвигаться вперед по болотистому лугу, держа направление на видневшиеся впереди заросли, густо переплетенные высокими ползучими травами. Слева от нас, кучка ободренных нашим прибытием, вооруженных дубинами, копьями и самострелами, индусов, огибая кусты, входила в джунгли, пытаясь выгнать на нас обитавшего в этих местах хищника. Лейтенант, Слепцов и я с моими вестовыми перешли в первую линию, уже подходившую к кустам. Из джунглей неслись крики индусов и безобразные звенящие удары в какую-то посуду, грохотом которой они думали вспугнуть и выгнать тигра. Солдаты вошли в кусты, мы последовали за ними. Майор, носильщики-индусы, повар и один из матросов сопровождали дам, в отдалении следовавших за нами. Почва становилась суше. Кусты попадались все реже и реже. Пройдя их, мы вышли на небольшую, круто спускавшуюся к воде, полянку, окаймленную низким камышом. Около самой реки одиноко стоял огромный густой куст, весь опутанный стеблями какого-то ползучего растения. Вправо от него, в зарослях, слышались отчаянные вопли туземцев, тщетно старавшихся обнаружить, вероятно, давным-давно исчезнувшего зверя. Мы остановились, поджидая индусов. Дальше путь преграждала река, через которую надо было переправляться на лодках. Из чащи кустов показались дамы с майором. Меня окликнули. Я оглянулся. Отделившись от группы, ко мне подходила княгиня. Видя это, Гильдебрандт, стоявший чуть впереди, быстро отвернулся и пошел к берегу реки, обходя стоявший по пути одинокий куст. В ту же минуту поляна огласилась криками. Стоявший около меня Слепцов пулей пронесся мимо и исчез в кустах. За ним с воплями ужаса промчались оба проводника. Я моментально обернулся, и глазам моим представилась следующая картина: на покатом холмике перед кустом без движения лежал лицом вниз Гильдебрандт с залитым кровью затылком. Над ним чуть поодаль, ближе ко мне, стоял огромный тигр, весь испещренный бурыми поперечными полосами, спускавшимися к самому хвосту.

Зверь с любопытством поглядывал на нас; казалось, тигр был совершенно спокоен, и только его маленькие глазки напряженно следили за бегущими по поляне перепуганными людьми. Хвост зверя змеей извивался

и скользил по ногам и пестрому бедру. Все случилось внезапно и совершенно неожиданно. Двое солдат, поддавшись общей панике, выстрелили не целясь, и бросились к кустам. Я стал медленно поднимать свой шведский карабин. Дерибаба и калмык, впервые встретившие тигра, да, вероятно, никогда и не слыхавшие о нем, глядя на мое движение, тоже вскинули свои штуцера. Тигр заурчал и, подняв лапу, с силой тяжело опускал ее на голову лейтенанта.

— Да стреляйте же! — услышал я отчаянный крик княгини, стоявшей возле меня.

Я тихо засмеялся и покачал головой. Лапа тигра закрыла лицо Гильдебрандта. В ту же секунду я спустил курок. Мои ребята, как видно, ждавшие этого момента, затрещали выстрелами из штуцеров. Опомнившиеся солдаты открыли частый огонь по уже издыхавшему зверю, в конвульсиях царапавшему влажную землю. Падая, тигр прикрыл своим туловищем лежавшего без сознания лейтенанта. Когда солдаты оттащили изрешеченного пулями зверя, мы увидели истерзанного и окровавленного лейтенанта с залитым кровью лицом и разорванными затылком и спиной. Френч Гильдебрандта висел кровавыми клочьями, а его тяжелая армстронговская трехстволка, заряженная разрывными пулями, лежала около него, переломанная пополам у самого приклада могучим ударом лапы тигра.

— Вы — изверг, я вас ненавижу, — прошептала княгиня, вся бледная от волнения.

Ноздри ее широко раздувались, и на лбу блестели капельки пота.

— Эксперимент не удался, ваше сиятельство, и вот его печальные результаты, — коротко сказал я и отошел к Дерибабе и солдатам, разглядывавшим убитого тигра.

Да, я думаю, что лейтенанту не поздоровится после столь близкого знакомства с когтями, которые украшали лапы этого красавца. Вынырнувшие из кустов и камыша индусы окружили нас и стали пинками утолять свою злобу к убитому зверю, так долго державшему их в страхе. Я отогнал крестьян и велел им перенести тигра к катеру. Когда я оглянулся, лейтенанта на сделанных наспех носилках уносили в село. Ко мне подошла бледная, взволнованная корреспондентка и один из натуралистов, делавшие перевязку раненому.

— Ужасные раны почти в дюйм глубины, со спины на четверть аршина книзу содрана кожа и мускулы, вряд ли выживет, — сказал натуралист.

— Если бы не второй удар лапой, — добавил он через минуту, — все окончилось бы довольно благополучно для бедного лейтенанта, но теперь все в божьих руках.

Мы медленно пошли к селу, обсуждая событие. У самой околицы мы нагнали повара и индусов, собиравших разбросанную в стремительном бегстве закуску.

Бедный майор совершенно расстроен. В течение каких-нибудь трех суток это был второй тяжелый удар, окончательно доканавший его. Когда он говорил со мной, у него дрожал голос и блестели слезы на глазах.

— Я виноват в этой ужасной катастрофе, — упрекал себя бедный старик, — это я организовал охоту, жертвою которой стал несчастный Гильдебрандт...

Мы, как могли, успокаивали его. После новой перевязки ран лейтенанта, все еще не приходившего в себя, отправили на катере в Сади-Кянт. Сопровождать его взялась княгиня, Слепцов и натуралисты, исполнявшие роль докторов. За ними вслед отправились и остальные. Только я, Вильбуа и двое моих вестовых остались в этом селе, сыгравшем в судьбе Гильдебрандта такую роковую роль. В виде трофеев нам остался убитый тигр и весь запас вина и закусок, брошенный взволнованными путешественниками. Мы молча осушили бутылку вина, только тогда Вильбуа посмотрел на меня и коротко сказал:

— Вы победили, мой друг.

Я ничего не ответил и молча допил свой стакан. Когда за нами пришел катер, мы, погрузив тигра и усевшись поудобнее, отплыли домой. Испуганные индусы робко провожали нас. От мерного покачивания катера и монотонного рокота мотора мне захотелось спать. Я завернулся в шинель и, положив голову на мягкую спину тигра, крепко заснул.

Доктор, осматривавший лейтенанта, нашел его состояние очень тяжелым, но не безнадежным.

— Если только не будет заражения крови, — уверял он, — месяца через три лейтенант будет уже на ногах.

Печальный финал нашей охоты расстроил всех. У большинства из экспедиции появилось острое желание вернуться назад в Багдад. Все ждут с нетерпением прихода ассирийского батальона, который должен будет сменить мою команду. Княгиня почти не показывается. Все это время она не отходит от пришедшего в себя лейтенанта. Со мной она избегает встреч и не разговаривает.

(Окончание следует).

Закон законов.

(Из хроники 1919 г.).

Ан. Скачко.

1. Штарм.

Развернулась бесконечным кольцевым фронтом гражданская война.

Страна — военный лагерь. Поля — плацдармы. Дороги — коммуникационные линии. Деревни — передовые посты. Города — штабы.

* * *

На окраинах города — обезлюдевшие, молчаливые фабрики. У вокзала — закопченные стены расстрелянных, сгоревших домов...

По главным улицам — бесконечные военные обозы. Тощие, чесоточные лошаденки надрываются под навьюченными доверху двуколками.

На центральной площади, в бывшей городской думе — штаб армии.

* * *

День и ночь копошится людьми большое белое здание. День и ночь к подъезду подлетают автомобили, подъезжают грузовики, полные кладью и вооруженными, подскакивают забрызганные грязью всадники.

В одиночку и вереницами тянутся фигуры в старых солдатских шинелях, с оторванными погонами, с алыми бантами на груди... Обвешанные оружием, обмотанные пулеметными лентами.

* * *

Внутри на каменных, грязными сапогами замызганных, лестницах — вечная беготня.

Внизу — административная часть, отдел снабжения, комендатура.

В подвале — камеры арестованных.

Во втором этаже: направо — реввоентрибунал, налево — оперативная часть: аппаратная, дежурная, кабинеты начштаба и командарма.

* * *

У входной двери — два пулемета с продернутыми лентами. Часовые — пленные венгерцы в синих кепках — дымят коротенькими трубками.

Останавливают входящих:

— Без пропуска не можно... Verboten!

* * *

В комендантской комнате сгрудились серые шинели, винтовки, маузеры в кобурах, маузеры на прикладах. Рвут на части дежурного.

— Товарищ комендант! Мне пропуск..

— Я из штаба дивизии... Мне срочно!..

— Мне в оперод...

— От особого отдела фронта.

— Вот мое удостоверение. Я политком Таращанского отряда...

Проводят арестованных.

— Товарищ комендант... Примите задержанных!.

Сваливают груды принесенных винтовок.

— Товарищ комендант, распишитесь в приеме реквизированного оружия.

Посетители выхватывают из кучи приглянувшееся оружие.

— Вот хороший австрийский карабин...

— Мне как раз по руке будет...

Наваливаются со всех сторон на дежурного:

— Товарищ комендант! Пропустите же скорей! Мне по срочному делу к командарму...

— Что? Вы меня не знаете? Но я партийный!..

— Вызовите экстренно комиссара штаба...

— Извольте исполнять, иначе я вас в двадцать четыре часа расстреляю!

* * *

В соседней снабженческой комнате та же толчея. Та же горячечно спешащая, волнующаяся толпа серых шинелей и рваных полушубков, обвешанных оружием. Такие же возбужденные, перебивающие друг друга крики:

— Позвольте, товарищ! — У меня в отряде триста человек и все босы, а вы мне даете ордер на пятнадцать пар сапог?!

— Подсумки и ремни! — Зачем мне ваши подсумки. Мне шинеля нужно!

— Товарищ, наши люди уже двое суток ничего не ели!

— Я целый час не могу добиться...

— Мне для флотского отряда...

— Бронепоездам вне очереди.

* * *

— В порядке, товарищи! В порядке! — Ведь невозможно же так работать...

* * *

По лестнице сводят из реввоентрибунала осужденных. Плотным кольцом сомкнулась кругом стража с поднятыми револьверами.

Кто-то сверху кричит начальнику охраны:

— Товарищ Патесон! Нарядите команду для исполнения приговора...

Наверху в оперативной части тихо.

В отделение разведки молча ныряют таинственные штатские в нахлобученных на глаза шляпах.

В аппаратной: — озабоченная машинная трескотня. Зубчатое скрежетание «Юзов», завывающее жужжание регуляторов, металлический стрекот «Морзов». Спичечный треск вспыхивающих на коммутаторе синих искр.

Обесцвеченные бессонницей, истомленные лица бессрочно дежурящих телеграфистов. Короткие, отрывистые фразы:

— У кого Николаев?..

— Дайте провод фронта!..

— В штаб дивизии вне очереди!..

— № 268. Срочная. Оперод...

— Дежурная секретаря...

— Гришино просит наштарма к прямому проводу...

— Механика к 27 аппарату!..

В углу на брошенных на пол шинелях спят сменившиеся.

Сваливающимся с ног дают часок отдыха.

— Эй, дежурный! — Буди Петрова. Его время прошло.

— Товарищи! Кому теперь очередь отдыхать?

* * *

В приемной реввоенсовета сгрудилась группа желающих видеть командарма.

Дежурный секретарь опрашивает посетителей.

— Председатель 31-й учетной комиссии главвоенснаба, начснабарма мешает производству учета имущества...

— Мы делегаты отрядного солдатского комитета...

— Я из штаба отдельной бригады червонного казачества. Доложите сейчас же, вопрос спешный!..

— Мне тоже некогда ждать!..

— Я по очень важному делу!..

— И что за буржуйные порядки завели! Доклады там всякие? Будто старые генералы...

— Не волнуйтесь, товарищи! — Нельзя же всем сразу. В порядке очереди...

— Я вне очереди!..

— У меня спешное!..

— Меня сам товарищ Троцкий никогда ждать не заставлял...

Высокий, сухой, в кожаной куртке, с кипой бумаг в костлявых руках, проходит мимо шумящих. Бросает секретарю: — У себя? — и уверенной походкой скрывается за дверью.

— Это что же? Почему он без очереди?!.

— Позвольте, товарищи, это свой — председатель реввоентрибунала Кузьминский.

— Свой? — А мы что, чужие?!. — Ишь бюрократы!..

* * *

Ироническим взглядом провожал высокую тощую фигуру Кузьминского помначоперода военспец из казаков — Платонов.

— Вот наш великий Торквемадо пошел! Скольких еретиков сегодня к стенке поставит?

Оторвавшись от карты, одернул молодого подъесаула начштаб Карташев:

— Товарищ Платонов!.. Не говорите глупостей!..

Взметнул румяным лицом Платонов.

— Эва!.. Пусть слышит! Все равно он всех нас контрреволюционерами считает. Военспецы, бывшие офицеры, — значит все контрреволюционная сволочь!..

Всегда серьезен и вдумчив начштаб Карташев:

— Напрасно так полагаете. Кузьминский вовсе не столь односторонен...

— Узкий фанатик, не больше! Для него кроме пролетарского никакого другого подхода к революции не существует. Разве он поймет, что вот мы с Рукевичем гораздо бóльшие революционеры, нежели он!..

— Что ж, он и говорит, что вам верить можно, только на вожжах следует держать. Он прекрасно разбирается в людях.

Начоперод генштаб Черниховский опустил глаза в карту. Насмешливая улыбка чуть тронула крепко сжатые тонкие губы.

* * *

Стукнула дверь.

Дежурный секретарь матрос Кубеев с телеграммами. Одна депеша реввоенсовета фронта:

«Начдив Одынец оказывает противодействие комиссии Наркомпрода, захватывает хлебные грузы. Немедленно принять меры устранению анархических выступлений, срывающих продкампанию. Гитис. Сокольников».

— Вызвать к прямому проводу Одынца!

— Есть, товарищ командующий!

Другая от Криворука, недавно переименованного в начдивы, атамана партизанских отрядов Правобережья:

«В то время когда мои войска доблестно сражаются на фронте и бьют французов, греков и прочую белую сволочь, в тылу продотряды грабят села, а Чека арестовывают уехавших в отпуск партизан как бандитов. Прошу немедленно прекратить эти безобразия. Начдив Криворук».

— На это ответить нечего. Оставим для личного доклада фронту.

* * *

На месте Кубеева уже генштаб Черниховский.

— Двенадцатичасовая сводка! Разрешите доложить?

— Я слушаю...

— «В западном направлении части дивизии Лисовского с боем перешли Днепр, заняли Крюков. Мост цел, только одна ферма немного попорчена. Захвачена богатая добыча. Противник в беспорядке отступил к Бродам»...

— Прекрасно! — Полтавщина значит совершенно очищена... Дальше...

— «В юго-западном направлении бригада Криворука в бою у станции Березовка уничтожила греко-французский ариергард. Противник оставил на поле сражения 400 трупов и массу оружия. Взято шесть орудий, двадцать восемь пулеметов и два танка»...

— Великолепно!.. Молодец Криворук!.. Хороший урок дал союзникам... — Дальше!.. Дальше!..

— «В южном направлении части дивизии Одынца, преследуя отступающего противника, заняли Мелитополь. Захвачено много составов с снабжением и снаряжением. Преследование продолжается»...

Уже не было видно ни следа усталости на воспаленных бессонницей веках командарма.

— Ого!.. Мы сегодня именинники!.. Переставьте скорее флажки на карте!..

Как искры взрыва разлетались во все стороны от центра красные флажки.

Командарм сам подбежал к карте.

— Так!.. Этот сюда на сто верст вперед, этот на полтораста... Так!.. Красиво!.. Растет, ширится, разливается революционная волна... Здоровый кусок территории отхватили мы сегодня и на юг и на запад!.. Ну, а как на востоке?.

— С Гришинского и Бахмутского направлений сведений не поступало...

Показалось или на самом деле в словах начоперода скользнула чуть заметная нотка иронии?

Командарм вскинул взглядом.

Выдержанное бесстрастное лицо безупречно воспитанного генштаба. Не высмотришь ничего в этих спокойных светлых глазах, будто задернутых изнутри холодной пленкой.

Докладывает «начальству», и больше ничего... Отчего же рождается раздражение и недоверие?..

— Почему не поступало сведений?

— Не могу знать!.. Вот уже два часа запрашиваем и не можем добиться связи с Бахмутом...

— Добиться!.. Добиться во что бы то ни стало!!. Дать телеграмму по линии, срочно проверить провода!.. Установить и немедленно доложить мне!..

На повышенный, нервный тон командарма прежнее бесстрастно-выдержанное: — Слушаю! — Четкий поворот, размеренный спокойный шаг. И все это возмущает, как открытая наглость, насмешка.

— Враг!.. Определенный враг!.. Чутьем ощущается... Наверное ненавидит революцию до глубины души, предаст при первом удобном случае. Гнать его надо, или к стенке... Но, впрочем, за что же?.. Разве не все генштабы ненавидят советскую власть?..

Однако скверно, что с добровольческого фронта никаких сведений не поступало, там самое опасное место!

* * *

Некогда раздумывать, снова хлопает дверь. Начальник снабжения.

— А, товарищ Головачев!.. С нетерпением вас ожидаю. Что удалось сделать?..

— Фронт дает нам тридцать тысяч гимнастерок. Послан приемщик. Белья нет. Я реквизировал склад на товарной станции. Больше трехсот тысяч аршин бельевого материала лежало без употребления. Организую швальню. В Белгороде мой уполномоченный разыскал вагоны с шароварами. Приказываю гнать сюда, не считаясь кому они принадлежат. После нашего нажима изюмский военкомат отдает нам десять тысяч шинелей. Но сапог, сапог нигде нет...

— Берите кожу, шейте...

— Нигде не найду. Совнархоз не отдает своего склада. У них колоссальный запас полувала и подошвы. Не отдают; говорят, нужно для снабжения рабочих. Я уже хотел взять силой...

— Погодите!.. Составьте телеграмму ревсовету фронта и предсовнаркому...

— Ждать нельзя!.. Дивизия Лисовского без сапог. Бригада Анощенко разута. Только у Одынца более или менее благополучно, потому что он сам снабжает дивизию.

— Да, и отбирает запасы Наркомпрода. Его необходимо одернуть. Нельзя же каждому хватать где ни попало. Ведь это создает анархию...

— Но, товарищ командующий, а все эти бесчисленные комиссии, учитывающие, прячущие, увозящие в центр, когда армия боса и раздета?.. Это не создает анархии?!.

Дежурный секретарь докладывал:

— Начдив Одынец у аппарата.

Начоперод докладывал:

— Связь с Бахмутом установлена. Комбриг Анощенко у аппарата.

Командарм на-ходу бросал начснабу:

— Сейчас дайте телеграмму на подпись и вызовите предисполкома, я поговорю с ним...

В дверях начштаб Карташов:

— Прибыл из Саратова первый коммунистический немецкий полк. Куда прикажете направить?

— Очень кстати. — Немедленно без выгрузки в Бахмут, в распоряжение Анощенко! Комполку и военкому явиться ко мне

Вновь появляется дежурный секретарь:

— Начальник Гришинского участка у прямого провода

* * *

В аппаратной стрекотали Морзы, зубчато щелкали Юзы, жужжали регуляторы, мигая блестящими медными шариками. Бесконечным прядевом извиваясь, ползли из-под колес на пол разворачивающиеся бумажные ленты.

Командарм кончал разговор с Одынцом:

— Я полагаю, что говорю не с атаманом партизанской банды, а с начдивом Красной армии. Никакая нужда не может оправдать поступков, нарушающих общегосударственные интересы. Захваченный продпоезд немедленно вернуть комиссии Наркомпрода.

Начинал разговор с бахмутским комбригом Анощенко:

— Вам направляется немецкий коммунистический полк. Полторы тысячи штыков. Необходимо занять Константиновку и связаться по фронту с Гришинским участком...

Отвечал начальнику Гришинского участка:

— Комбригу Анощенко дано приказание, заняв Константиновку, дотянуться правым флангом до вашего участка...

И тихо спрашивал начштаба:

— Николай Александрович!.. Кого можно послать в Гришино? Ведь там у нас пустота. Ни одной регулярной части. Какие-то рабочие отряды, силы которых мы не знаем даже приблизительно... Ведь это же прорыв, откуда можно ожидать удара во фланг Одынцу.

Начштаб пожимал плечами.

— У нас ничего нет в резерве... На все наши требования фронт впервые послал вот этот немецкий полк.

— Но его нужно послать к Анощенко, иначе тут грозит прорыв в тыл Одынцу и на нашу базу.

— Больше решительно ничего нет...

— А наш запасный полк?

— Сформирован, но без сапог и шинелей и, главное, без винтовок...

— Вызовите комфронта. Надо принять решительные меры!..

Стрекотали Морзы, зубчато щелкали Юзы, подвывали регуляторы. Росли на полу пухлые кучи бумажного прядева телеграфных лент. В белом кубе обширной голостенной комнаты напряженно бились пульсы огромного, на сотни верст раскидавшегося тела армии.

* * *

Тускнел дневной свет в окнах кабинета командарма.

Высокий неуклюжий комполка коммунистического немецкого откланивался.

— Слушаюсь, товарищ командующий!.. Будет исполнено...

Тянулся, закостеневший в унтер-офицерской выправке фигурой.

Маленький, совсем юный военком, закутанный в длиннополую ильковую шубу с купецких плеч, не спускал глаз с своего комполка, будто каждое слово проверял и взвешивал.

Матрос Кубеев вносил оловянную миску со щами.

— Третий раз подогреваю...

Командарм рассеянно брал миску и опять забывал об обеде.

— Приказать Курочкину приготовить поезд. В двадцать часов мы выезжаем к Одынцу. Предупредить помначоперода Платонова и секретаря Рукевича, что они едут со мной. Попросить ко мне начштаба!..

* * *

Командарм торопливо доедал остывшие щи и говорил начштабу:

— Через час я уезжаю к Одынцу. Он слишком партизанит, нужно его ввести в рамки. От Одынца проеду Гришино посмотреть наконец, что там находится. Вы здесь наседайте на фронт, чтобы как можно скорее высылали подкрепления, которые сегодня обещали. Проверяйте вооружение и немедленно направляйте на Гришинский участок. Я боюсь, что скопление сил добровольцев у Матвеева кургана предназначено для удара на Гришино. К моему поезду прицепить два вагона гимнастерок и три со снарядами. Утренний и вечерний доклад по прямому проводу как обыкновенно. Завтра утром ловите меня в Александрове, вечером наверное в Гришине. В случае экстренности — на линии.

2. Штадив.

На площадке вагона командарм отдавал последние распоряжения начштабу:

— Боюсь, что из Александрова не сумею связаться с Крюковым. Следите за быстрейшей переброской дивизии Лисовского по правому берегу. Это важнейшая задача момента. Пусть не стесняется приостановкой всего движения и реквизицией подвижного состава.

Размашистым шагом подбежал и молодецки вытянулся комендант поезда Курочкин:

— Готово!.. Прикажете отправлять?..

Гулко рявкнул паровоз. Руки поднялись к козырькам. Чугунно заворчали колеса.

* * *

В общем отделении небольшого служебного вагона, под огромной картой, закрывшей заднюю стенку, собрался полевой штаб.

Радостно сияло белыми зубами румяное лицо помначоперода Платонова:

— Поехали, товарищ командующий!.. Слава богу!..

— Вы рады?

— Еще бы!.. К чорту все бумаги, отчеты, сводки. Жизнь и движение. Смерть люблю эти поездки...

Насмешливой улыбкой смягчилось лицо командарма.

— Знаю я... Только смотрите — у Одынца вести себя осторожно.

— Не извольте беспокоиться, товарищ командующий!.. По струнке ходить будем...

— То-то же... Ну, теперь я спать пойду. Не забудьте на каждой станции спрашивать, нет ли вызова из штаба...

— Спать, товарищ командующий? А чай?.. Самовар готов...

— Нет, какой уж чай, мне бы только до постели добраться! За мной уже тридцать пять бессонных часов... В случае вызова — разбудить...

* * *

Тепло в купэ. Удобен широкий кожаный диван. Мокрой темнотой талой мартовской ночи заткнуло окно. До Александрова пять часов езды. Значит возможны целых пять часов спокойного сна...

* * *

Паровоз, беспрерывно рявкая, снарядом сверлил темноту.

Трехосный служебный вагончик здорово мотало на стыках расхлябанных рельс. Выплескивался чай.

— Старается товарищ Дикой... — балансировал стаканом комендант Курочкин.

— Кто?.. — не понял Рукевич.

— А наш машинист. Набирает сто в час.

— Почему же он все время дает свистки?..

— Да ведь без огней идем. На всей дороге ни масла, ни керосину — ни капли...

— Вот это здорово! — восторженно хлопнул по коленкам Платонов. — Поезд без фонарей, дорога без путевых сторожей и сто верст в час!.. Вот — настоящая революция!..

— При чем же здесь революция?

— А в обыкновенное время рискнули бы мчаться по неохраняемой дороге, без огней?.. А теперь мчимся, и горя нам мало.

Искрясь возбуждением, Платонов заходил по вагону, прильнул к стеклу.

— Лихо мчит!.. Молодчина товарищ Дикой!.. Наддай, наддай еще!!!

Потом отвернулся и лукаво подмигнул в сторону купэ командарма.

— А все-таки, что там командарм ни говори, а у товарища Одынца здорово нарежемся.

— Без намаза дело не обойдется!.. — весело подхватил Рукевич.

* * *

Поезд с грохотом вкатывается под навес набитой людьми платформы Александрова...

Неожиданно разбуженный командарм едва успел вскочить с дивана, как уже начдив Одынец, — огромный, кряжебыкий матрос, — ворвался в купэ и наполнил его своей мускулистой массой.

Сверкнула сталью опущенная вниз шашка. Пулеметной дробью протрещал молодецки отчеканенный рапорт:

— Товарищ командующий!.. Во вверенной мне дивизии ... штыков ... сабель...

Прогремел и замер неподвижно вытянувшийся. Громадный, могучий.

— Изволите осмотреть штаб?..

— Но ведь поздно, уже за полночь...

— В штабе дивизии Одынца люди всегда на своих местах!..

* * *

На перроне напор гневного прибоя «Интернационала», торжествующий рев сотен глоток, вытянувшиеся ряды разномастно одетых солдат.

— Товарищ командующий!.. Представляю вам почетный караул из состава охранной сотни штадива. Эти молодцы знают, за что дерутся. Среди них нет ни одного, кто не пробовал бы шомполов при гетманщине...

* * *

За вокзалом ослепленная дуговым фонарем площадь и заткнутые темнотой щели улиц.

Раздраженными шмелями гудят автомобили.

— Как, товарищ Одынец?.. У вас ходят автомобили?! Откуда вы достали бензин?

— Никак нет!.. Бензину достать неоткуда. Они ходят на спирту с скипидаром...

Зарычали гудки. Машины рванулись и сразу провалились в черноту неосвещенных улиц. По сторонам с пиками наперевес, карьером ринулись диковинные всадники в косматых шапках с алыми шлыками, — конвой из бригады червонного казачества.

Бешеным бегом вздымаются навстречу обрушенные груды кирпичей, рукастые растопыри обгорелых крыш.

— Это во время последнего взятия города расстреляно. В этом квартале почти не осталось целых домов...

Притих, замер, скрючился в молчаливой пустоте напуганный город.

Мчатся автомобили, режут фарами темноту, рвут гудками тишину. Между острых, слепящих лучей задорно трепыхаются красные флажки.

* * *

В штабе «дивизии Одынца» коридоры и залы блестели чистотой. Щеголяли выправкой чины штаба. Отчетливо чеканили служебные рапорты, звучно отщелкивали шпорами повороты.

Из бунтарской бесформенности партизанских банд уже нарождалась стройная Красная армия.

Хвалил командарм. Самодовольно усмехался Одынец. Кончили осмотр, отпустили подчиненных, остались вдвоем.

Побледнели служебные взаимоотношения, ярче выступили товарищески-революционные.

— Товарищ Одынец, несмотря на образцовый порядок в вашем штабе, я все-таки должен призвать вас к порядку. И фронт, и Совнарком решительно протестуют против вашего отношения к гражданским властям. Вы реквизируете склады губисполкома, перехватываете продпоезда, не допускаете комиссий снабарма и Наркомпрода в район расположения дивизии. Ведь это же анархизм, партизанщина! Та самая партизанщина, которую вы так беспощадно выводите в подчиненных вам частях.

— Но, товарищ командующий, должон я кормить и одевать своих красноармейцев или нет?! Только при хорошем снабжении и могу я партизан в регулярные части обращать...

— Но эту задачу нельзя выполнять в ущерб государственным интересам. Ваша дивизия не одна существует на свете...

— А что будет, если она развалится?..

— Будет плохо!.. Но еще хуже будет, если, укрепляясь, она разобьет расчеты центра, развалит другие формируемые дивизии...

— Пущай каждый начальник дивизии поступает по-моему. Пущай каждый снабжает своих красноармейцев всем, что полагается... Хлеб даешь?! Сапоги даешь?! Тогда каждая часть на лад станет...

— И тогда все начальники бросятся наперебой захватывать снабжение и начнут драться из-за него между собой... Товарищ Одынец, как вы не поймете необходимости регулятора центральной власти, единственно только и могущей правильно распределить все?..

— Товарищ командующий!.. Пока центр будет распределять, тут на месте красноармейцы с голоду передохнут и разбегутся. Нешто революцию можно вести по указке из центра?.. Ждать приказа?.. Это — могила!.. Тут каждому самому надобно всякими средствами революционную снасть на своем борту крепить...

— Да нет же, не так, товарищ Одынец!.. Революция без планомерности — это анархия!.. Революция, не разбирающая средств — это разложение и гибель ведущей организации...

— Что?!! В революции еще средства разбирать?..

— Ну да!.. Революция может употреблять только чистые средства...

— Извините, товарищ командующий, так действовать—это на верный провал итти!.. Ежели средства разбирать, так тогда шагу ступить нельзя!.. Куда тут разбирать, в бога, в мать!!. Что ни заграбастал на пользу революции, — все ладно! Какого жулика ни использовал, — все годится!..

— Да нет же, нет, товарищ Одынец!.. Это кажущаяся польза... Она ведет к разложению, к гибели...

— Какое там к гибели!.. Вот у меня комендант Трембовский — жулик определенный, но никто скорее его не сумеет установить порядок в занятом городе. Я его держу и пользую. Пущай, собачья отрава, утаит десяток, другой бриллиянтовых балаболок, взятых у буржуев... Наплевать!.. Когда станет ненужным, я его расстреляю, а пока — порядок даешь? грабителей к стенке ставишь? Ну и гвоздь!..

Чувствовал Руднев, трудно возражать, невозможно переубедить.

— Оставим это!.. Тут возможны оттенки взглядов. Но на необходимость руководства центральной власти и строжайшего ей повиновения — двух взглядов быть не может! Без жестокой дисциплины нет жизни революции. Вы великолепно подчиняете других дисциплине, и вы сами должны ей подчиниться! Иначе вас придется отстранить от командования. Этого требует центр. Я хочу, чтобы вы остались начдивом, и потому прошу вас — впредь никаких партизанских выступлений!.. Дисциплина и организованность не только вниз от вас, но и кверху!..

Утомился Одынец возражать. Не горазд на разговоры.

— Ладно! Есть, товарищ командующий! Впредь буду великатнее обращаться с Наркомпродом, исполкомом и прочей крупой... Топор им в темячко!.. Не будет больше повода на меня жаловаться...

Мелькнуло лукавство в медвежьих глазках. Ладно, мол, надо успокоить начальство, а поступать все равно буду по-старому. Двадцать раз поднимались разговоры о смене с командования. Двадцать раз еще поднимутся, и ничем не кончатся. Где им другого Одынца найти, который такую бы железную дивизию из партизанских банд выковал?

Успокоенный командарм прощался:

— Завтра в десять соберем заседание всех военных и гражданских властей и приведем к всеобщему миру...

Выходили из штаба будто столковавшиеся, понявшие друг друга.

— Товарищ командующий, может быть, заедете ко мне поужинать?..

— Нет, благодарю!.. Я сыт и надо работать, да и вам пора отдохнуть, уже два часа ночи...

* * *

В вагоне командарм раскладывал папки с документами разведки.

Надо детально выяснить намерения противника. Беспокоит обнаженный район Гришина. До десяти утра еще восемь свободных часов. — Есть время поработать...

Беспокойно юлил комендант Курочкин:

— Я вам больше не нужен, товарищ командующий?..

— Нет!.. Можете итти отдыхать...

Курочкин стремглав юркнул на перрон к ожидавшему автомобилю.

* * *

Одынец застал у себя на квартире веселую компанию за столом.

— Здорово, братва!.. — рявкнул он, входя в комнату.

— Здравия желаем, товарищ начдив!.. — весело проревели уже чуть хмельные голоса.

Тут были: военком дивизии — старый эмигрант Ратный, приезжие гости — Платонов и Рукевич, наштадив — бывший лейтенант флота и целая куча матросов.

Одынец тяжко опустился на ожидавшее его свободное место.

— Ваш командарм—шляпа!.. Никакой в нем революционности нет... Хочет всю революцию по уставам, в порядке, чистыми средствами делать...

— Почему шляпа?.. — вступился Платонов. — Он — человек твердый. Спокойствия никогда не теряет и на своем настоять умеет...

— Одынец прав!.. Руднев — шляпа!.. — запинаясь, протянул военком Ратный, единственный заметно охмелевший.

— Шляпа, потому что интеллигент!.. Я его давно знаю. В эмиграции встречались. Он — бывший меньшевик, и хотя к нам еще до Октября перешел, но все-таки по психологии меньшевиком остался. А меньшевик — значит книжник, резонер, Гамлет... Пусть и спокойный, и выдержанный, и работоспособный, но не революционный полководец! Воли давящей, порыва, ни с чем не считающегося, у него нет! Почему он в командармы попал?..

— Свой, партийный и бывший офицер. На империалистской войне до командира полка дослужился. Говорят, был способным и храбрым офицером. Георгия имел...

— Тю-тю! — насмешливо засвистал один из матросов. — Бывший офицер, георгиевский кавалер!.. Полундра!.. Такому коммунисту грош цена! За ним присматривать в оба нужно...

— Нет!.. нет!.. — загорячился Ратный. — Рудневу доверять можно. Он — честный, даже слишком, до щепетильности честный...

— Интеллигентский чистун!.. Уховерт!!. — прогремел Одынец. — Революцию в белых перчатках делать хочет!.. Чтобы не запачкаться!.. Чистыми средствами!.. Чтобы совесть свою сохранить спокойною. Это революционер, — мать его в душу, да еще командарм?!. Гнида!!.

Он пил стаканами водку, ничуть не хмелел, только лицо краснело, да маленькие медвежьи глазки острей и пронзительней сверкали.

Хлопнула дверь, вбежал запыхавшийся комендант Курочкин.

— Вот и я! Наконец, вырвался! Не опоздал?..

— Про нас командарм не спрашивал?.. — справился Рукевич.

— Нет!.. за работу засел... Теперь гуляй до утра!..

— Гуляй... Гуляй, братва! — увесисто произнес Одынец. — Но чтобы завтра с креном не ходить и канаты не травить. Чтоб никто ничего не приметил...

— Что вы, товарищ начдив!.. Разве мы не понимаем?..

— То-то, помни наше правило: пить, а пьяным не быть! Гляди на мою братву — по ведру охолостят, а чуть свистки, в един момент на аврал станут, будто хмеля в башке и не бывало... Есть, братва?!

— Есть, товарищ начдив!.. — дружно гаркнули матросы.

— Ну, теперь вкачивай опоздавшему. Петренко, поднести ему сразу два стакана...

— Есть!..

— Лакай, лахудра, курицын сын!..

— Соколов, тащи еще пьянки четверть, да шамовки прихвати... Шамать больше нечего... В два счета, крой!..

— Есть, товарищ начдив!..

Попойка разгоралась.

* * *

— Нет!.. Товарищи начдив неправ!.. — горячился Платонов. — Если ты не родился пролетарием, так не можешь быть и революционером... Ерунда это!.. Из нашего брата военного революционеры еще почище могут выходить!..

— Да! Особенно из офицеров. Самые настоящие революционеры только и выходят... — поддразнивал его матрос Соколов.

— Что там офицер или не офицер!.. Я прежде всего казак!..

— Еще того чище... Ваша братья вся против нас и сражается. Не было б казаков, давно всех белогвардейцев прикончили бы... Казаки, как собаки цепные, помещиков и генералов защищают...

— Рабы все казаки!.. Сволочь, растуды их мать!! — подхватывали матросы.

— Неправда!.. Неправда!!. — все сильней зажигался Платонов.

— Казаков одурманили, окрутили, заставили служить угнетателям...

— Но, прежде чем стать на сторону господ, казаки сотни лет за свободу стояли... Стенька Разин был не казак?! Пугачев — не казак?!. Яицкий казак!.. Мы, яицкие казаки, всегда были революционерами! Наши бунты сколько раз всю Россию потрясали! Я — яицкий казак и я революционер! И разве я один такой?!. А казачья дивизия Каширина разве с самого начала революции за нее не борется?

— Знаю я Каширина... Хороший мужик, твердый... Дивизию в строгости держит! — отзывался Одынец.

— Есть и между казаками порядочные люди... — шел на уступку Соколов.

— Есть!.. Много есть за революцию!.. А знаешь почему?.. Потому, что лихости в нас много! А революция — это лихость, атака лавой на окопы, на проволочные загражденья!.. Знаешь, что прорваться невозможно... Знаешь, что из сотни шансов девяносто девять против!.. И любо мчаться!.. Вперед!.. На окоп!.. На проволоку, на пулемет, на смерть, на чорта, на дьявола!.. Вперед!!. Во весь мах вперед!..

— Здорово!.. Молодчинища!.. Это по-нашему! — одобрительно гудел Одынец. — Европу даешь?!.. Мировую революцию даешь?!.

— Ну, за твое здоровье!..

— За здоровье революционных казаков!..

— За революционную Красную армию!..

— Ура-а-а!!.

Дрожали стекла. Тряслись и звенели подвески на люстре.

— Гоголя... Гоголя помните? — надрываясь, кричал Платонов. — Эх, Русь! Тройка!.. Птица тройка!!. Неправдой было, когда это писалось. Тогда Россия едва тащилась под царским ярмом. А вот теперь!.. Теперь это правда!..

— Ынтернацыонал... — с трудом выворачивал мудреное слово матрос Петренко.

— Что?! Интернационал?.. — подхватил Одынец.

— Правильно!.. Пора расходиться, а без «Интернационала» мы, коммунисты, не расходимся... Крой «Интернационал»!..

— Нельзя! — протестовал Ратный. — Пьяны мы, а священную песнь пролетариата пьяным петь не годится!

— Ты пьян, может быть!.. Мы пьяны не бываем... — отрезал Одынец.

— Затягивай «Интернационал»!..

— Стойте, может есть рояль?.. Рукевич играет! — кричал Платонов.

— Есть и рояль. В соседней комнате. Много тут ненужного буржуйного барахла валяется...

— Бросьте!.. Не надо!.. Ведь все буржуи кругом услышат... Будут говорит, что большевики пьянствуют, — еще пробовал остановить Ратный.

— Пусть знают, мать их так, что гуляем!.. Гуляем, а революцию не забываем!.. Соколов, открой окно!.. Пусть слышат... в бога их мать!..

— Есть, товарищ начдив!..

Порывистый мартовский ветер трепанул раскрытые рамы. Смачно пахнул талой разопрелой землей.

3. Уголь.

С медного колеса Морза струилась бумажная лента, поспешно бежали черточки и точки, передавали:

«Говорит наштаб Карташов. Лисовский не может исполнить приказа, перебросить дивизию Броды. Составы не могут быть двинуты отсут-

ствием топлива. Нужно не меньше 30 вагонов угля, штабе армии всего два»...

Невозможность передвижения Лисовского нарушила все расчеты не только армии, но и фронта. Ставила под угрозу Киев...

— Подождите... Сейчас выясню с Одынцом..

Телеграфист стучал клавишей.

Командарм говорил по телефону:

— Квартира начдива?.. Товарищ Одынец, у вас есть уголь?..

— Только два вагона для своего поезда!..

— Где можно достать?..

— Только в Гришине, там есть груженые составы, не вывозятся за отсутствием паровозов...

Командарм соображал:

— Дать приказ Гришино?.. Не выполнят, не найдут паровозов. Послать паровоз?.. Застрянет между различными воинскими эшелонами и будет захвачен под один из них. Надо принять совсем экстренные меры...

Снова ежилась бумажная лента. Прерывисто текли черточки и точки:

«Свяжитесь Лисовским. Уведомьте, что через двое суток у него будет тридцать вагонов угля. После заседания я еду Гришино и сам приведу состав с углем».

* * *

Другой телеграфист ждал окончания разговора.

— Вам депеша. Срочная...

Командарм развернул:

«Несмотря на мои многократные к вам обращения, продотряды продолжают грабить Херсонщину, войска моей дивизии возмущены, с трудом удерживаю полки от возмущения. В последний раз обращаюсь за защитой. Если не будет принято экстренных мер, за последствия не ручаюсь. Начдив Криворук».

Поморщился командарм.

— Ого!.. Это уже открытая угроза восстанием. Надо действительно принять экстренные меры, иначе... Восстание на Херсонщине поставит нас в невозможное положение между двух огней!..

— Примите телеграмму под мою диктовку: «Начдиву Криворуку. Меры принимаются. Комфронт обещал добиться отозвания продотрядов с Херсонщины. Чека подчиняются особому отделу армии. Имейте терпение и крепко держите руках войска, все будет скоро улажено».

* * *

Качался вагон. Дробно рокотали колеса. В заднем окне зыбучей пробежью струились вспухшие талой водой поля. Бесконечными стальными кабелями разматывались рельсы.

Командарм диктовал Рукевичу большую телеграмму комфронту:

— «Противник подготовляет удар на Гришино, стремясь выйти тыл дивизии Одынца»...

Утомленный ночной попойкой, Рукевич шифровал медленно, с труом подбирая цифры ключа. Старался казаться бодрым, чтобы команарм ничего не заметил.

Руднев был доволен.

Утреннее совещание сошло как нельзя лучше. Предисполка, предубчека и чрезвычком Наркомпрода вполне примирились с Одынцом. ыработали основы совместной работы. Утренняя сводка была особенно лагоприятна. На юго-западе противник исчезал совершенно. Криворук обивал остатки. На юге дивизия Одынца уже ворвалась в Крым, проскоив на плечах отступающего врага неприступный Перекоп!.. Скоро ожно будет начать переброску отрядов Криворука против доброэльцев. Но отравляли радость досадные сомненья:

— А пойдет ли Криворук?.. Согласятся ли его отряды оставить ерсонщину?..

* * *

На станции Гришино горела только одна лампа, в комнате коменанта.

Пыхтели невидные в темноте паровозы. Звонко лязгали буфера ормируемых составов. Хрустко давилась под ногами угольная посыпка.

Начальник Гришинского участка, он же и комендант станции, одноукий забойщик Дудченко, напряженно таращил отяжеленные многоточной бессонницей глаза.

Черненное углем лицо морщилось складками застарелой усталости.

Железным крюком, заменявшим левую руку, придвигал стакан ю, которым угощали гости. Медленно, слегка заикаясь, говорил:

— Вот хорошо, хорошо, что приехали товарищи... А то забыли... были нас совсем... Все своими силами приходится производить. А тут елов, делов труба не протолченая... Магистраль двупутная, белым того... облазнительная... А справа у нас до Горловки никого, слева до Конантиновки тоже никого... Приходится весь участок своими силами оронить...

— Оружия хватает?..

— На первую смену, которая на позициях, набрали... Почти у всех интовки есть, какие целые, какие обрезанные — рушницы. А резервы, к те не того... с топорами, кирками и ломами выходят...

— Однако трудно вам!..

— С обороной еще не так трудно. Вот с провиантом того... много оуднее. Ни у нас, ни у крестьян ничего нет...

— И не разбегаются?..

— Ишь ты!.. Что вы, товарищи?! Куда же мы от своих шахт поегем?..

Звонил телефон. В какую-то шахту требовали крепи. Из другой эосили нарядить крестьян на подвозку угля к станции.

Однорукий забойщик шевелил своим железным крюком. Отдавал распоряжения спокойно и уверенно, будто всю жизнь командовал боевым участком.

Из разговоров все яснее вырисовывалась до крайности доходящая нужда.

Не хватало оружия, патронов, хлеба, одежды...

— Обойдитесь так как-нибудь! — говорил комендант, и просившие уходили без возмущения, без ропота.

— Чорт вас знает, что вы за люди! — возмутился Платонов. — Любая дивизия при таких условиях разбежалась бы, а вы держитесь!..

— Да ведь мы здешние рабочие... — робко отвечал комендант, видимо совсем не понимая, чему тот возмущается.

— Почему же вы не сообщали в штаб, что у вас такая нужда во всем?

— Думали, все едино не дадите ничего. Ведь мы того... не какая-нибудь красноармейская часть. Нас никто не формировал; сами сорганизовались, ну и думали — казенному снабжению не подлежим...

* * *

Нужный Рудневу состав с углем был приготовлен.

— Бригаду слесарей я того... в ваш вагон посадил,— говорил, прощаясь, комендант.

— Зачем?..

— Нельзя без них! Смазочного материалу нету. Буксы дегтем заливаем, — ну, они и того... горят. На каждой станции чинить надо, а то весь состав по дороге бросить придется...

Когда садились в поезд, слышали, как неподалеку завязалась перестрелка, встревожились:

— Что это?!.

Дудченко спокойно отвечал:

— У нас это каждую ночь. Белые того, щупают, нельзя ли пробраться. Да наши ребята, сторожко стоят, не пропущают...

Под гулкое щелканье все сильней разгоравшейся перестрелки отходил поезд.

Однорукий забойщик кричал вслед уходящему вагону:

— А насчет подкрепления, того... Конечно, рады будем... Но ежели в другом месте нужнее, так мы еще немного и своими силами продержимся. Так и продержимся...

* * *

Обратный проезд тягомотился. Горели буксы. После каждого перегона один или два вагона требовали ремонта. Приходилось стоять часами. Поезд еле двигался.

Ругался машинист Дикой, привыкший набирать сто в час. Нервничал командарм... Но уголь был дороже времени.

Кончались вторые сутки со времени отъезда из Гришина, а до штаба было еще далеко.

Главное, беспокоило трехсуточное отсутствие всяких сведений.

К третьей полночи, когда уже потеряли всякую надежду на возможность сообщения, на узловой станции в вагон явился телеграфист.

— Штаб армии просит командующего к прямому проводу!

Обрадовались. Спешно выскакивали из вагона. Выскакивали и проваливались во влажную вязкую темноту.

Ощупью пробирались через пути. Ощупью находили двери.

В аппаратной было также темно.

Телеграфист голосом указывал путь.

— Неужели у вас никакого света нет? — удивленно спросил Руднев.

— Разумеется, нет... — равнодушно ответил телеграфист, как о чем-то привычном, всем известном.

— Как же вы работаете?..

— Ночью только, по слуху...

Где-то в темноте, как сверчок в печной закуте, щелкал аппарат Морза.

Телеграфист принимал по слуху. Платонов светил спичками. Рукевич записывал. Говорил из штаба Карташов:

— «Второй день ищу вас по всем линиям и станциям...» — и дальше перешел на шифр.

Это сразу заставило насторожиться:

— Что-нибудь серьезное!

Торопливо возвращались в вагон расшифровывать.

Уже первые строки взбудоражили своей тревожностью:

— «Необходимо ваше самое срочное возвращение»...

— Ну, дальше! Дальше что?!.. — торопил Руднев.

И Рукевич, спешно подбирая цифры ключа, писал:

— «Кр-ив-ор-ук по-дн-ял во-сс-та-ние пр-от-ив со-ве-тс-кой вл-ас-ти за-нял Кр-ив-ор-ож-ье дв-иж-ет-ся на Кр-юк-ов Алек-сан-дров Ни-колаев тч-ка Все Пр-ав-о-бе-ре-жье ох-ва-че-но во-сс-та-ни-ем гр-оз-ит пе-ре-ры-в со-об-ще-ний шт-аба ар-мии ди-ви-зи-ями Ли-со-вс-ко-го и Од-ын-ца»...

— Так! — хмуро произнес командарм. — Этого следовало ожидать!..

Рукевич недоумевающе смотрел на депешу.

Платонов досадливо теребил усы.

Был момент растерянности, но не долго.

Руднев быстро овладел собою.

Сурово и терпко зазвучал его голос:

— Что ж!.. Медлить нечего... Рукевич!.. Отправить депешу в штаб армии: «Немедленно выслать паровоз станцию Узловая за составом с углем».

— Слушаю, товарищ командующий!..

— Курочкин!.. Отцепить наш вагон и паровоз от состава и, не теряя ни минуты, самым полным ходом в штаб армии...

— Слушаю, товарищ командующий!

— Платонов, вы останетесь здесь, возьмете с собой десять человек охраны, дождетесь паровоза и поведете состав с углем Лисовскому. Раздобудьте сведения, сообразите обстановку, выберите направление, сумейте проскользнуть мимо бандитов и доставьте уголь по назначению. Я на вас рассчитываю...

— Слушаю, товарищ командующий!

4. Откат волны.

Восстание, поднятое Криворуком, расползалось во все стороны, как кровавое пятно на марле.

Выброшенный им лукавый лозунг: «За вольные советы» заманивал даже селянскую бедноту.

Восставшие шли с красными знаменами, с алыми бантами, шли с пением «Интернационала», звали на борьбу «за советы»...

Сбитая с толку крестьянская масса уже не могла понять, кто, с кем и за что борется.

Озадачивались даже войска.

Отряды сходились в поле и спрашивали:

— Вы за что?..

— Мы — за советы!..

— Так и мы ж за советы!!.

И не могли определить, друзья они или враги.

Всюду вырастали самочинные советы обороны, и каждый из них претендовал на верховенство. Каждый командовал, каждый посылал свои распоряжения и свои никому не подчиняющиеся отряды.

Фанатик порядка и дисциплины, начштаб Карташов приходил в отчаяние:

— Кому же, наконец, штаб армии подчиняется?! Кого же мы должны слушать?.. Штаб фронта присылает одни распоряжения; верховный совет обороны — другие; областной совет — третьи; наш доморощенный городской совет обороны — четвертые... Что это — бедлам, паника?!.

— Нет!.. Это только революция... Один из крутых виражей ее! — полушутя успокаивал его Руднев.

* * *

Трое суток не спал подъесаул Платонов. Вел угольный поезд. Висел на паровозе, таращил глаза вперед, обнюхивал путь.

На станциях ловил слухи.

Комбинировал движение. Замедлял. Ускорял. Менял направление.

Два дня удавалось избежать встреч с бандами повстанцев, бродившими повсюду.

Но дальше приходилось проехать полосу, сплошь захваченную криворуковскими войсками. Обмануть было нельзя, пробиваться силой с десятью человеками — смешно думать. Оставалось одно: законспирироваться и попробовать проскочить «зайцем».

— Поезд с углем и только!.. Станция назначения неизвестна. Спешно идет, впредь до распоряжения начальства... А какого начальства, понимай каждый как знаешь!..

Пулеметы стащили с паровоза, спрятали в теплушку. Сами забились на нары. На площадку выставили дневальных без винтовок и — айда на счастье.

Несколько станций проскочили благополучно.

Платонов набрасывался на дежурных с маузером, грозил, бранился, требовал срочного пропуска. Несчастные запуганные, растерянные «ДС» послушно пропускали поезд. Они давно перестали понимать, в чьих руках власть и кто имеет право приказывать. У кого оружие в руках, того и надо было слушаться.

Целую ночь использовали. Двигались вперед.

К утру решил соснуть Платонов. С ног валился. Перегон предстоял большой, часа на два ходу, а за ним узловая станция. Без возни ее не проскочишь, — может быть, и подраться придется. Надо было запастись силами.

Строго-на-строго приказал Платонов дневальным разбудить, как только начнут подходить к семафору. Завернулся в шинель, завалился на нары и сейчас же провалился на самое дно глубочайшего сна, от которого пушками не разбудишь. Не боялся дать себе волю, на дневальных рассчитывал.

Но в предутренней мгле сморило и дневальных, закачало на площадке мерным постукиванием колес...

Поезд уже с час стоял у закрытого семафора. Несколько раз паровоз принимался надрывно кричать, просить пути. А в вагоне все спали и не замечали, что уже ярко светились утренней зарею щели изнутри крепко запертой двери.

И только когда в эту самую дверь застучали приклады и раздались резкие повелительные крики: — Гей!.. Отчиняй!! — проснулся Платонов. Сорвал с нар ближайшего солдата, пнул ногой другого:

— Проворонили, черти!.. Мать вашу так!!.

Мигом был у пулемета. Поворачивал дуло к двери. Охриплым залитым сном голосом кричал:

— Какой там дьявол ломится?.. Кого надо?!.

И с удивлением слышал хорошо знакомый голос (не раз вместе пили) самого Криворука:

— Тебя, товарищ Платонов!.. Как раз тебя мне и треба!.. Вылезай!!.

— Ступай к матери в штаны, изменник, контрреволюционер!.. А то я тебя сейчас пулеметом срежу...

Но с хохлацким юмором отвечал Криворук:

— Ты, сынку, помоложе, так тебе и треба раньше лизти туда, откуда вылез... А пулеметом ты меня не срежешь, потому что сидишь як крыса в бочке... а я ж тебя отсюда як хочу, так и растолку. А потому не лайся, вылезай, побалакаем...

— С изменником мне балакать не о чем!..

— Отто дурный!.. Заладив одно: изменник да изменник... Чему изменник?.. Ты коммунист, что ли? Як бы ты був коммунист, так я с тобой и балакать не став, а спустив бы вагон под откос, и сказ короткий. А я ж знаю, что ты казак, свой ридний брат, и з нами пидешь...

— Нет, с вами не пойду! Я за свободу, за революцию, а вы против нее пошли...

Рассердился немного Криворук:

— Отто морока якая!.. Что ж мы будем так через стенку лаяться? Вылезай, кажу, туточки за стаканом горилки и побалакаем... Тоди и решимо, кто з нас за свободу...

— Не могу!.. Обещал командарму или поезд по назначению доставить, или умереть. Слова нарушить не могу!.. Отходи, а то начну пулеметом резать!..

Заворчал Криворук:

— От скаженный!.. Ну, слухай, вылезай... Тильки побалакаем. Если не согласишься со мной, даю слово — отпущу тебя вместе с поездом...

— Честное слово даешь?..

— Ей-богу!.. Слово атамана Криворука!

— Ну, если так... Слову твоему я верю...

Загрохотала заевшая в пазах дверь. Высунулось помятое, заспанное лицо Платонова.

Коренастый широкоплечий Криворук, окруженный штабом, в сивых шапках с червонными шлыками, стоял у насыпи, щурил хитрые выцветшие глазки.

— Так-то лучше!.. Ходи к нам... Тут столкуемся... А то за коммунию помирать собрался... Подумаешь, тоже коммунист!..

5. «Шинеля и сапоги».

Повстанцы перерезали железнодорожные пути и образовали фронт между штабом армии и подчиненными ему войсками.

Порвалась связь с дивизиями Одынца и Лисовского, и неизвестно было, что у них делается.

Дошли слухи, что помначоперода Платонов не только не доставил угля Лисовскому, но сам перешел на сторону Криворука и теперь командует одним из его отрядов.

В отделе снабжения открылись чудовищные злоупотребления. Начснаб Головачев, оттягав у горсовнархоза свечной завод с огромными запасами саломази, продавал саломазь частным торговцам, наживая миллионы.

Болезненно морщился командарм:

— А я еще помог ему отобрать завод у совнархоза, — «для пользы армии»...

Дело передали в трибунал, но главные виновники успели бежать.

Предреввоентрибунала Кузьминский и начальник особого отдела Манеев приходили к командарму настороженные, всюду подозревающие измену.

Кузьминский с обычной язвительностью ставил на вид Рудневу:

— Вот ваш Платонов перешел к Криворуку, а вы ему доверяли... Много у вас в штабе таких!.. Много готовых изменников, только и ожидающих удобного момента!..

— Так арестуйте, если знаете их и имеете доказательства...

— Кто из них даст доказательства!.. Вот Карташов...

Но тут Руднев вставал на дыбы.

— Ну, уж за Карташова я головой ручаюсь!.. Карташов в политике ничего не понимает, но он человек долга. Раз взялся что-нибудь исполнять, он на деле умрет. Не понимая за что умрет, но умрет... — вы лучше за другими присмотрите, вот Черниховский мне подозрителен...

— Я о нем давно товарищу Манееву говорил...

— Знаю, братишка, знаю!.. — возражал Манеев. — Он под моим надзором состоит. Я его нарочно оставляю, до нужного момента берегу...

— Смотри, не прозевай... — предостерегал Кузьминский.

Оставшись один, Манеев вполголоса сообщал командарму:

— Знаешь, братишка, этот сукин сын Кузьминский вместе с предчека Эпштейном на тебя доклад послали. Будто Криворук с твоего ведома поднял бунт. Мне велели расследовать... Да ты не пугайся! Я знаю, что Эпштейн интриган, сволочь... Сам прозевал восстание, а теперь на чужой спине оправдаться хочет!

Все обвиняли друг друга, все старались переложить ответственность на неудачи с себя на других. Командарм чувствовал, что кругом нарастает пустота. Не на кого было опереться.

Теперь он сам просил прислать членов реввоенсовета. Фронт уведомлял об их назначении, но они не приезжали, и приходилось одному нести всю тяжесть работы и ответственности...

Подвижной, зыбучий, неуловимый фронт крестьянского восстания все теснее обжимал город.

Начальники всех наспех сформированных защитных отрядов неустанно требовали подмоги.

Командарм по прямому проводу наседал на фронт, требуя давно обещанных подкреплений, но получал опять только одни обещания.

Часами совещались Руднев с Карташовым, что бы еще бросить в бой.

Но бросать больше было нечего.

Все последние поскребыши, все самые фантастические, созданные из ничего новые части, запасные батальоны, комендантские сотни, все уже было пущено в дело. И все это плохо организованное, плохо вооруженное не могло приостановить наступления противника.

Встал вопрос об эвакуации города.

Но бросить город значило отдать Криворуку железнодорожный узел, позволить ему ударить с тыла на Гришинский и Бахмутский районы, слиться с партизанскими отрядами Батько, увлечь их в повстанческое движение и открыть дорогу Добровольческой армии.

Этого допустить было нельзя...

А противостоять было нечем...

Измученный, злой, раздраженный командарм лихорадочно пытал аппарат Юза, державший связь с фронтом.

— В последний раз я требую высылки подкреплений. Город под ударом. У меня ничего нет, кроме роты охраны штаба. Я принужден буду эвакуировать город. А эвакуация — это крушение всего фронта!

И вдруг ворвался Карташов, возбужденный, сияющий...

— Товарищ командующий!.. Пришли!.. Пришли подкрепления... Целый полк в две тысячи штыков... Первый эшелон уже на вокзале...

Это было счастье!.. Это было спасение!..

* * *

12-й партизанский полк собирали в крайности наспех.

Сгребли в одну кучу мелкие добровольческие отряды и партизанские банды, дополнили молодыми мобилизованными, что только вчера пригнали из деревень, и назвали полком.

Партизаны — задиристые, анархические, не признающие никакой дисциплины — задали основной тон всей сбродной массе.

Полк вышел требовательный, непокорный, буйный. Много хлопот доставлял фронтовому начальству. Военспецы отказывались принимать командование.

— Разве с такими справишься?..

Один только бывший атаман партизанской банды взялся:

— Справлюсь!.. Не таких скручивал...

Но посылать против Криворука с таким командиром было страшно... Он сам небось в Криворуки метит. Надо к нему приставить комиссара самого надежного.

Долго подыскивали. Наконец, подвернулся старый матрос Васильев, еще за Свеаборгское восстание осужденный на каторгу.

Человек свой, испытанный, с революционным опытом и ореолом прошлого.

Большевик с 1905 года — куда уж надежнее!

Васильев пришелся полку по масти. Его коммунизм был примитивный, малограмотный. Родился он на баке военного корабля из протеста против насилий и угнетений начальства и состоял, главным образом, в защите интересов товарищеской «братвы», чтобы она всем, что полагается, была удовлетворена. В таком виде васильевский коммунизм закостенел на каторге. Таким оставался и в революции. Такой коммунизм был

ıок и понятен солдатской массе. 12-й полк остался доволен своим ко-:аром.

Но начальству стало не легче.

Люди были плохо одеты и почти сплошь разуты. Полагалось полу-шинели и сапоги. А их не выдавали. У фронта не было. Солдаты роп-и волновались. Васильев их поддерживал. Перед строем резко ›рял начальника снабжения за задержку.

— Чего вы там толкуете — не имеется!.. Должны быть!.. Вы ·о и поставлены советской властью, чтобы доставать все, что по-ется!..

Фронтовому начальству очень хотелось сбыть поскорее беспокойный с. И комфронт требовал немедленной отправки подкрепления в армию.

Начснаб сговорился с инспектором пехоты.

Полку сказали:

— Поезжайте в распоряжение штаба армии. Там есть запасы. Там дадут и шинеля, и сапоги. А в дороге перетерпите как-нибудь...

Солдаты упорствовали, отказывались, но Васильев уговорил их:

— Раз там есть запасы, я все достану!.. Я сумею выжать из воен-,ов и интендантов все, что полагается!.. Едем, товарищи!!.

После долгого митингования полк согласился выехать.

* * *

Командарм нетерпеливо шагал по кабинету.

— Наконец-то!.. Наконец, пришло спасение. Мы теперь отстоим д. Две тысячи штыков — это сила!..

Радовало и еще одно случайное обстоятельство. Когда просматри-бумаги полка, увидел, что комиссаром Васильев Николай Антоно-— бывший матрос, свеаборжец. Тот самый, который когда-то спас Руднева, от каторги, а, может быть, и расстрела. Это он, Васильев, г момент, когда верные царю пехотные войска ворвались во двор мор-ı казармы Свеаборга, подхватил юного студента — эсдека Руднева, ɔо буркнул:

— Ну, вам тут погибать незачем!..

И пересадил его через стену казарменного двора.

Командарм ждал прихода командира и комиссара полка.

Оставалось переговорить с ними, выяснить состояние части... Потом ›тр. Короткое напутственное слово и в тех же эшелонах на боевую ию... Обстановка не терпит промедления!..

Оседланная лошадь с ординарцем уже стояла у подъезда.

Но проходило положенное время, а никто не являлся.

Командарм волновался, звонил по телефону, посылал дежурных ıетарей — поторопить.

Наконец, вместо ожидаемых людей прибыл Карташов, смущенный, :троенный.

— Плохо, товарищ командующий... Полк отказывается ехать на позиции. Требует выдачи сапог и шинелей, а мы не можем удовлетворить... У нас ведь ничего нет...

* * *

Полным скоком подлетел к толпе командарм и трензелями посадил на задние ноги коня.

Оборвалось гудение. Замерла, насторожилась многоголовая стихия.

— Здравствуйте, товарищи!..

Всплеск гомона не то приветственного, не то угрожающего.

— Товарищи!.. Командир полка мне передал, что у вас нет сапог и шинелей. К сожалению, мы не можем вам дать. У нас нет ничего. Вам придется ехать в бой раздетыми и разутыми... Знаю, вам будет тяжело. Но, товарищи, во сто крат вам будет тяжелее, если погибнет революция. Тут вам придется потерпеть несколько дней, а тогда снова сотню лет будете стонать под помещичьим гнетом, под полицейской палкой, под царским кнутом...

— Товарищи!.. Враг, грозящий задушить революцию, в пятидесяти верстах от города, и он продолжает наступать. Нельзя терять ни минуты!.. Ведь не предадите же вы свою советскую власть за шинеля и сапоги. В вагоны и в бой!.. В бой за спасенье революции, за нашу рабоче-крестьянскую власть!..

Минута молчания, потом один-два выкрика и многоголосый взрыв:

— Га!.. га!.. га!.. Хорошо толковать!... Есть сапоги!.. Во фронте сказали!.. Прячут!.. Продают!..

Никогда не предполагал у себя Руднев такой силы голоса. Это не он бешено рявкнул:

— Смирно!!.

Эта стальная пружина решимости развернулась и хлестнула по толпе.

И сразу упала галдящая волна, рассыпалась придушенным ворчанием.

— Не все сразу!.. Пусть один кто-нибудь... Комиссар!.. Пусть комиссар говорит!..

Смущенный выступил Васильев вперед.

— Товарищ командующий!.. Я — комиссар полка...

Это Васильев!.. Тот самый матрос Васильев, который тринадцать лет тому назад... Старый революционер. Он сумеет их успокоить...

Притихла толпа, напряженно вслушивается.

— Товарищ командующий!.. Требования полка вполне справедливы...

— Га!.. га!.. Справедливы! — негромким сочувственным эхом прокатилось по сгрудившейся массе.

Широко раскрыл удивленные глаза командарм.

— Что он говорит?.. Комиссар?!. Политработник?!. Как он не сознает своего провокаторства?..

А тот продолжает:

— Нам во фронте сказали, у вас есть запасы...

— Га!.. га!.. Во фронте сказали!.. — уже громче и возбужденнее прокатилось по толпе.

Передние ряды выпирало вперед, задние надвигало... Отчетливо ясно сознавал командарм:

— Нельзя!.. Нельзя давать ему говорить!.. Еще один момент, и взорвется толпа. Надо остановить, чем бы то ни было...

Повышал голос Васильев:

— Я, как комиссар и коммунист, требую...

Быстрым движением скользнула рука командарма. Сверкнул выхваченный маузер. Взвился над толпой надсадный крик:

— Требуешь?!. Провокатор и предатель революции!.. Получай!!.

Грохнул выстрел.

Пораженная, шарахнулась в сторону толпа.

Васильев с раскроенным черепом валялся на земле.

Испуганный конь, взвившись на дыбы, плясал над трупом.

Всадник, грозя сверкающим маузером, кричал диким, на всю площадь, голосом:

— Вот, что делают с предателями революции!.. Какие ни будь они комиссары!.. Вы требуете?!. Вы не хотите идти в бой без сапог и шинелей?!. Так вы все здесь издохните собачьей смертью изменников!.. Ну?!. Кто еще не согласен ехать на фронт?.. Выходи!.. Отзывайся!..

Закаменела толпа, без звука, без движения.

— Никого?!. Тогда слушай мою команду... Кру-гом!.. По вагонам ша-а-а-гом марш...

— Раз-два... — грохнули в отчетливом солдатском повороте тысячи тяжких ног.

Подошел Патесон:

— С телом убитого что прикажете делать, товарищ командующий?..

— С телом?.. Похороните как-нибудь!.. — сказал, как о чем-то незаслуживающем внимания, и не заметил своей чудовищной небрежности.

Тронул лошадь и поехал следить за посадкой.

* * *

Посадка прошла без всякой заминки. Хвост последнего эшелона еще не скрылся из виду, как на перрон влетел запыхавшийся конный вестовой.

Полевая записка из штаба.

Аллюр — три креста...

Встревоженно читал Руднев:

«Дело чрезвычайной важности, экстренно требует вашего присутствия штабе. Начштаб Карташов».

* * *

В штабе Карташов, озабоченный, таинственно докладывал:

— Начоперод Черниховский куда-то исчез. Очевидно, бежал к противнику. Унес много важных бумаг...

— Но что же делал Манеев?.. Ведь он был мною предупрежден...

Поднялась суматоха.

Призванный Манеев недоуменно ругался:

— А мать его так!.. Я только сегодня хотел его сцапать...

— И не приняли мер?..

— Кой дьявол не принял!.. За ним неотлучно следил мой агент Понизовский...

Выяснили.

Оказалось, исчез и Понизовский.

Долго спорили:

— Убит...

— Бежал вместе с Черниховским...

6. Путиловский отряд.

Вечером, когда только что зажглось электричество, в кабинет командарма вошел незнакомый крупный человек в черной рубахе...

Остановился. Спокойными уверенными глазами осмотрел комнату. Огладил окладистую льняную бороду. Неторопливо спросил:

— Вы — товарищ командующий?..

— Да...

— Я назначен в армию членом реввоенсовета. Зовут меня Иванов-Путиловский!

— Наконец-то!.. — обрадовался Руднев. — Как я вас ждал!..

Пришедший улыбнулся.

— А что, тяжело одному работать?..

— Еще как тяжело стало...

— Что ж, потащим вместе! Спорее будет! Как дела у вас?

— Очень плохо. Повстанцы жмут со всех сторон. Мы отступаем. В полдень отправил последнее подкрепление. Но, боюсь, оно не исправит положения. Состав частей ненадежен. А в борьбе с повстанцами гораздо больше, нежели в борьбе с белыми, нужны твердые сознательные части...

— Поможем... поможем и в этом. Я ведь не один приехал. Со мной полторы тысячи путиловских рабочих. Чисто пролетарский отряд из Петрограда...

Командарм не мог сдержать вскрика радости:

— Неужели?!. Вот это именно то, что нам нужно!!

— И я так думаю... — поддакнул Иванов. — В крестьянскую неразбериху только рабочие смогут внести порядок... Что ж, разберемся в делах и на фронт!..

Оживившийся Руднев спешно отдавал приказания:

— К рассвету приготовить состав. К пришедшему эшелону прице-
ть наш вагон и паровоз С-325. Я выезжаю вместе с рабочим отрядом
фронт.

* * *

Город кутался в молочном тумане.

На вокзале доски перрона темнели влагой обильной росы.

Холодные бисеринки светились на отпотевших окнах.

Нарядными и чистыми казались омытые росой теплушки сорока-
гонного состава. Бросались в глаза еще непривычные, свежей краской
.веденные буквы: «РСФСР».

Сразу обращал внимание необычный порядок в эшелоне.

Правда, не было нарочито-подчеркнутой воинской выправки: тя-
'щихся, замирающих в стойке фигур, четких поворотов, отрывистых
ıкриков.

Но не было и бестолковой суетливости, беготни, гомона, пере-
ıанки.

Чувствовалась спокойная, уверенная спаянность старой, прочно
ıожившейся организации.

— Да, старый отряд и товарищеский!.. — объяснял Иванов. —
ще из Красной гвардии вышел. Почти два года сражается на всех фрон-
х. А пополняется исключительно из Путиловского завода...

Загорался командарм:

— С таким отрядом можно уверенно лезть в любую кашу.. Едем!..
авайте сигнал отправления...

Распорола воздух тревожная трель сигнального свистка.

Зычно рявкнул могучий С-325.

Черноголовая красная змея Путиловского эшелона выскользнула
станционных построек и, извиваясь, понеслась по взбудораженным
)естьянским просторам. Черными развевами хвостился трубяной дым.

* * *

Станция «Долинская» была забита составами.

Эшелоны воинские, санитарные, технические, вспомогательные.
ронепоезда. Эвакуируемые грузы. Застрявшие маршруты.

С трудом втиснулся состав командарма.

Принужден был остановиться у входного семафора, упершись
хвост какого-то снабженческого поезда.

Шатались толпами люди, сновали верховые, тянулись обозы.

У полотна горели костры. Дымили походные кухни. Уныло чернели
ıбитые озимя.

В канавах и между путями зловонно грудились человеческие испраж-
:ния.

Вызванному начальнику боевого участка пришлось выслушать
ıого упреков:

— Товарищ Ильин!.. Что у вас тут делается?!. Хаос!.. Безобразие!.. Ведь в случае нападения противника ни один состав не уйдет со станции...

Старый добросовестный военспец Ильин, еще не сумевший примениться к условиям гражданской войны, беспомощно разводил руками.

— Что я могу сделать, товарищ командующий?.. Здесь у меня двадцать две различных части, все не связанные ни в какие общие организации... Отдельные полки, отряды... сотни... Ни одной надежной роты!..

— А тот полк, который я вам прислал вчера?..

— Слаб!.. До сих пор на станции. Галдит. Отказывается высаживаться из эшелона. Говорят: мы без эшелонов в бой не ходим...

Командарм продолжал расспрашивать начальника участка:

— Как положение на фронте?..

— Какой там фронт!.. Никакого фронта нет!.. Показываются банды Криворука то там, то тут... Налетят, постреляют, отскочат. Главные его силы уже пятый день неподвижно стоят в Харитоновке и, кажется, не так уже велики. Мы могли бы их разбить. Да разве двинешься в наступление с такими частями?..

— Господи!.. Что там еще такое?!. — вдруг неожиданно оборвал он.

Снаружи раздался один выстрел, потом другой, третий, и началась беспорядочная частая стрельба.

Командарм бросился к окну.

От станции через поле, по насыпям, по путям, с криком, с воплями бежали люди, стреляя на-ходу из винтовок неизвестно в кого.

— Что это?.. Какая-то паника!.. Скорей надо остановить ее!..

Командарм и Ильин спешно выскочили из вагона, бросились на обочину, навстречу бегущим.

— Спасайся!.. Кавалерия!..

Слышались отдельные выкрики, тонувшие в мычаньи, полном животного ужаса, и гулком топоте взбесившегося стада.

Какой-то парень с дико выпученными глазами, с ловкостью акробата на-ходу сбрасывая сапоги и швыряя их в разные стороны, уже промчался мимо.

— Стой!.. Куда?!. — крикнул ему Ильин.

Но тот даже и не слышал.

За одиночками уже неслась масса.

Валом валила обезумевшая толпа.

— Стой!.. Стой!!. — напрягая все силы голоса, закричал Руднев, бросаясь навстречу.

— Стой!.. Мать вашу так!.. Стой!.. — вопил Ильин, укладывая из револьвера первого попавшегося беглеца.

Но паника уже разрослась.

Неслись, не разбирая дороги, ломая изгороди, топча костры, опрокидывая котлы. В момент Руднев и Ильин были сбиты, опрокинуты с обочины.

Канава под крупным откосом спасла.

Иначе затоптали бы.

Ошарашенные, растерянные поднимались они, когда промчался людской поток.

— Сволочь!.. Трусы проклятые!.. Теперь их ничем не остановишь!.. — ругался Ильин.

— Нет... Смотрите... Они останавливаются... Там за семафором... Это наши путиловцы!.. Они!.. Они останавливают!!.

Длинная цепь с винтовками на руку перерезала путь беглецов.

Обезумевшая толпа наткнулась на щетину штыков.

Были раненые, напоровшиеся на штыки.

Был галдеж, ругань, угрожающие выкрики.

Но неразрывно и твердо подвигалась вперед цепь, ощетинившись колючими остриями.

Подвигалась медленно, спокойно.

Добродушные насмешки пробегали по рядам рабочих:

— Что вы, товарищи?.. Спятили?.. Красноармейцы или бараны?.. Что почудилось?.. Где противник?.. Где кавалерия?..

Опоминались люди...

Стыдно становилось перед невозмутимыми лицами и насмешливыми возгласами путиловцев...

Галдящими кучками расходились на места и с недоумением смотрели на произведенные ими, в диком беге, разрушения.

* * *

Один из отрядов ни за что не хотел высаживаться из эшелона.

— Мы всю войну в нем ездим!.. Как без него в бой пойдешь?.. Если противник надвинется, на чем отступать будем?..

После долгих безрезультатных разговоров, путиловские сотни наставили пулеметы, разоружили отряд, арестовали главарей.

Командующий третьим батальоном путиловцев Тарабукин пришел в реввоенсовет спросить, как поступить.

— А много ли еще эшелонов бунтуются, не хотят высаживаться?.. — справился Иванов.

— Да порядочно. Долго еще придется возиться...

— Тогда расстреляйте человек пять из арестованных, сейчас же у всех на виду...

— Кого именно?..

— Да тех, кто пошумливее...

— Слушаю, товарищ Иванов!..

Тарабукин отправился исполнять приказ.

Руднев заколебался...

— Товарищ Иванов!.. Нельзя же так без суда и следствия, первых попавшихся... Надо бы суд назначить, разобрать... Те, кто пошумливее, вовсе не зачинщики и не главари... Громче всех в толпе шумят трусы, а они меньше всех виноваты...

— Может быть... — спокойно согласился Иванов. — Виноватых вообще не бывает. Не мне объяснять вам марксовы взгляды на преступников... Но здесь некогда судами заниматься, нужно устрашить, чтоб привести в порядок...

— Согласен!.. Но надо ли проводить устрашение с нарушением элементарной справедливости?..

— Справедливость, товарищ Руднев, — это интеллигентская отвлеченность! Мы знаем только классовую полезность... Нужно принести жертву во имя победы рабочего класса, вот и все... Ну, одним словом, вы так не сделали бы?.. Тогда как советуете поступить?

Руднев замолчал.

Вдруг вспомнилась вокзальная площадь, комиссар Васильев, лужа запекшейся на солнце крови на желтом песке.

— Нет!.. — твердо произнес он. — Вы правы!.. Я поступил бы точно так же.

Снаружи у станционных построек протрещал короткий залп, будто аршин коленкору оторвали.

— Вот! — спокойно сказал Иванов. — Пока мы с вами о справедливости разговаривали, Тарабукин сделал свое дело.

* * *

К вечеру второго дня «Долинская» была приведена в порядок: отряды высажены из эшелонов и отведены на позиции, составы разгружены, ненужные — отправлены в тыл.

По очищенным путям зачокали расхлябанными поршнями маневровые паровозы.

— Вот!.. Вот что может сделать одна часть! — восхищался начальник участка — Ильин.

— Иметь только одну часть преданную и дисциплинированную, и любой сброд можно обратить в войско!..

Из штаба армии, от Карташова, пришло донесение, что Одынец и Лисовский сумели выделить кое-какие силы против Криворука и теснят его с юга и запада.

Этим, очевидно, и объяснялось бездействие криворуковских войск.

Решено было завтра ударить на них с севера.

* * *

Огромная двухверстка, расцвеченная красными и синими чертами, стрелками и надписями, глазела со стены.

Возбужденно шагал по салону Руднев.

Будоражил предстоящий бой под «личным» его руководством.

— Если б вопрос был только в тактических соображениях, только соотношении сил, тогда можно было бы почти все рассчитать заранее... э тут основным условием стоит ненадежность войск. Изменят партизание отряды, перейдут на сторону Криворука, и все расчеты полетят чорту!..

Иванов сидел за столом, поглаживая окладистую бороду.

— Не перейдут!.. Сзади будем мы с пулеметами...

— Ваш отряд составляет едва двадцать процентов...

— Хватит!.. Двадцать процентов пролетариата за глаза достачно, чтобы скрепить массу. На всю Россию его гораздо меньше придится...

7. Дело у Харитоновки.

Наконец, выбрались на взгорье.

Упала зеленая стена степи, замыкавшая горизонт.

Развернулись дали — плацдарм сегодняшнего боя.

Взгорье падало крутым спуском. Под откосом зигзагила речка. За й распахнулась широкая луговина, рассеченная железнодорожной сыпью...

А верстах в пяти направо — купа зелени, стрельчатой тополями, ние купола церкви, крылья ветряков... Харитоновка, — место сосредочения главных сил Криворука.

Торопливо выхватил бинокль командарм.

Прежде всего налево на железнодорожную насыпь.

— Слава богу!.. Дымят, ползут один за другим два наших бронеезда.

Подальше, чуть видная, извивается под насыпью левая колонна.

Отстала...

Должна была быть много ближе.

Противник активности не проявляет, но на железнодорожном пути Харитоновки видно несколько паровозных дымков: цепочкой — один другим.

Манера Криворука — выстроить все свои бронепоезда в одну линию продавливать ими дорогу, отжимая противника.

Теперь Герц направо: на взгорье за Харитоновкой. Оттуда должна явиться наша обходная колонна — Синебрюхова..

Но, конечно, ее еще нет. Запоздала с выступлением, а ей на десять рст лишнего ходу. Два добрых часа.

Надо задержать среднюю колонну.

— Связь!

Подскочил кавалерист в черной шапке червонным шлыком.

— Передай товарищу Тарабукину, перейдя через речку, — отряду звернуться в боевой порядок и остановиться...

— Слушаю, товарищ командующий!

Блеснувшие подковы взметнули охлопья грязи. Кавалерист провалился под откос. Улыбнулся командарм Иванову:

— Я прошел всю империалистскую войну, а впервые участвую в бою, который весь глазом охватить можно и в котором нет телефонов... Бой и полевой телефон — для меня явления неотделимые. А тут связь через ординарцев... Что-то первобытное, архаическое!.. И потому кажется, что все это невсерьез... Не бой, а какая-то театральная постановка боя наполеоновской эпохи...

— А я так других боев и не видал... Да вот, кажись, и этот начинается!..

Слева вдали на полотне железной дороги мигнул красный язычок пламени.

Резко тявкнуло орудие.

Наш приближающийся бронепоезд открыл огонь.

— А!.. Напрасно!.. — досадливо вырвалось у командарма. — На кой чорт он спешит развязать огонь!..

В ответ со стороны Харитоновки торопливо затявкали вражеские трехдюймовки.

Зацокали в воздухе шрапнельные разрывы:

— Бум-тю!.. Бум-тю!..

— Командование партизанское! — довольно усмехнулся командарм. — Отвечают бронепоезду, а на нашу колонну никакого внимания не обращают. А ведь мы уже в сфере действительного огня... Привыкли к железнодорожной войне и полевой маневр для них новость...

Оглянулся назад, в ту сторону, куда прошла путиловская батарея.

— Спряталась уже... Вот тоже им будет сюрприз, когда она откроет огонь с закрытой позиции...

Тявканье злобной своры трехдюймовок усиливалось. Чаще и чаще рвались снаряды. Казалось, что тяжкие молотки торопливо с присвистом дубасят по пружинящей чугунной плите.

— Бум-тю!.. Бум-тю!..

Командарм вперился биноклем влево.

— Эх!.. Опоздал Пименов... Только сейчас под огнем разворачивается...

Колонна под железнодорожною насыпью расползалась в стороны тонкими ажурными цепочками.

Над цепочками и над броневиками то-и-дело вспыхивали красивые белые комочки шрапнельных дымков.

Недовольно покачал головой командарм.

— Хорошо стреляют криворуковские броневики. Низкие разрывы. Действительный огонь. Пименовцам туго придется. Надо отвлечь внимание на себя... Связь!

Новый кавалерист с червонным шлыком.

— Передать товарищу Тарабукину, отряду двинуться в наступление!

— Слушаю!..

— Не надо!.. — остановил Иванов. — Я сам поеду, передам.

— Зачем?.. Ваше присутствие там пока не необходимо...

— Что ж, мне и здесь не необходимо... Я не командую. А там в куче веселее...

— Но как только отряд двинется вперед, по нем откроют огонь...

— Что ж, огонь!.. Видали мы и огонь!

— Смотрите... Убьют!

— Эка беда, что убьют одного Иванова, много их еще у рабочего класса останется!..

Усмехнулся, поправился в седле и, неуклюже цепляясь за переднюю луку, двинулся шажком по крутому спуску.

— Ну, а я на батарею!.. Руководить огнем... — крикнул вслед ему Руднев. Круто повернул. Сразу поднял коня в галоп.

Горячка боя уже захватывала.

* * *

Долго не отвечали батареи криворуковские.

Видно, не могли понять, куда отвечать.

Наконец, догадались обстрелять бугор, на котором стоял командарм.

Может быть, приняли связь за орудийные передки.

Первый разрыв был высок. Далеко в небе расплылось кольцо белого дыма. Второй снаряд дал клевка. Мягко тюкнулся в землю целиком. Но третий уже разорвался удачнее. Саженях в двадцати перед бугром.

Сиреной заныла просвистевшая мимо головка.

Холодком прошло под ребрами. Защекотало в поджилках. Уже родилось желание уйти — спрятаться, и вместе с тем хотелось еще пережить сладкую жуть ощущения опасности.

Четвертый разорвался справа, совсем близко. Крупным горохом шмякнули в пашню шрапнельные пули.

Встревоженно загарцовали кони.

— Ну, надо убираться...

Съехали в овражек.

Вытянул руку адъютант Рукевич.

— Смотрите, товарищ командующий!.. Поезда Криворука пошли вперед...

— Верно!.. Ишь вытягиваются. Один... два... три... Этак они, пожалуй, наши сомнут.

— Связь!..

— На батарею!.. Непременно сбить с пути головной поезд...

Взметнулся в гору кавалерист.

Точно по нем тюкнули сразу три разрыва.

— Батареей по отдельному всаднику!.. — смеялся Рукевич.

* * *

Собьют или не собьют наши головной поезд?..

Ворковали летящие через голову снаряды.

— Недолет...

— Перелет...

— Опять перелет...

— Браво!.. В насыпь!

— Ура!.. Под самые колеса...

Путиловская батарея стреляла сносно. Да и не мудрено, ее никто не обстреливал. Криворуковцы никак не могли догадаться, где она расположена.

На седьмом выстреле головной паровоз качнулся, ткнулся вперед и резко остановился. Видно, зарылся колесами в землю.

Забегали вокруг темные фигурки. Муравьи-людишки.

— Поднимают на рельсы!..

Но путиловцы уже пристрелялись.

Снаряд за снарядом гвоздили в точку.

Разбегались темные фигурки, вновь собирались, опять разбегались...

Оставляли неподвижные темные пятна.

Занятно было смотреть из безопасного убежища. Точно тир марионеток.

— Попал!.. Не попал!.. Разбил!..

Наконец, после одного выстрела паровоз подпрыгнул и перевернулся на бок.

Из опрокинутой топки красными взлизами взметнулось пламя.

— Горит!.. Кончено!.. Путь загроможден!..

Движение бронепоездов приостановилось, но бой только еще разгорался.

Огонь усиливался.

— Как-то наш Иванов там?..

— Смотрите!.. Смотрите, товарищ командующий!.. Криворуковские пошли против пименовцев в наступление. Вон цепи под насыпью двигаются... Здоровыми силами!.. Два полных батальона, не меньше...

— Да! Дело становится серьезнее. А тарабукинцев повернуть на них нельзя. Очень далеко вперед ушли и при повороте под фланговым огнем окажутся.

Замолчал Рукевич. Вперился двуглазым Герцем в Харитоновку.

— Товарищ командующий!.. Там за наступающей пехотой, в рощице между хатами, группируется кавалерия...

— Где?.. Где?! Верно, чорт возьми!.. Это уже хужее! План противника ясен. Пехотой опрокинуть пименовцев и потом бросить кавалерию, разметать их и полоборотом обрушиться тарабукинцам в тыл... Умно!.. Очень умно!.. Видно, хороший военспец командует криворуковскими...

— А нам что делать?..

— Нам? — Руднев медленно закуривал папиросу. — Нам?.. Раз згадан план противника, надо принимать контрмеры!.. Связь!..

— Есть, товарищ командующий!

— Передать на батарею: частый огонь очередями по кавалерии, уппирующейся в роще на краю села. Не прекращать, пока противник не ссеется... Рукевич... А нам надо ехать к пименовцам, поднять их контратаку. Это единственный способ парировать криворуковский невр... Сбить, пока самих не сбили!.. Сколько до них отсюда?..

— Напрямик — версты три...

— Связь!.. Передать Тарабукину, что я отправился в пименовскую лонну... Тарабукину выслать на левый фланг пулеметы и обстрелять хоту, наступающую на пименовцев!..

— Слушаю, товарищ командующий!..

— Рукевич, едем!

— Едем... Справа по одному... ма-а-рш!!

* * *

Навстречу прижатым ушам скакунов кубарем несется, растет, близтся железнодорожная насыпь.

Вот уже и люди, залегшие в цепь. Выстрелы бухают рядом в упор. крики:

— Стой!.. стой!..

Остановили. Ходят взмыленные конские бока.

— Рукевич!.. Без потерь?..

— Без потерь, товарищ командующий! Только одну лошадь шрапнельной пулей ранило, да и то легко...

А кругом орут десятки голосов:

— Слезайте!.. Слезайте с коней!!!

— А что?..

— Не видите, как пулеметом режет?..

— Верно!.. Нечего коней губить!..

— Слеза-ай!!.

Коней в овраг под мостик. Сами к железнодорожной будке.

За ней укрылся штаб отряда.

Пименов сидит на корточках с картою на коленях.

Около него вповалку лежат человек шесть связи.

Люди жмутся к полуразрушенной стенке.

По будке кроют гранатами.

Один угол уже обвалило.

Зияют красным нутром искрошенные кирпичи.

Кругом грохает, трещит, разрывается.

Растет фуга боя...

Огонь все усиливается.

Пулеметы наперебой чеканят сплетающиеся мелодии ритмической юби.

— Та-та-та, та-та-та...

Захлебывается в пароксизме частоты ружейная стрельба. Будто обезумелый сазандари палкой на гигантском бубне бешеную лезгинку выколачивает:

— Бах, бабах!.. Бах, бабах!..

Оглушает мажорная симфония чудовищного шумового оркестра.

Приходится кричать во всю глотку, чтобы услыхали.

— Товарищ Пименов!.. На вас наступают!

— Знаю!.. Тыщи две прут!

— А сзади них кавалерия. Удар хорошо подготовлен, его можно остановить только немедленно контратакой... У вас резервы есть?..

— Весь мой путиловский батальон еще не тронут... Вон там в овражке сидят...

— Надо немедленно бросить его в атаку и подтолкнуть им передовые части!

Поднимается Пименов.

— Что ж, сейчас...

Его слова перебивает многоголосый, полный животного ужаса, вой:

— А-а-а-а!..

Как разрывом вышвырнуло командарма из-за будки.

— Противник в атаку пошел!.. Рукевич!!. Пименов!.. Скорей!.. Скорей!!.

Не слышали больше ни визга пуль, ни грохота разрывов.

В момент очутились у оврага...

— Товарищи!.. Вылезай в контратаку!.. Скорей!.. Скорей!!.

Дружно рванули путиловцы из чуть намеченных окопчиков.

Грозить и вытаскивать силой не пришлось.

— Тесней смыкай ряды!.. Ружья на руку!.. Надо прежде всего своих остановить!

А там уж бегут... бегут...

Уж видна в беспорядке клубящаяся масса и выставленные вперед в паническом бегстве раскоряченные руки.

Мычат, топочут, бегут.

Хорошо еще, что до передовой линии больше тысячи шагов.

Руднев попал в ряды путиловцев. Стиснули его со всех сторон здоровые, плечистые фигуры в защитных рубахах и понесли с собою.

Сначала мелькнула было досада, что ненужно впутался в опасное дело, прошла легкой тошнотой нудная тоска страха смерти, но потом опьянение борьбы захватило... С каждым шагом ускорялось движенье, с каждым шагом нарастал подъем, и уже Рудневу казалось, что он не идет сам, а несется на гребне волны, вздымающейся все выше и выше.

Исчезла мысль об опасности о возможности ускользнуть. Исчезла мысль о себе.

Тесней смыкались ряды.

Кругом мелькали возбужденные раскрасневшиеся лица, тяжко дыащие раскрытыми, пересохшими ртами.

Справа, слева, сзади, толкали чужие руки, плечи, груди, и казалось, о все срасталось вместе, и не было отдельных людей, а был один огромый многоклеточный организм. Валом валила не толпа, не войско, а одно ивое тело, единое и неразрывное, спаянное общей жизнью...

Люди шли, очумелые, забывшие себя.

Блестели расширенные зрачки.

Из сопящих грудей вырывались отрывочные возгласы:

— Вперед!.. Скорей!.. Живо!.. Вперед!..

Тяжкой давящей лавой катилось вперед чудовищное тело — живой ассы.

Опрокидывало встречных, подминало упавших, топтало трупы, лоало изгороди...

И было видно, как разметает дорогу перед наступающими ведущая х напряженная воля, как, не дождавшись удара, в страхе мечутся кривоуковцы, бросаются в стороны, ищут убежища.

И когда уже совсем близко подбегали к ним, жуть напряжения дошла о спазмы, давящей горло.

Сами собой раскрылись рты и заревели:

— Ура!!!

Сами собой поднялись кверху штыки.

И чувствовал Руднев, что он так же дико орет, как и другие, и так же апряженно бежит вперед, поднявши руки для удара, ни о чем не думая, ичего не соображая.

Опомнился, когда разбилась густая волна путиловцев, только своим риближением разметавшая криворуковских и сама разметавшаяся в их реследовании.

Опомнился и поймал себя бегущим вперед и дико кричащим что-то епонятное и торжествующее.

Опомнился и устыдился.

— Как он позволил опьяненью боя так захватить себя?

Руднев бросил ненужную больше винтовку и медленно побрел наад... отыскивать связь с командованием и штабом.

8. Ликвидация.

Атака пименовского батальона явилась решающим моментом боя.

Кстати тут вывалилась, наконец, из-за взгорья опоздавшая обходая колонна Синебрюхова и издали открыла огонь по тылам.

Вся криворуковская организация рухнула и рассыпалась на тысячу усков.

Все бросилось бежать.

Убегали вразброд пешие.

Убегали конные.

Убегали бронепоезда, облепленные от крыш до осей копошащейся человеческой массой.

Путиловские батальоны остановились. Вперед выскочили партизанские отряды. Пошла охота за отдельными людьми, за их снаряжением, за сапогами, шинелями и френчами.

— Бей!.. Бей вон того!.. Глянь, какие на нем галифе!..

На полях, на дороге, на улице села тошнотворно белели обнаженные тела, голые, раздетые трупы...

Босые и оборванные победители сбрасывали свои лохмотья. Напяливали залитые свежей кровью френчи. Натягивали только что стащенные, еще нагретые чужой теплотой сапоги.

* * *

Только на вокзале станции Харитоновка засевшая там на втором этаже кучка криворуковских, не успевшая или не хотевшая бежать, упорно отстреливалась из двух пулеметов...

Вокзал стоял на взлобке, обстрел был широкий, и пулеметы, видимо направляемые опытной рукой, веером поливали из окон всю округу.

Пробовали вступить в переговоры с засевшими; выходили с белым флагом.

Пулеметы косили парламентеров.

Тогда подвезли батарею и начали гвоздить по вокзалу.

Били очередями с ближней позиции.

Летели брызги кирпичей, осколки стекла, клочья железной крыши, обломки стропил.

Смолкали пулеметы.

Но чуть прекращали огонь орудий и пробовали двинуться пехотные части, вновь начинали упорные пулеметы свою беспощадную дробь механизированной смерти.

И вновь открывали орудийный огонь. Вновь били очередями и тяжко чвакали гранаты в изъеденные выбоинами стены.

Вздымалась красная пыль, сыпались кирпичи, лопались рамы, карежились железные листы на крыше. Наконец, загорелось вокзальное здание. И только когда горящие балки стали проваливаться внутрь, только тогда смолкли пулеметы и из окон второго этажа стали прыгать люди.

Озлобленные потерями осаждающие пронизывали их пулями на лету, подхватывали штыками. Члену ревсовета Иванову пришлось самому броситься в свалку, чтобы живьем захватить упорных защитников последнего остатка криворуковского гнезда.

Командарм и Рукевич были очень огорчены, когда узнали, что среди захваченных оказался и бывший помначоперода подъесаул Платонов.

* * *

Чтобы показать пример крестьянам, поддерживавшим Криворука, организовали военно-полевой суд.

Собрались: председатель Иванов-Путиловский, члены — командарм Руднев и командир баталиона Тарабукин, секретарь — адъютант Рукевич.

Быстро пробежали наспех составленный список захваченных повстанцев. Решили рядовых партизан и мелких начальников — не судить, а просто предложить им стать в ряды Красной армии и борьбой за революцию загладить свою вину.

Выделили для суда только троих, захваченных после упорного сопротивления на вокзале.

Чины штаба Криворука, — из видных, — Дьяченко, Зеленчук, Платонов.

Больно сделало командарму третье имя: Платонов...

Когда-то близкий и милый ему удалой, размашистый казак Платонов.

Почему-то снова вспомнился комиссар Васильев и пятно запекшейся крови на песке вокзальной площади.

— Васильев... Платонов...

* * *

С криворуковским восстанием было кончено.

Осталось подмести осколки и не дать им сгруппироваться в значительную банду.

Но это было уже не ответственное задание, его поручили начальнику участка Ильину со сборными частями, а командарм с Ивановым и путиловским отрядом вернулись на станцию «Долинскую».

* * *

На станции «Долинской» командарма ждала шифрованная телеграмма из штаба:

«На юго-восточном направлении Добровольческая армия перешла в общее наступление. Оттеснила отряды горнорабочих и бригаду Батько, Гришино-Волноваха заняты противником. Наши части отходят на линию Чаплино — Лодей Поле. Требуют подкрепления. Резервов в распоряжении штарма не имеется. Фронт извещен. Жду указаний. Наштарм Карташев».

Командарм прочитал, передал Иванову-Путиловскому:

— Вот чего я давно опасался... Пока Криворук отвлекал наши силы, главный враг воспользовался моментом.

Иванов проглядел и уверенно взметнул своей бородой.

— Ясно... Этого следовало ожидать... Вольные советы всегда открывают дорогу царским генералам... Ну, да ладно!.. Справились с вольными советами, справимся и с царскими генералами... Что думаете предпринять?

— Видите фразу: — в распоряжении штарма резервов не имеется. Надо нам туда ехать!

— Куда именно?..

— По направлению на Гришино, оттуда прямой путь на нашу базу...

— Что ж, едем!.. Когда?

— Время собрать полк и погрузиться...

— И еще похоронить наших убитых. Из путиловцев 22 человека убито, в том числе и командир батальона, товарищ Пименов. Славный товарищ был... Из литейного цеха... Что ж, приказывайте грузиться, похороны много времени не займут...

* * *

Черным зевом распахнулась широкая братская могила. Раскрылось жирное чрево плодоносящей земли. Приготовилось принять на переработку, отслуживший производству жизни, человеческий материал.

9. К новым боям.

Гомонели возбужденными людьми вагоны.

Топтались на гулких досках лошади.

Дыбились оглобли двуколок на платформах.

Хищно вытягивали вперед острые металлические рыла полевые орудия.

Ярко светились на красных стенках теплушек свежие, светлые буквы «РСФСР».

Эшелон был готов к отправлению.

В последний раз проходил вдоль состава командарм.

И всюду в гомоневших вагонах встречал дружеские лица, приветливые улыбки уже признавших его своим товарищей.

Товарищей на жизнь и на смерть.

* * *

Когда командарм подошел к паровозу, огромному, грузному, могучему С-325, из будки, пыщущей жаром, высунулся машинист Дикой.

Озабоченность хмурила засурмленное сажей лицо.

— Товарищ командующий!.. Вам докладывали?.. Дров мало... Верст на пятьдесят хватит — не больше!.. Тут кругом хоть шаром покати! Последние шпалы забрали!..

— Знаю!.. Что ж делать? Все равно надо ехать. На Криворожье найдем дрова...

— До Криворожья семьдесят восемь верст... Как бы не сесть в пути...

— Ухитритесь как-нибудь, товарищ Дикой!.. Другого выхода нет...

Подбежал комендант Курочкин.

— Товарищ командующий, все готово... Прикажете отправлять?..

— Отправляйте!..

Дернулись платформы, теплушки, классные вагоны.

В чугунном ворчаньи колес потонул людской говор и конский топот.

* * *

Несся бесконечно длинный состав, шатаясь на расхлябанных рельсах, вздрагивая на оседавших под стыками гнилых шпалах.

Неслась мимо бесконечной гладью бескрайняя пустынная степь. Неслись навстречу одинокие, заброшенные в степи станции и полустанки и неслись через них тревожные телеграммы наштарма Карташова.

На каждой остановке ловили командарма телеграфисты с шифрованными депешами, отправленными «по месту нахождения».

«Наши не удержались в Чаплине. Отступают дальше. Батько оставил Лодей Поле. Николаевск под ударом».

Каждый час промедления ухудшал положение.

— Нам во что бы то ни стало надо успеть прибыть в Николаевск до занятия его белыми!.. — тревожно твердил командарм. — Там река... Там мост... Там последнее место, где можно задержаться и приостановить наступление!..

На каждой остановке комендант Курочкин бежал к машинисту с приказанием:

— Ускорить ход насколько возможно!..

На каждой остановке искали дров, но их нигде не было...

— Только бы до Криворожья добраться... — беспокойно вздыхал весь эшелон.

Криворожье уже ответило по прямому проводу, что заготовляет дрова, но навстречу выслать не может, нет ни одного исправного паровоза.

Считал мелькающие мимо версты командарм.

Считал Иванов-Путиловский.

Считал каждый красноармеец.

— Осталось только 30 верст...

— 29...

— 28...

— Ура!.. Уже только 27!..

Напряженно считал версты машинист — товарищ Дикой.

— Последние поленья добираем!.. — кричал ему прокопченный, залитый потом кочегар, подбрасывая новую и новую жратву в жующую огненными зубами пасть топки.

— Не хватит!..

— Какой профиль будет... — сквозь зубы ворчал Дикой. И, высовываясь наполовину из будки, навстречу свистящему ветру, жадно вглядывался в неизвестный путь незнакомой линии.

— 27 верст. Ежели будет ровная профиль или уклон, тогда хватит...

И вдруг как на зло перед предпоследним полустанком взмылся пятиверстный предельный подъем.

Тяжко задышал паровоз.

Огненная пасть топки жадно глотала последние поленья.

Глотала и — не насыщалась.

Бессильно падала стрелка манометра.

Едва-едва хватило вытянуть состав к полустанку.

Последними, замирающими движениями поршней втянулся ослабевший С-325 на станционную площадку и... стал.

Бежал к паровозу комендант Курочкин.

— Товарищ Дикой!.. Зачем остановились на этом полустанке?..

— Дальше ехать не на чем... Дрова кончились...

* * *

Двадцать две версты...

Оставалось только двадцать две версты до Криворожья, где были дрова, а оттуда семьдесят верст до Николаевска.

Всего два часа езды.

И вдруг эти два часа вырастали в двое суток.

Ведь приходилось высаживаться и двигаться походным порядком. На линии положение создалось безнадежное.

На тех станциях, где были исправные паровозы — не было топлива. Где было топливо, не было исправных паровозов.

Послать двуколки на Криворожье, доставить дрова конной тягой, значило также потерять двое суток.

Командарм стоял на убогом перроне. Напряженно оглядывал полустанок.

— Что делать?.. Где взять дров?..

Беспомощно толокся рядом растерянный начальник полустанка.

Кругом стлалась голая степь.

На сотню верст ни деревца, ни кустика.

На голом месте стоял полустанок. Маленький, жалкий... недавно отстроенный, еще не выкрашенный.

Трехкомнатный домик, небольшой сарай. Больше ничего...

Даже изгороди нет...

Взбудораженным роем гудели на путях высыпавшие из вагонов красноармейцы.

Бежал с телеграфа комендант Курочкин.

— Соединились со штабом. Карташов доносит: «Отступление продолжается. Наши уже докатились до Николаевска».

— Что будем делать? — тревожно спрашивал Иванов-Путиловский. — Неужто высаживаться?.. Тогда пропал Николаевск! Не успеем во-время подойти...

Будто хлыстом ударило командарма это соображенье и вдруг вдохновило, натолкнуло на простую, как Колумбово яйцо, мысль...

— Нет!!! Мы Николаевска не отдадим!.. Мы доедем во-время!.. Гей!.. Товарищи!.. Бери топоры — ломай станционные постройки!..

Жалобно вскрикнул начальник полустанка:

— Помилуйте!.. Товарищ командующий!.. Разве это можно делать?!.

— Можно!.. Все можно делать, когда этого требуют интересы революции!.. Живо, товарищи!..

Обрадованные найденным выходом, дружно набросились красноармейцы на станционный сарай. Густым роем облепили его. Весело наперебой затюкали топоры. Полетели обрубки...

Начальник станции повис на руке Иванова-Путиловского.

— Товарищ!.. Ради бога!.. Остановите хоть вы!.. Разве это допустимо?! Для прохода одного поезда уничтожать станцию...

— Эх!.. — стряхнул его как букашку старый токарь. — Что̀ ваша станция, когда надо победить!.. Мы все уничтожим, все бросим в топки наших паровозов, но победим!..

— Правильно, товарищ Иванов!.. — весело кричали кругом задорные, бодрые голоса.

Бойко стучали топоры, кололи стены в щепы...

* * *

Командарм стоял у паровоза.

Любовался, как растет на тендере гора чистых обструганных бревен.

Помощник машиниста с кочегаром, в четыре руки, без остановки подбрасывали поленья в огненное жерло топки.

Жарко горели сухие, тесанные обрубки. Краснело, раскалялось низко опущенное брюхо паровоза.

Товарищ Дикой напряженно следил за стрелкой манометра.

— Ну, довольно!.. Есть пар. Кончай погрузку, товарищи!..

Переливами прокатилась вдоль эшелона протяжная команда:

— По вагонам!.. Са-адись!..

* * *

Нажрался топлива С-325.

Вновь сделался живым и могучим.

Прижал стальные рычаги к высоким колесам.

Подтянул свистящие паром поршни. Выпучил сверкающие стеклом и медью — фонари...

Приготовился к прыжку.

Сиял товарищ Дикой:

— Отправляйте, товарищ командующий!.. Теперь доедем... До самого Николаевска топлива хватит!..

— Я с вами на паровозе поеду...

Вскочил на подножку командарм.

— Теперь давайте полный ход... Сколько мы здесь времени потеряли, а там, на фронте, каждая минута дорога...

Оглушительно заревел С-325.

Вздрогнул.

Напрягся всеми могучими членами.

Двинул рычагами.

Рванул. Понес.

* * *

Командарм жадно высунулся в окно паровозной будки. Напряженно вперился вперед.

— Скорей бы Николаевск!.. Поспеем ли во-время?..

Мчался поезд.

Товарищ Дикой наверстывал потерянное время. Грохотал, дрожал, рвался вперед С-325. Поспешно глотал узкую ленту пути.

В обрывках дыма испуганно проносились заброшенные, непаханные поля, растрепанные войной полуразрушенные деревни.

Тяжкой лиловой громадой клубились навстречу грозовые облака.

Беспокойная, бурей чреватая ночь укладывалась на степные просторы.

Впереди, на горизонте, рвали темь тучевого навеса синие вспышки далеких разрывов шрапнели.

Там шел бой.

Отряды гришинских рабочих, голые, голодные и безоружные, отражали натиск Добровольческой армии, поддерживаемой всей технической мощью мирового капитализма.

Ярко вспомнилось Рудневу его посещение Гришина. Однорукий забойщик — командующий боевым участком. Шахтеры без хлеба, без винтовок... Днем работающие в шахтах, ночью стерегущие фронт...

Гришинские рабочие!..

Разве это не образ всей России тысяча девятьсот девятнадцатого года?..

Не отраженье океана в капле воды?!

* * *

После всего пережитого нельзя допустить победы старого порядка...

Ни за что нельзя допустить!..

Надо бороться!..

Бороться всем, чем только можно.

Бороться всяким оружием...

Силой, ловкостью, хитростью!..

Беспощадной жестокостью, массовым террором, забвением всех законов человечности...

Всем!.. Всем!..

Для пролетариата, спасающего человечество от гибели, от уничтоженья в бесконечных войнах, — все средства борьбы допустимы... Все чисты... Все священны...

Прав Иванов-Путиловский:

— Все сожжем, все бросим в топки наших паровозов, но победим!..

Добиться победы!..

Добиться победы революции какими бы то ни было средствами, какой бы то ни было ценой!..

Вот он — закон законов! Высший закон!!.

* * *

— Девяносто в час идем! — сквозь лязг и грохот торжествующе прокричал машинист Дикой.

В тяжком мраке сгустившейся ночи бешено мчался вперед паровоз.

Мчался без огней, по неизвестному, невидному в темноте пути.

Не считаясь ни с какими опасностями — мчался навстречу наступающему врагу.

Огненным безумием вихрился над поездом дождь раскаленных искр. Захватывало дух от бешеного бега. И ширилось сердце.

Огромным становилось, переполненным жаждой безмерного подвига, жаждой жертвы и гибели на пользу революции.

И кипела кровь огневой радостью безудержного порыва в беспредельную неохватную даль.

Университетская весна.

Профессор из класса выходит
и коридоров —
уезд.

Но что-то неладно в природе
ученых присутственных мест.

И лак,
и клеенку лекторий
сквозь шторы
закат захлестнул.

И вот
близорукий историк
опять сочиняет весну.

Идет он к швейцарской налево
и шляпу ему подают.

Цветет золотой линолéум
и двери скворцами поют.

Он сходит в цветные владенья
косых мезонинов
и клумб.

Виденья,
виденья,
виденья

взлетают
на каждом углу.

Ему начинают казаться
в пунцовом меду
над торцом
сквозь грозди
янтарных акаций
две черных серьги
и лицо.

Теснимый из дому томами,
как страсть,
прибывающих книг,
он молча беседовать с вами
в апреле
и в мае
привык.

Он ждал вас в апреле и в мае,
ручьев и речей меломан,
чтоб вместе
с последним трамваем
в природу лететь —
        на лиман.

У линий,
мостов
и оврагов,
среди семафорной зари —
залив —
рафинадом на шпагах
туманною жженкой горит.

От жженки,
        от милых вакаций
ушедших студенческих лет, —
в губернии желтых акаций
и свечи,
        и спор,
                и рассвет.

На старости лет не по чину
ты бродишь один до утра,
уже зеленеют овчины
и стекла
по темным дворам.

Уже ты не ляжешь сегодня
и книги уступишь на вес.

Лети же,
    цветок прошлогодний,
    в зеленое утро
    небес.

Ник. Ушаков.

Лубок.

Скворешницы,
лабазы,
клети.
Колотят звонари во вся.

Почтмейстер на мотоциклете —
косит —
и ветер по осям.

Что фуксии — в цвету девчата
И каждое окно — лубок.

Перед кондитершей крупчатой
на ставне
глупый голубок.

Над нею —
дышит пух постели,
под ней —
жасмин в сыром лугу.
Она поет:
«На самом деле
я непременно убегу,
(—) в самом деле убегу,
(—) непременно убегу».

А щеки медные накрася,
раскинув юбки,
как штандарт,
летит
на синем тарантасе
египтянка с колодой карт.

Колдуй,
воровка Абжиала,
жги
пробуравленным рублем,

чтоб милая не убежала
с мотоциклетным королем.

Крестей и виней [1])
ветер черный
с ладони метит —
в небеса.

Село пропахло —
сельдью,
шорней,
продажей
сена и овса.

Ник. Ушаков.

---

[1]) Трефы и пики.

Леди Макбет.

Стали звать ее леди Макбет.
Лесков.

1.

Из объездов по окру́гам
налетел лесник домой.
Бурку с плеч,
арапник в угол,
шапку по́д щеку.
Да крой
храпом флигель.

Ночь и кроме
храпа
«Мышья беготня».
Леди Макбет бродит в доме,
свет ладонью заслоня.

2.

Вы живая без сомненья.
Но зачем вас привели
в сонное нагроможденье
страхов,
теней,
мебели?

Я не прежний завсегдатай
честолюбия
и той,
что в одних чулках когда-то
кралась лесенкой крутой,

что кармином губ кормила
и на лесенке тайком,
говорила:
«Будешь, милый,
вместо мужа лесником».

3.

Петушок охрип
и стонет.
В чашку
рукомойник бьет.
Леди на свои ладони
смотрит
и не узнает.

И светелка поседела,
посинела лесенка.
На ларе большое тело
окружного лесника.

Он лежит на шубах чинно,
против меловой печи.
Кровь стекает по овчинам
и по лесенке
журчит.

4.

Леди Макбет,
    что такое? —
        Бор идет из-за реки,
        дышат листья,
            дышит хвоя,
                дышат папоротники.

            Киноварью и зеленым
            наступая все быстрей,
            выпускают
                        по району
            чернокрасных снегирей.

            Мимо вика,
                        мимо школы
            свищет сучьев темный дых. —
        Вот уже у частокола
        вся опушка
        понятых.

Леди Макбет,
    где патроны,
    где револьвер боевой, —

не по честному закону
поступили
вы со мной.

То не бор в воротах,
леди,
не хочу таиться я, —
то за нами,
леди,
едет
конная милиция.

Ник. Ушаков.

Л. Н. Толстой и Н. Г. Чернышевский.

В. Фриче.

25 (12) июля 1828 г. родился Н. Г. Чернышевский, месяц с небольшим спустя — 10 сентября (28 августа) — Л. Н. Толстой.

Столетний их юбилей почти совпал.

Так встали в нашем мышлении близко один около другого два больших человека—два антипода — два ярких выразителя двух разных общественных групп—двух классов — один (Чернышевский) восходящего, другой (Толстой) нисходящего.

При всей их идеологической противоположности, обусловленной их противоположной классовой природой, оба они при жизни некоторое время были тесно связаны так, что их имена — на известном отрезке времени — то-и-дело переплетались.

Воскресить вкратце ко дню их юбилея их взаимоотношения при жизни, отголоски которых слышатся у Л. Н. Толстого еще и тогда, когда Н. Г. Чернышевского не было уже в живых, такова задача нашей статьи.

I.

В своих воспоминаниях о Добролюбове, Некрасове и Тургеневе, которые — доселе неизвестные — будут напечатаны в одном из ближайших номеров одного из наших научных журналов [1]), Чернышевский рассказывает очень живо и наглядно, как, приехав в Петербург в поисках работы, он некоторое время колебался между сотрудничеством в «Отечественных записках» Краевского и в «Современнике» Некрасова-Панаева, как он в конце концов остановился на «Современнике» и как в скором времени он занял в этом журнале руководящее положение. В «Современнике» принимали участие виднейшие тогдашние беллетристы, особо близкое Тургенев, а осенью 1856 г. — как сообщал Чернышевский Некрасову — редакции удалось получить исключительное право на печатание произведений Григоровича, Островского и — Л. Толстого. Последний, закончив третью часть своей «семейной хроники», предназначал ее для «Современника». В сентябре 1856 г. Чернышевский оповещает Некрасова:

---

[1]) „Литература и марксизм“ № 4.

«Толстой сам везет свою «юность» [1]).

Так как Л. Н. Толстой считался отныне постоянным сотрудником журнала, необходимо было упрочить его писательскую репутацию, необходимо было пропагандировать его талант. Эту задачу и взял на себя Чернышевский. Излагая в письме к Некрасову содержание декабрьской книжки «Современника» за 1856 г., Чернышевский доводит до его сведения, что он написал статью о «Детстве и отрочестве» и о военных рассказах Л. Н. Толстого, оговариваясь, что она до известный степени — комплимент.

«Она написана так, что, конечно, понравится ему (Толстому), не слишком нарушая в то же время истину».

Статья Чернышевского о молодом, еще только начинавшем свой писательский путь Толстом в высокой степени любопытна как потому, что в ней необыкновенно метко уловлены основные черты таланта Толстого, так и поставлен был вполне правильный, вполне оправдавшийся прогноз его писательского будущего.

Две черты считает Чернышевский отличительными, показательными в художественном облике Толстого.

Это прежде всего его «психологизм».

«Внимание Толстого, — писал он, — более всего обращено на то, как одно чувство и одни мысли развиваются из других; ему интересно наблюдать, как чувство, непосредственно возникающее из данного положения или впечатления, переходит в другие части, снова возвращается к прежней исходной точке и опять и опять странствует, изменяясь по всей цепи воспоминания; как мысль, рожденная ощущением, ведет к другим мыслям и т. д.».

Между тем, как одних писателей занимают более всего «очертания характера», других — «влияние общественных отношений и столкновений на характер», третьих — «связь чувств с действиями» — гр. Толстого (занимает) «всего более сам психологический процесс, его форма, его законы, диалектика души, чтобы выразиться определительным термином».

Основываясь на проявленной Толстым уже в ранних его произведениях способности воспринимать и воссоздавать «едва уловимые явления внутренней жизни, сменяющиеся одно другим с чрезвычайной быстротой и неистощимым разнообразием», Чернышевский предсказывал, что «глубина изучения человеческого сердца будет неизменно придавать очень высокое достоинство всему, что бы он ни написал и в каком бы духе ни написал».

Вторая характерная в писательском облике молодого Толстого черта, по мнению Чернышевского, — это «чистота нравственного чувства». Правда, оговаривался рецензент «Современника», вся современная литература «без исключения» полна сейчас «благородным проявлением чистейшего нравственного чувства», но у Толстого в отличие от других писателей оно «никогда не колебалось, сохраняясь во всей юношеской непосредственности».

---

[1]) Переписка Чернышевского с Некрасовым, Добролюбовым и Зеленым. Под ред. Н. К. Пиксанова.

Когда в редакции «Современника» была получена третья часть «семейной хроники» Толстого, Чернышевский был ею слегка разочарован.

«По совести, — писал он Некрасову, — «Юность» должна быть несколько хуже «Детства и отрочества». Но все-таки вещь недурная» [1]).

И, возвращаясь в декабрьской книжке «Современника» за следующий (1857) год снова к Толстому, Чернышевский спешит отметить положительную черту «Юности» — а именно выход Толстого как писателя за пределы дворянского быта.

«В последних главах «Юности» читатели, конечно, заметили, как с расширением сферы рассказа расширяется и взгляд автора. С новыми лицами (студентами-разночинцами) вносятся и новые симпатии в его поэзию («демократические», которые сам Толстой впоследствии осудил, как «неискреннюю уступку» духу времени. *В. Ф.)*».

Останавливаясь в той же рецензии на «Утре помещика», Чернышевский и здесь подчеркивает расширение сферы художественного наблюдения на этот раз в сторону крестьянства.

«Толстой с замечательным искусством воспроизводит не только внешнюю обстановку быта поселян, но, что гораздо важнее, их взгляд на вещи. Он умеет переселяться в душу поселянина — его мужик чрезвычайно верен своей натуре — в речах его мужика нет прикрас, нет риторики, понятия крестьян передаются с такой же правдивостью и рельефностью, как характер наших солдат» [2]).

Резюмируя свои наблюдения над ранними произведениями Л. Н. Толстого, Чернышевский ставил правильно и метко гороскоп будущей писательской работы художника, подчеркивая, что как «глубокое знание тайных движений психической жизни», так и «непосредственная чистота нравственного чувства» — «останутся существенными чертами его таланта, какие бы новые стороны ни выказались в нем при дальнейшем его развитии».

И в этом направлении в самом деле развивался писательский талант Толстого. Все его как большие романы «Война и мир» или «Анна Каренина», так и его повести и рассказы позднейшего времени «Смерть Ивана Ильича» или «Дьявол» и т. д. построены на психологическом стержне, хотя, быть может, не совсем неправ Тургенев, писавший в одном из своих писем (по поводу «Войны и мира»)·

«На счет так называемой «психологии» Толстого можно многое сказать: настоящего развития нет ни в одном характере, а есть старая замашка передать колебанья, вибрации одного и того же чувства, положения. Другой психологии Толстой словно не знает или с намерением игнорирует».

И как подмеченный Чернышевским «психологизм», так и подчеркнутая им другая черта писательского облика Толстого — его «морализм» —

---

1) Переписка.

2) О том, как изображены разночинцы в „Юности“, см. Овсянико-Куликовский „Толстой“. Вопрос о „реальности“ крестьянских фигур Толстого — сложный и здесь не может быть рассмотрен.

остались в самом деле одной из самых существенных его черт на пространстве всей его творческой деятельности, все разрастаясь и повышаясь, через нравственные искания кн. Болконского и Пьера Безухова в «Войне и мире» и Константина Левина в «Анне Карениной» до кн. Нехлюдова в «Воскресении» вплоть до того, что он и вообще отрекся от искусства во имя морально-религиозной проповеди, дававшей в виду ее явно компромиссного характера (собственность надо не уничтожать, а не увеличивать; целомудрие недостижимый идеал, следовательно, надо не слишком предаваться чувственным радостям и т. д.) возможность его именем прикрываться всяким социальным и моральным тартюфам.

Эту опасность, грозившую «нравственной чистоте» Л. Н. Толстого, пророчески предвидел в своей рецензии в «Современнике» Чернышевский:

«Мы не проповедники пуританизма. Напротив, мы опасаемся его: самый чистый пуританизм вреден уже тем, что делает сердце суровым. Самый искренний и правдивый моралист вреден тем, что ведет за собой десятки лицемеров, прикрывающихся его именем».

II.

Если официально в своих статьях в «Современнике» Чернышевский, как видно из приведенных цитат, красноречиво и в общем правильно освещал и защищал писательскую индивидуальность Л. Н. Толстого, то за кулисами официальности идеологическое несоответствие автора «Детства, отрочества и юности» линии «Современника» было общепризнанным фактом.

«Толстой, — писал Чернышевский в январе 1857 г. Тургеневу, — будет писать пошлости и глупости, если не бросит своей манеры копаться в дрязгах и не перестанет быть мальчишкой по взгляду на жизнь» [1]).

Чернышевский, впрочем, не отказывался от надежды, что мало-помалу Л. Н. Толстой в атмосфере «Современника» сумеет выпрямиться в желательном для журнала и для русской литературы, как ее интересы понимал Чернышевский, направлении.

«Толстой, — писал он Зеленому, — который до сих пор по своим понятиям был очень диким человеком, начинает образовываться и вразумляться (чему отчасти причиной неуспех его последних повестей) и, быть может, сделается полезным деятелем».

Чернышевский возлагал особые надежды на предпринятое в 1857 г. Толстым заграничное путешествие, полагая, что именно соприкосновение с западно-европейской культурой позволит ему «образоваться» и «вразумиться».

«Не собьет ли с него путешествие ту умственную шелуху, вред которой он, кажется, начал понимать», — писал он Некрасову.

---

[1]) Ляцкий, Чернышевский в редакции „Современника“, — „Соврем. Мир“ 1911 г., № 9.

Если бы Чернышевский смог заглянуть в дневник, который вел Толстой за границей, — ныне опубликованный [1]), а также в письма, которые Толстой из-за границы посылал Тургеневу, он увидел бы, что автор дворянской семейной хроники на Западе, в Париже (правда, то был Париж Второй империи) ничего интересного не увидел, ничему полезному не научился и ничего не испытал, кроме отвращения и тоски, и был несказанно рад, когда покинул этот «Содом».

«Вчера вечером, — писал Толстой Тургеневу, — когда я после поганой железной дороги пересел в дилижанс на открытом месте и увидел дорогу, лунную ночь, все эти звуки и духи дорожные, всю мою тоску и болезнь как рукой сняло. Отлично я сделал, что уехал из этого Содома».

Вернувшись из-за границы, Л. Н. Толстой в начале шестидесятых годов, под гипнозом всеобщего увлечения идеей поднятия народного образования, решил бросить художественное творчество и посвятить свои силы, вдохновение и уменье делу народного просвещения. Так возникла его яснополянская школа и — вместе с ней — его педагогический журнал «Ясная Поляна». Это было первое не художественное, а общественное выступление Л. Н. Толстого. И здесь сразу должна была обнаружиться пропасть между ним — яснополянским барином — и «новыми людьми» из «Современника».

Толстой, хотя и сотрудничал в журнале, но совершенно и с самого начала не смог наладить хороших отношений с руководителями «Современника».

«Не мог сойтись с Тургеневым и Некрасовым», — так начинает он свой дневник во время заграничного путешествия».

Не ладились и отношения с Чернышевским. В дневнике Толстого за 1856—1857 гг. встречаются, правда, такие записи, как «Чернышевский мил» или «Чернышевский умен и горяч» [2]), однако, с другой стороны, Толстой отозвался о руководителе журнала до крайности грубо и высокомерно. Все же ему казалось, что то новое дело, которому он решил посвятить себя в своей Ясной Поляне, должно заинтересовать и новых людей — разночинцев из «Современника». Когда вышел первый номер педагогического журнала и первый выпуск народных чтений, Толстой переслал их Чернышевскому с письмом, в котором писал:

«Я очень прошу внимательно прочесть его (номер журнала) и сказать о нем искренне и серьезно ваше мнение в «Современнике». Я имел несчастье писать повести, и публика, читая, будет говорить: Да, детство, очень мило, но журнал...?

А журнал, — подчеркивал Толстой,—и все дело (т. е. народной школы) составляет д л я м е н я в с е» [3]).

Прочтя первый номер журнала Толстого, Чернышевский был озадачен. Не мог он притти в восторг от педагогических воззрений, обильно рассеянных по страницам журнала в виде тезисов, один из которых гласил:

---

[1]) Л. Т о л с т о й, Неизданные произведения, изд. „Федерации".

[2]) Г у с е в, Толстой в молодости.

[3]) Письма Л. Толстого 1848—1910, ред. Сергеенко.

«Образование, имеющее своей основой религию, как божеское откровение, в истинности и законности которого никто не может сомневаться, неоспоримо должно быть прививаемо народу, — насилие в этом случае законно».

И он дал в «Современнике» убийственный отчет о взглядах и деятельности яснополянских людей, взявшихся за ответственное дело народного образования, считая «всех остальных, напр., Руссо и Песталоцци, глупцами», «не имея ни определенных общих убеждений, ни научного образования», не сумевших разобраться в «разноголосице» педагогических учений и методов, так как у них не было для этого необходимых «условий», т. е. «привычки к логическому мышлению», способности к «тяжелому изучению», наконец, «определенных убеждений»—им поэтому только остается руководствоваться «своими случайными впечатлениями» и «своими прекрасными чувствами». Лучше журнала — маленькие книги для народного чтения, но и здесь хороша лишь та сторона, для «выполнения которой не нужно иметь убеждений в мыслях», а достаточно иметь опыт и талант — «хорошо в них изложение». Но в содержании этих рассказов — и тут же рецензент приводил убедительные примеры — отразился явственно «недостаток сознания о том, чтó нужно народу, чтó полезно и чтó вредно для него» [1]).

Не только изложенные в «Ясной поляне» взгляды не могли не возмущать Чернышевского, но и в высокой степени пренебрежительное отношение Толстого, как редактора журнала, к студенческой молодежи (радикальной), преподающей народу якобы хуже «понамарей», и в особенности к деятелям воскресных школ, радикалам и революционерам, ведшим народное образование в ином направлении, нежели яснополянский помещик. И Чернышевский горячо восстал на их защиту:

«Каковы бы ни были эти люди, умные или глупцы, они честные люди, любящие народ, делающие для него все, что могут. Если вы на них поднимете руку, от вас должны отвернуться все порядочные люди».

III.

В 1862 г. Чернышевский был арестован и отправлен в Петропавловскую крепость и здесь, чтобы скоротать время в одиночной камере, написал свое евангелие «новых людей» — разночинной интеллигенции, бурным потоком наводнившей арену русской жизни. Роман «Что делать?» был задуман до известной степени как ответ на вышедший годом раньше (1862) роман Тургенева «Отцы и дети», где в образе Базарова был дан дворянски преломленный и дворянски искривленный образ нигилиста.

В настоящее время совершенно очевидно, что роман Чернышевского «Что делать?» «проскользнул» в печати по недоразумению[2]). Цензор (Пржецлавский), которому была поручена политическая рецензия, дал отзыв — от-

---

[1]) „Современник“ 1862 г., № 3.

[2]) „Каторга и ссылка“ № 44.

рицательный. Соглашаясь с тем, что хорошей стороной романа является то, что эти «материалисты» и «нигилисты» в романе уже не щеголяют цинизмом, а выступают, как «новые люди», цензор все же находил, что их учение о любви к людям, вырастающей органически из разумно понятого эгоизма, есть «профанация христианской морали», а их учение о браке, как о «временном договоре», который «по произволу договаривающихся может быть уничтожен, расторгнут и всячески изменен», является «чистым развратом», «коммунизмом женщин и мужчин» — словом, все учение «новых людей» противно «коренным началам религии, нравственности и общественного порядка» и потому «сочинение, проповедующее такие принципы и воззрения, в высшей степени вредно и опасно».

И, несмотря на такой убийственный приговор главного цензора, роман «Что делать?» все-таки был напечатан в «Современнике» (1863), по случайности, а именно потому, что кн. Голицын, ведший следствие «преступника» Чернышевского, не нашел в отзыве ничего «политически» вредного, а цензор «Современника» ввиду этого не счел возможным или удобным наложить свое veto.

«Таким образом, — вспоминает цензор Пржецлавский, — проскользнуло в русскую литературу это произведение» [1]).

Роман Чернышевского, имевший такой грандиозный резонанс в широчайших слоях разночинной интеллигенции, подсказавший Писареву его статью-апофеоз о «мыслящем пролетариате», был известен и Толстому, и как педагогический его журнал должен был быть «неприятен» Чернышевскому, так «Что делать?» не могло быть «приятно» Толстому.

Работая в начале шестидесятых годов над своей эпопеей «Война и мир», Толстой вздумал испробовать свои силы и в новом жанре — драматическом (по словам Островского, ему несвойственном) — и, в частности, хотел написать комедию из помещичьей жизни. Постепенно она выяснялась перед ним как сатира на тех «новых людей», которые прочно засели в «Современнике» и которые только что оформили свои взгляды на мораль, на семью, на организацию труда в романе Чернышевского. Работал он над своей комедией усердно и с увлечением, о чем свидетельствуют многочисленные наброски и варианты отдельных сцен. Не сразу удалось подыскать заглавие— сначала «Старое и новое», потом — уж прямо в ответ Чернышевскому «Новые люди» [2]) и, наконец, заглавие было найдено — «Зараженное семейство». Когда пьеса была готова, Толстой отвез ее в Москву, надеясь поставить ее на сцене Малого театра. Он читал ее Островскому, у которого — как тот выразился в письме к Некрасову—«уши положительно завяли»,—«такое это безобразие».

Отвлеченный потом работой над «Войной и миром», Толстой забыл о своей комедии, так и не увидевшей свет рампы, и она только в наши дни недавно опубликована [3]).

[1]) См. статью Бухбиндера в указ. номере „Каторги и ссылки".

[2]) Роман „Что делать?" имеет подзаголовок „Из рассказов о новых людях".

[3]) Л. Толстой. Неизданные произведения.

Действие комедии происходит в имении помещика, готового сочувствовать новому времени (после освобождения крестьян) и новым людям, шумно выступавшим с своим новым учением о жизни. Он пригласил студента-естественника в воспитатели сына и готов выдать дочь за акциозного чиновника. Оба они — студент и чиновник — должны представлять собой этих пресловутых новых людей, о которых кричит литература и которые кричат в литературе, хотя вся их «новизна» в том, что чиновник хочет жениться на деньгах, а студент мечтает ехать в «коммуну», где «супружества не существует», а «совершенно свободные отношения», и оба старательно восстановляют детей против родителей. Сатира вышла до крайности слабой и совершенно не способной развенчать ореол и устранить очарование таких образов, как Лопухов, Кирсанов, Рахметов. Зато пышно распускался в комедии помещичий дух, дух «Зуботычиных», как выражаются толстовские карикатуры на «новых людей». После бегства сына и дочери помещик отрезвляется от своего увлечения всем «новым».

«Правда твоя, — говорит он жене, — все хуже стало. И уставная грамота хуже, и школа, и студенты — все это яд».

И, возвращаясь к старому, Иван Михайлович открыто демонстрирует свое крепостническое отношение как к крестьянам: «Ни одного клочка не отдам даром, ни одной копейки, ни одного дня, ни одного штрафа не прощу. Нет-с, уж я ныне выучен», так и по отношению к деятм: «Уж отведу душу! Петрушу розгами высеку!».

Пусть Иван Михайлович не Лев Николаевич. Однако в пьесе фигурирует еще и друг Ивана Михайловича, помещик Николаев (имя его не обозначено, вероятно Лев), имеющий жену Софью Андреевну, а Николаев никогда не сочувствовал новым веяниям и новым людям шестидесятых годов.

IV.

Автор «Что делать?» вскоре был царским правительством из'ят из обихода русской жизни. Имя его исчезло со страниц нашей публицистики и литературы. На каторге и в ссылке он писал, но то, что он писал, не печаталось. Из Сибири он вернулся — мертвым человеком.

Л. Н. Толстой, напротив, шел по дороге расцвета и славы художественного гения.

В своих произведениях он продолжал изображать сознательно или бессознательно упадок и деклассацию родовитого помещика, застигнутого развитием капитализма и буржуазии, или вынужденного приспособиться к новой (буржуазной) действительности или же — в противном случае — опуститься на дно, или же, порвав с миром, пойти по пути аскезы и нирваны.

Если в «Утре помещика» этот образ дворянина, сидящего на земле, дан до освобождения крестьян, когда ему еще могла рисоваться перспектива возможности полезной деятельности в качестве устроителя, опекуна и воспитателя своих крепостных крестьян, если в «Войне и мире», романе, напи-

санном после крестьянской реформы, тот же тип изображен в исторически-условном костюме в ту пору, когда из-под его ног начинала уходить социальная почва (хотя в эпоху отечественной войны крестьяне еще были крепостными), что отражалось в его психике беспокойством, исканием правды и смысла жизни, мыслями о смерти и нирване (кн. Андрей) и мыслями об опрощении (Безухов), если в «Анне Карениной» (семидесятые годы) этот процесс социальной деградации в образе Константина Левина доведен до психологического и идеологического предела, в смысле отказа от всего мирского во имя жизни для «души» и для «бога», то в написанном на грани XX в. одном из последних художественных произведений Толстого, в «Живом трупе», этот образ показан еще раз в состоянии полного социального и морального упадка.

Федор Протасов прожил свое поместье, бросил жену, ушел к цыганам. Причину своей гибели он об'ясняет тем, что в «том кругу, где он родился», перед человеком только «три выбора». Или (буржуазный выход) «служить, наживать деньги, увеличивать ту пакость, в которой живешь». Это было ему «противно». Или — «разрушить эту пакость» (выход в революцию и социализм). Но для этого надо быть «героем», а он не был им (надо прибавить, что для толстовского персонажа такой выход и вообще невозможен). Или, наконец, третье — «забыться, пить, гулять, петь». Это «самое он и делал»... И «допелся».

И когда Толстой писал свою драму о «живом трупе» (варьируя аналогичный образ Николая, брата Константина, Левина в «Анне Карениной»), он вдруг вспомнил — Чернышевского.

Федя Протасов хочет дать жене возможность вторично выйти замуж за «приличного» человека. Он хочет убить себя. Но и на это нет сил у него. Есть, однако, еще один выход: симулировать самоубийство. И этот выход подсказывает цыганка Маша, которую Федя любит, как и она его, «чистой любовью.

«Читал ты «Что делать?», — спрашивает она его.

Федя. Кажется, читал.

Маша. Скучный это роман, а одно очень, очень хорошо. Он это, как его, Рахманов, взял, да и сделал вид, что он утопился».

Не Рахманов, какого в романе Чернышевского вовсе нет, не Рахметов, которого Маша имеет в виду, совершает этот хороший поступок, а Лопухов, узнав, что Вера Павловна, охладев к нему, полюбила Кирсанова.

Но не в этом «хорошем» поступке Лопухова, один, который только и запомнился Толстому, суть романа Чернышевского, а в той новой морали разумного эгоизма, в том новом взгляде на брак, как на временный договор, наконец, в той новой организации труда, которая воодушевляет собой роман, т. е. в том мировоззрении, которое было прямо противоположно идеалам Толстого, противополагавшего «языческой» морали эгоизма-альтруизма «христианское» служенье воли Пославшего, защищавшего во всех своих произведениях от «Анны Карениной» до «Крейцеровой сонаты» и «Живого трупа» нерасторжимость брака и протестовавшего против «коммунизма» фурьеристов, давая их столь же бессодержательный и безжизненный образ в

лице Крицкого, друга спившегося Николая (в «Анне Карениной»), как бессодержательно и безжизненно было карикатурное отображение разночинца-нигилиста в комедии «Зараженное семейство».

V.

Выше было указано, как неприязненно относился Чернышевский к Толстому-мыслителю и как Толстой, в свою очередь, не выносил Чернышевского («клоповоняющего»). Впоследствии, правда, Л. Н. иногда отзывался о Чернышевском значительно мягче и, как сообщает Гольденвейзер в своих воспоминаниях, даже похвалил печатавшиеся в «Русском Богатстве» записки Чернышевского, предназначавшиеся для его сына [1]). Однако, на всю жизнь, у него о нем сохранилось впечатление «неприятное».

Когда однажды за завтраком его секретарь спросил его, знал ли он писателей некрасовского «Современника» Добролюбова и Чернышевского, Толстой ответил:

«Чернышевского знал. Он мне всегда был *очень* (курсив Гусева) неприятен, и писанья его неприятны» [2]).

Не могло быть, естественно, никакой «приязни» между этими двумя выразителями двух противоположных и враждебных общественных групп, между идеологом мелкобуржуазной революционной интеллигенции и мыслителем упадочного помещичьего дворянства.

Социальные противоположности приводили неизбежно к противоположности идеологической.

Чернышевский — материалист, давший в своем «Антропологическом принципе в философии» законченную материалистическую систему, пусть не совпадающую с диалектическим материализмом. Толстой — убежденный идеалист, боровшийся с материализмом, начиная с Константина Левина и до своих религиозно-нравственных трактатов. Чернышевский, как ученик Фейербаха, учил, что человек создал бога, Толстой — выученик религиозных мыслителей Востока, напротив, верил, что бог (отец и хозяин) создал человека. Чернышевский полагал, что прогресс зависит, главным образом, от развития научных знаний, Толстой — на склоне жизни — вел ожесточенную кампанию против науки и ученых. Чернышевский был социалистом, пусть утопическим, Толстой считал социализм изобретением дьявола. Чернышевский был революционер, воодушевлявший своим учением все интеллигентское революционное движение шестидесятых и отчасти семидесятых годов, Толстой был непротивленец, доказывавший и в своем обращении к рабочему народу от 1905 г. и в своем письме к революционеру от 1909 г., что насилие есть зло. Хотя Чернышевский и не был «марксистом», однако в его идеологической системе имеются несомненные зародыши марксизма, Толстой был непримиримым врагом марксизма, против которого он ополчается и в письме

---

[1]) *Гольденвейзер*, Вблизи Толстого, т. II, стр. 71.

[2]) *Гусев*, Два года с Толстым.

к революционеру и в своем трактате об искусстве, хотя не имел о марксизме, как философии, никакого представления, так как никогда серьезно его не изучал [1]).

Оба они придавали огромное значение крестьянскому вопросу, но Толстой написал открытое письмо управляющему II отделением собственной е. в. канцелярии, где доказывал, что «земля должна вся принадлежать помещикам», а Чернышевский написал прокламацию «К барским крестьянам», где звал мужиков к топору.

Оба были плодовитыми писателями, выступавшими и как публицисты, и как беллетристы. Между тем, как религиозно-нравственные трактаты Л. Н. Толстого могут в настоящее время интересовать разве только биографов писателя и заядлых толстовцев, экономические, политические, философские, исторические работы Чернышевского получают ныне особый смысл и значительную ценность, как творения крупнейшего по выражению Маркса русского ученого, предтечи марксизма.

Иначе обстоит дело с их беллетристикой. Произведения Л. Н. Толстого заняли прочное место в пантеоне русской и мировой художественной литературы. Многочисленные беллетристические произведения Чернышевского так и не вошли в историю русской словесности. Если Овсянико-Куликовский в своей «Истории русской интеллигенции» все же посвятил несколько страниц роману «Что делать?», оговорившись, однако, что это только «литературное сочинительство», в котором выразилось «известное течение общественной мысли», то, напр., в «Истории русской литературы» Войтоловского о Чернышевском не упоминается вовсе.

Но если искусство есть «познание жизни», как говорят одни, то роман Чернышевского позволяет познать жизнь той общественной группы, которая в ней выражена, так же хорошо, как «Война и мир» или «Анна Каренина» дают возможность познать жизнь того класса, из духа которого выросли эти романы. Если искусство есть «организация образов» — как говорят другие, то почему Рахметов или какой-нибудь «сон Веры Павловны» меньше «образ», нежели Вронский и Анна или нравственные исканья Левина. Что в одном случае преобладает идеология, рассуждения, а в другом психология, картины, это лишь результат разного состояния классов, выражавшихся в этих произведениях. Если искусство есть—как утверждают третьи—«организация чувств через образы», то эта организующая роль романа Чернышевского столь же очевидна, как и соответствующая роль произведений Толстого. Но если искусство есть — как учит Толстой — средство «заражать» чувствами, если принять во внимание, что чувства ценны лишь, если переходят в соответствующие поступки, то мы не знаем и учесть не можем, какими чувствами-поступками «заражали» художественные произведения Толстого его многочисленных читателей и почитателей, тогда как известно, что

[1]) В 1907 г. Толстой читал, впрочем, большевистский сборник «О бойкоте Третьей Думы», где имелась статья Ленина, на полях которой он сделал небезынтересную заметку — см. «Ленин и Толстой», изд. Комм. академии.

роман Чернышевского воспитывал целые поколения русских интеллигентов и революционеров в активно-действенном направлении, о чем свидетельствует величайшее множество их собственных заявлений и что подтверждается всякой новой публикацией документов из истории нашего революционного движения [1]).

Иной читатель скажет — мы кощунственно хотим поставить рядом, пользуясь старой терминологией Валерьяна Майкова, «беллетриста» Чернышевского и «художника» Толстого.

Отнюдь нет.

Мы ставим лишь принципиальный вопрос: что такое художественность? вопрос, на который еще ни один мудрец не сумел дать вразумительного ответа.

Рабочий класс едва ли заинтересован в «эстетических» переживаниях, как таковых. Искусство как только «познание жизни» и даже искусство, как средство «самоутверждения» едва ли может вполне его удовлетворить. Разрушать старое, поскольку оно заслуживает разрушения, строить новое, воспитывать в себе и в других нового социалистического человека — такова его задача. С этой точки зрения наиболее художественной является такая литература, все равно «беллетристическая» или «художественная», которая способна заразить максимально воспринимающего полезными для класса и для его мирового дела чувствами, переходящими в соответствующие действия.

Подобная постановка проблемы о художественности есть, конечно, некая «переоценка ценностей».

Но разве развертывающаяся пролетарская культура не есть сплошная «переоценка ценностей»?

---

[1]) См., напр., недавно опубликованное Центрархивом дело Каракозова и ишутинцев.

Эпигон утопического социализма[1]).

Роза Люксембург.

Мир интеллигенций торжественно празднует в этом месяце восьмидесятилетие рождения Толстого, гениальнейшего современного художника-беллетриста. Не место на столбцах боевого органа социал-демократии — и не время среди тысячи забот, в разгар смертного боя с контрреволюцией заниматься оценкой огромной художественной деятельности Толстого. Но этот гениальный беллетрист был в сущности с самого начала не только неутомимым художником, но и неутомимым социальным мыслителем.

Основные проблемы человеческой жизни, взаимоотношений людей, социальных условий всегда затрагивали за живое Толстого, а вся его продолжительная жизнь, все его продолжительное творчество были непрерывным исканием «правды» в человеческой жизни. Такое же неутомимое искание правды обыкновенно приписывается и другому знаменитому современнику Толстого — Ибсену. Но в то время, как в драмах Ибсена великая идейная борьба наших времен находит страннюватое символическое выражение в грандиозных жестах карликов и в их часто еле-еле понятной игре, причем Ибсен-художник нередко является жертвой неудачных усилий Ибсена-мыслителя, — у Толстого мыслитель не ослабляет его художественного гения. В каждой повести Толстого роль выразителя его мысли отводится какому-нибудь лицу, играющему в толпе брызжущих жизнью людей довольно неуклюжую и комическую роль размечтавшегося резонера и искателя правды, как Пьер Безухов в «Войне и мире», Левин — в «Анне Карениной», Нехлюдов — в «Воскресении». Эти лица всегда выражают те мысли Толстого, его сомнения и те проблемы, которые он сам ставит перед собой, обыкновенно в художественном отношении — самые слабые и очерчены лишь слегка, они являются скорее наблюдателями жизни, чем активными ее участниками. И все же творческая сила Толстого настолько могуча, что он сам не в состоянии испортить своих творений, хотя он и третирует их с беззаботностью творца «божьей милостью». И, если по временам Толстой-мыслитель одерживает победу над Толстым-художником, то не потому, что исчез артистический гений Толстого, но лишь потому, что суро-

[1]) Статья Розы Люксембург была написана к восьмидесятилетию со дня рождения Л. Н. Толстого и напечатана в сентябре 1908 года на польском языке в органе социал-демократии Польши и Литвы — «Социал-демократическое обозрение».

вый мыслитель заставил его умолкнуть. Если Толстой в течение последних десяти лет вместо величественных повестей писал в художественном отношении бесцветные диссертации и рассуждения о религии, о нравственности, о браке, о воспитании, о рабочем вопросе, то это было следствием того, что его поиски и мысли привели его к таким выводам, что его собственное художественное творчество стало ему казаться пустой игрушкой.

В чем суть этих выводов? Какие идеи проповедовал и все еще до последнего дыхания жизни проповедует маститый поэт? Если в нескольких словах формулировать идейное направление Толстого, то оно сводится к повороту от нынешних отношений с социальной борьбой во всех ее проявлениях к «истинному христианству».

Реакционная окраска этого идейного направления очевидна даже при поверхностном ознакомлении с ним. Само собой разумеется, что христианство, апостолом которого является Толстой, не может быть заподозрено в том, что имеет что-либо общее с нынешней официальной церковной религией. От такого рода подозрений его защищает уже хотя бы публичная анафема, которой оно подвергалось со стороны русско-государственной православной церкви. Но и оппозиция против существующего порядка принимает реакционную окраску, когда она проявляется в мистических формах. Вдвойне подозрительным является христианский мистицизм, открещивающийся от всякой борьбы и всякого применения силы и проповедывающий учение о «непротивлении» в такой социальной и политической среде, как самодержавная Россия. И, действительно, влияние толстовского учения на молодую русскую интеллигенцию, которое, впрочем, никогда не было большим и ограничивалось только весьма немногочисленным кругом — в конце 80-х и в начале 90-х годов, а, следовательно, в период застоя революпионной борьбы, — выразилось в некотором нездоровом течении этическо-индивидуальной пасивности. Это направление могло сделаться опасным для революционного движения, если бы не то, что это было лишь эпизодом как в пространстве, так и во времени. А с тех пор, как Толстой сам лично сделался очевидцем исторической драмы русской революции, он выступил уже прямо против революции, поскольку уже в прежних своих сочинениях он решительно выступал против социализма и в особенности против учения Маркса, считая его огромным увлечением и ошибкой.

Не подлежит сомнению, что Толстой — не современный социалист, что он таковым не был и что он не осознал и не понял современного рабочего движения. Но было бы по меньшей мере совершенно странным и бесцельным подходить к столь великому и своеобразному духовному явлению, каким является Толстой, с упрощенным школьническим критерием и судить о Толстом, прилагая к нему такую упрощенную мерку. Сопротивляемость по отношению к социализму, как политическому движению и научной системе, подчас может вызываться не слабостью, а, наоборот, интеллектуальной силой. Именно так обстоит дело с Толстым.

Он, с одной стороны, вырос и созрел еще в прежней крепостной России Николая I, в те времена, когда в государстве, управляемом царями,

еще не было ни современного рабочего движения, ни необходимых для этого экономических и социальных предпосылок; в зрелом возрасте он был свидетелем краха в начале слабых попыток либерального движения, а затем и народовольческого революционного движения, чтобы тогда, когда он достиг восьмидесятилетнего возраста, он увидел первые мощные шаги промышленного пролетариата, и, наконец, в преклонном возрасте старика он дошел до революции. Неудивительно поэтому, что для Толстого современный русский пролетариат с его жизнью и стремлениями не существует, что «народом» был для него и остался только крестьянин, и не современный, а прежний, глубоко верующий и пассивно страдающий крестьянин, тоскующий по «землице», грезящий о том, чтобы иметь как можно больше этой дорогой «землицы». С другой стороны, Толстой, переживший все критические фазисы и весь тернистый путь русской общественной мысли, сам принадлежит к тем самородным гениальным умам, которым труднее, чем среднему интеллигенту, вложиться в нужные формы мышления, в оформленные научные системы. Самоучка от рождения — не в отношении формального образования и знания, но в отношении мышления — он к каждой мысли может подойти только собственными путями. И хотя для других эти пути чаще всего непонятны, а делаемые им выводы странны, но он — смелый одиночка — достигает при этом огромных горизонтов.

Как у всех подобных интеллектов, сила и центр тяжести Толстого не в положительной пропаганде, а в критике существующих отношений. В этой области Толстой достигает такой разносторонности, основательности и смелости, какая часто напоминает старых утопистов-классиков социализма Сен-Симона и Фурье. Нет ни единого освященного традицией института современного социального строя, которого бы Толстой не разоблачил, лживости, бессмыслицы и безнравственности которого он бы не доказал. Церковь и государство, война и милитаризм, брак и воспитание, богатство и леность, физическое и духовное вырождение трудящихся, эксплоатация и гнет народных масс, взаимное отношение полов, искусство и наука в современном их виде — все это Толстой подтверждает безжалостной уничтожающей критикой, всегда исходя в ней из общих интересов и из культурного прогресса широких масс. Кто, например, прочтет начало его «Рабочего вопроса», тот может подумать, что это популярное агитационное социалистическое издание. Он подчеркивает, что во всем мире больше миллиарда, тысячи миллионов рабочих, что весь хлеб, все товары всего мира, все, чем люди живут и что составляет их богатство—дело рук трудящихся. И, тем не менее, не трудящиеся пользуются всем ими произведенным, а правительство и богачи! А рабочий народ коснеет в вечной нищете, мраке, в работе и в презрении у тех, которых он одевает, кормит, для которых строит и которым служит.

Вслед за этим Толстой говорит, что у народа отнята земля, и в настоящее время она принадлежит тем, которые не работают, так что трудящиеся, для того чтобы иметь возможность жить хлебопашеством, вынуждены делать все, чего бы от них ни потребовали землевладельцы. А если рабочий покинет пашню и пойдет на завод, то он становится рабом богачей,

у которых он в течение всей своей жизни по 10, 12, 14 и больше часов в сутки вынужден делать работу, чуждую ему, однообразную, весьма часто вредную для здоровья. А притом, если ему даже удастся на пашне или у станка устроиться так, чтобы жить с грехом пополам, — то и тогда еще он не добьется спокойной жизни. С него требуют уплаты налогов, гонят на три, а то и на пять лет на военную службу, вынуждают вносить специальный военный налог. А если он пожелает пользоваться землей, не выплачивая за это ренты, или если он пожелает бастовать или воспрепятствовать штрейкбрехерам в замене его на работе, или откажется платить подати, то против него посылают солдат, которые его ранят, убивают и заставляют вернуться на работу и платить подати. Так живет большинство людей во всем мире, не только в России, но и во Франции, в Германии, в Англии, в Китае, Индии, Африке, повсюду.

Критика милитаризма, брака у Толстого, пожалуй, не менее резка, чем социалистическая критика, и основное направление ее более или менее — такое же. Насколько оригинален и глубок социальный анализ Толстого, доказывает, например, сопоставление его взгляда на значение труда и на его моральную ценность со взглядом всей мелкой буржуазии возводить труд, как таковой, на пьедестал, в связи с чем кое-кто из выдающихся партийных вождей во Франции и в других странах признали его социалистом в полном смысле этого слова. Толстой спокойно отмечает в нескольких словах суть и сущность вопроса, указывая, что хотя Зола говорит о том, что труд облагораживает, он, Толстой, всегда наблюдал обратное. «Труд, как таковой, муравьиная гордость своим трудом, делает жестоким не только муравья, но и человека. Но, если, — продолжает Толстой, — трудолюбие не порок, то во всяком случае оно и не добродетель. Труд — потребность, и, поскольку эта потребность не удовлетворяется, она является страданием, но отнюдь не добродетелью. Возведение труда в достоинство и добродетель — такое же заблуждение, как возведение питания в достоинство и добродетель.

Значение, приписываемое в настоящее время труду, могло возникнуть только, как реакция против лени, которая возведена в разряд признаков благородства и которая еще и в настоящее время считается богатыми и менее образованными классами признаком высокого положения в обществе. Труд не только не добродетель, но в нашей насквозь пропитанной недостатками организации общества он является средством, убивающим моральную отзывчивость». Вполне достаточно указать на то, что эти слова вполне соответствуют словам «Наемного труда и капитала»: «Жизнь пролетария начинается там, где кончается его труд».

Выше приведенное сопоставление двух взглядов на труд весьма характерно для установления отношения Зола к Толстому как в области мышления, так и в области художественного творчества: это отношение добросовестного и талантливого ремесленника к творческому гению.

Толстой подвергает критике все современные порядки, заявляет, что все они подлежат уничтожению, и проповедует отмену эксплоатации, все-

общую обязанность труда, экономическое равенство, отмену принудительности в государственной организации, а равно и в отношения между полами, полное равенство людей, полов, национальностей и братство народов.

Какими же путями думает Толстой добиться этого радикального переворота социального строя. Возвращением людей к единственной и простой основе христианства: «Люби ближнего, как самого себя». Как видим, Толстой является здесь чистейшим идеалистом. Он думает — путем нравственного возрождения человечества — достигнуть преобразования социальных отношений, и он рассчитывает добиться этого возрождения путем пропаганды и путем личного примера. Поэтому-то он неутомимо доказывает необходимость и полезность этого морального «воскресения», доказывает без устали, приводя убогие доводы, применяя наивнейшее искусство убеждения, сильно напоминающие постоянные обращения Фурье к человеческому эгоизму, которыми он пытался, прибегая ко всевозможным формам, вызвать интерес к своим социальным планам.

Таким образом социальным идеалом Толстого является социализм.

Но кто действительно желает проникнуть в социальную сущность и в глубину рассуждений и взглядов Толстого, тот должен обратиться не столько к его трудам по политическим и экономическим вопросам, сколько к его статьям об искусстве, которые, между прочим, и в России менее известны. Рассуждения, развиваемые Толстым в блестящей форме по этому вопросу, сводятся к следующему:

Искусство, вопреки всем эстетическим и философским определениям доктринеров, отнюдь не роскошь, не средство вызывать в утонченных сердцах чувство «красоты», «роскоши» и других барских ощущений, но веская историческая форма общения между людьми, такая же, как человеческая речь. Усвоив этот чисто материалистически-исторический критерий, после того, как им были опровергнуты все определения искусства, начиная с Винкельмана и кончая Кантом и Тэном, Толстой подходит с этим критерием к современному искусству и констатирует, что этот критерий ни в какой области не соответствует реальной действительности: все современное искусство за очень небольшими исключениями непонятно широким слоям общества, т. е. трудящимся массам. Вместо того, чтобы делать из этого шаблонный и избитый вывод о духовном невежестве широких масс и необходимости «поднять» их до уровня понимания современного искусства, Толстой приходит к прямо противоположному выводу и об'являет все современное искусство «лже-искусством». Им же поставленный вопрос, как произошло то, что уже целые века у нас «лже-искусство» вместо «подлинного», т. е. народного, искусства, вызывает в нем еще более смелый полет мысли: подлинное, истинное искусство существовало в старину, когда у всего народа было одно общее мировоззрение, которое он называл «религией». Оно-то явилось источником таких творений, как эпос Гомера и как Евангелие. Но с тех пор, как общество распалось на огромную массу эксплоатируемых и незначительное меньшинство господствующих, искусство служит только выражением чувств богатого и тунеядствующего меньшинства в настоящее

время постигло всякое мировоззрение, то и получилось это вырождение, этот декадентизм, характеризующий современное искусство. Подлинное, истинное искусство появится, по мнению Толстого, только тогда, когда оно из духовного орудия господствующих классов опять превратится в народное искусство, т. е. когда искусство сделается выражением общего мировоззрения всего трудящегося общества. И Толстой бросает твердой рукой в пропасть осуждения — «злое, фальшивое искусство» — крупные и мелкие произведения самых блестящих светил музыки, живописи, поэзии, а затем и свои все собственные творения. «Sie stürzt, sie zerfällt, die schöne Welt ein Halbgott hat sie zerschlagen» («Прекрасный мир рушится, разваленный на части, низвергнутый полубогом»).

С этого момента Толстым написана только одна, последняя повесть «Воскресение». С тех пор он считает достоянием его пера только простые, короткие народные сказки и рассуждения, «доступные каждому».

Слабая сторона Толстого бросается в глаза. Этой слабой стороной является его понимание всего классового общества, как одной крупной «ошибки», а не как исторической необходимости, которая об'единяет оба полюса его исторической перспективы: первобытный коммунизм и социалистическое будущее. Как и все идеалисты, он верит во всемогущество насилия и считает всю классовую организацию общества исключительно продуктом длиннейшей цепи вопиющих актов насилия. Но подлинным классическим величием веет от мысли о будущем искусстве, которое представляется Толстому в виде об'единения искусства, как средства выражения чувства человека, с мировоззрением, с духовной жизнью всего трудящегося человечества, а художественное творчество в виде об'единения с нормальной жизнью члена трудящегося общества. Слова, которыми Толстой бичует ненормальный образ жизни современного художника, единственным занятием и содержанием жизни которого является искусство, удивительно сильны. А отрывки, в которых Толстой опровергает надежды на то, что сокращение рабочего дня и рост просвещения масс даст им возможность понимать современное искусство, проникнуты насквозь подлинным революционным радикализмом.

Так говорят защитники нашего исключительного искусства, но я думаю, что они сами не верят в то, что говорят, потому что они не могут не знать и того, что наше утонченное искусство могло возникнуть только на рабстве народных масс и может продолжаться только до тех пор, пока будет это рабство, и того, что только при условии напряженного труда рабочих специалисты-писатели, музыканты, танцоры, актеры могут доходить до той утонченной степени совершенства, до которой они доходят, и могут производить свои утонченные произведения искусства, и что только при этих условиях может быть утонченная публика, ценящая эти произведения. Освободите рабов капитала, и нельзя будет производить такого утонченного искусства.

Но если и допустить недопустимое, что могут быть найдены такие приемы, при которых искусством — тем искусством, которое у нас счи-

тается искусством — будет возможно пользоваться всему народу, то представляется другое соображение, по которому теперешнее искусство не может быть всем искусством, а именно то, что оно совершенно непонятно для народа. Прежде писали произведения поэтические на латинском языке, но теперешние произведения искусства так же непонятны народу, как если бы они были написаны по-санскритски. На это обыкновенно отвечают тем, что если народ теперь не понимает этого нашего искусства, то это доказывает только его неразвитость, что точно то же было со всяким новым шагом искусства. Сначала не понимали его, а потом привыкали к нему.

«Так же будет с теперешним искусством; оно будет понятно, когда весь народ станет таким же образованным, как и мы, люди высших классов, производящие наше «искусство», говорят защитники нашего искусства. Но утверждение это, очевидно, еще более несправедливо, чем первое. Для огромного большинства всего рабочего народа наше искусство, недоступное ему по своей дороговизне, чуждо ему еще и по самому содержанию, передавая чувства людей, удаленных от жизни. То, что составляет наслаждение для человека богатых классов, непонятно, как наслаждение для рабочего человека, и не вызывает в нем никакого чувства, или вызывает чувства, совершенно обратные тем, которые они вызывают у человека праздного и пресыщенного. Для людей думающих и искренних не может быть никакого сомнения в том, что искусство — высших классов и не может никогда сделаться искусством всего народа».

Человек, написавший эти слова, во всех отношениях гораздо более социалист и исторический материалист, чем те товарищи, которые, согласно существующей моде во что бы то ни стало угощать пролетариат «искусством красоты», ревностно пытаются «поднять» рабочих социалистов до уровня понимания всяких декадентских картин и писаний раз'еденной гангреной буржуазии.

Таким образом, Толстой, как в том, в чем он силен, так и в том, в чем он слаб, и по своей глубокой критике, и по смелому радикализму своих социальных перспектив, и по своей идеалистической вере в могущество суб'ективной человеческой сознательности, может быть причислен к типу великих утопистов социализма. Не его вина, что он своей продолжительной жизнью простирается от порога девятнадцатого столетия, где стояли Сен-Симон, Фурье и Оуэн, как предтечи современного пролетариата, до порога двадцатого века, когда он, одинокий, является свидетелем геройских подвигов этого пролетариата и не понимает их. Но созревший революционный рабочий класс со своей стороны может со снисходительной улыбкой пожать честную руку великого художника и смелого критика, помимо его воли написавшего, что каждый добивается истины своими собственными путями, но он, Толстой, одно должен сказать: то, что он пишет не только слова, этим он живет, в этом его счастье, с этим он умрет.

Перевел *Феликс Кон.*

Мои воспоминания о Льве Николаевиче Толстом.

Анна Толстая-Попова.

I.

Прежде, чем делиться теми небольшими клочками воспоминаний, которые я собрала в одно целое, я хочу сказать несколько слов о своей семье и о себе. Начну с моего отца.

Мой отец — Илья Львович — принадлежал к старшему поколению семьи Льва Николаевича и до двенадцатилетнего возраста воспитывался так, как в то время воспитывалось большинство детей дворян-помещиков. Первоначальное образование старшие дети получили от дедушки и бабушки, которые учили их и немецкому, и французскому, и музыке; потом начали приглашать англичанок и разных гувернеров и гувернанток, привозить учителей за 15 верст из Тулы и т. п.

В годы отрочества моего отца у Льва Николаевича начался перелом в его взглядах, который, как известно, он очень мучительно переживал. Илья Львович находился всегда под влиянием Льва Николаевича и не мог не чувствовать тяжелых переживаний своего отца, хотя и не был в состоянии вполне понять и учесть в то время душевного перелома Льва Николаевича. Вместе с тем, когда Лев Николаевич работал в поле и старался всячески быть полезным окружающим его крестьянам и населению, мой отец еще юношей всегда принимал большое участие в его работах, будучи ловким и сильным молодым человеком. Они шили вместе сапоги, косили и пахали; мой отец умел и любил работать.

Моей матери [1]) было всего 18 лет, когда она выходила замуж. Невольно она подошла близко к семье Толстых, всегда следила и интересовалась писаньями и мыслями своего свекра, считалась с его взглядами и многие из них разделяла. Поэтому нас воспитывали совсем не так, как в то время было принято воспитывать, и мы росли, не понимая и не чувствуя разницы между нашими служащими или окрестными крестьянами и теми лицами, которых мы встречали где-нибудь в гостиных или на званых обедах, куда мы случайно попадали.

---

[1]) Софья Николаевна, урожденная Философова.

Единственная школа, в которой я училась, была школа грамоты, когда мне было семь-восемь лет. После этого я никогда ни в одной школе не была.

Мои родители были чужды той атмосферы помещичьего быта, о котором теперь сохранились лишь одни воспоминания. Они жили круглый год в деревне, шли навстречу каждому, и, если случалось несчастье — пожар или какое-нибудь другое бедствие, то на постройку шел наш лес; на наших лошадях пахали и т. п.; при этом мы никогда не считали, что это наша лошадь или наш лес, а полагали, что если лес есть, то естественно он существует для того, чтобы из него строить.

Деньгам не придавалось особого значения, и мой отец не умел вести денежных расчетов; поэтому у него денег никогда не хватало, и жили мы более чем скромно.

Отец никогда не позволял ни мне, ни моей матери надеть платье с открытым воротом или короткими рукавами; о том, чтобы одеться понаряднее, у нас в доме и разговора не могло быть.

Если мы выходили работать в поле, — а работали мы постоянно, — то от нас требовалась работа настоящая, такая, как работают все окружающие, и мы работали на совесть, не считаясь с временем и усталостью. Работали часто всей семьей, и отец, и мать, и дети, и домашняя прислуга, и рабочие. Жили мы общей жизнью; цель была одна — чтобы всем было хорошо; все шли друг другу на помощь, и у меня от нашей жизни осталось впечатление радости от дружеских отношений со всеми, с кем мы были связаны.

Жили мы в Тульской губернии, в Чернском уезде, деревне Гриневке. У отца было там черноземное именье, был свиной и небольшой конный завод, сеялки, жнейки, сушилки, лучших сортов плуга. Многое выписывалось из-за границы. Все это заводилось не как барская затея, а для культурного ведения хозяйства.

Помню, как отец приходил к обеду пыльный, грязный, с расстегнутым воротом русской рубашки, часто разорванной, с засаленными руками от какой-нибудь сельскохозяйственной машины, с которой он возился часами, и я не видела разницы между ним и кем-нибудь из наших служащих.

Мне постоянно приходилось наблюдать, как отец, не задумываясь, входит в самую грязную и жаркую работу, и какой от этого получается результат, все это и мне самой становилось заманчивым, и я всегда в работе попадала в самое, как говорится, пекло.

Должна сказать, что отец работал не для того, чтобы присматривать, не для того, чтобы подлаживаться, а потому, что это было ему по душе; он всецело отдавался тому делу, которым был занят в данную минуту; у него делалось все просто, весело, и окружающие искренно радовались его присутствию.

Зимой отец столярничал, переплетал книги; токарный станок стоял у него в кабинете, и он постоянно точил, строгал, невысимо пыля, весь потный, часто с замазанным лицом, что нас очень забавляло. Он очень любил книги, без конца сиживал у букинистов при поездках в Москву и радо-

вался, когда привозил какую-нибудь редкую книгу. С любовью приводил он свои книги в порядок и расставлял их в самодельные шкапы.

Мы или учились или работали, и никогда не сидели без дела. Должна признаться, что, приезжая в Ясную поляну, я всегда думала, — как это люди живут, сидя по своим комнатам, что-то пишут, о чем-то думают, а мы, как каторжные, вечно работаем в поле и не знаем отдыха. Надо сказать, что эти мои впечатления относятся к концу 90-х годов, когда Лев Николаевич уже не работал в поле.

В Ясную поляну мы ездили раза три-четыре в год. Вследствие этих частых посещений, мне трудно установить их хронологический порядок. Выделяются наиболее яркие впечатления. Я хорошо помню одно раннее летнее утро начала 1890-х годов.

II.

Из Ясной поляны на станцию Ясенки была выслана за нами линейка-катки, как ее называли. Моя мать с няней рассадили нас, детей; кучер Адриан, носильщик, няня — все говорили вместе, размещая вещи; наконец, мы тронулись.

Тройка спокойных, рослых, доброезжих лошадей с традиционной яснополянской белой дугой, шла ровной рысью, то с'езжая с шоссе на мягкую проселочную дорогу, то снова гремя колесами по щебню. Сильная роса еще лежала на траве. В низинах стоял туман. Клонило ко сну от мерного и спокойного хода лошадей.

Кучер что-то сказал моей матери. Я сразу очнулась, посмотрела по направлению глаз Адриана и увидела двигающуюся навстречу нам фигуру верхового.

Это первый образ Льва Николаевича, который я помню. Помню его белую бороду, которая разделялась на две стороны и развевалась от ветра и езды, его улыбку, когда он под'езжал к нам.

Поровнявшись, мы остановились.

Белая лошадь, Торпанчик беспокоился, топтался на месте, придвигаясь крупным корпусом к экипажу, влезал близко к нам головой, как будто стараясь снять уздечку. Дедушка не обращал внимания на нетерпение Торпанчика, он учитывал каждое его движение, наклоняясь и двигаясь вместе с ним. Дед говорил моей матери, что он едет в Пирогово за 35 верст от Ясной к своему брату Сергею Николаевичу Толстому. Спросив кратко о каждом из нас, он мягко, чуть заметно дал повода и, не оглянувшись, уехал.

Поражала легкость посадки старика, его бодрость, ласковый тон, свежесть, ловкость, с которой он управлял горячей лошадью, приятный голос, стройность его фигуры и беспечность, с которой он говорил о 35 верстах своей поездки. Мне, маленькой девочке, казалось невероятно большим и скучным расстояние в 35 верст.

Удивленная, я долго провожала глазами деда, пока не скрылась его белая рубашка и белая лошадь.

Большаком мы спустились по деревне, проехали мимо столбов — старинных башен у пруда, потом выехали на плотину с развесистыми корявыми ветлами и стали подниматься по пришпекту, как с давних пор называлась березовая аллея, ведущая к дому.

Направо от плотины другой пруд, деревья, лавочки; как это мило и дорого. Елочки на пришпекте, которые сажала бабушка, чисто вычищенная площадка тенниса, за ней высокие прямые липовые аллеи квадратом, где так часто по утрам можно было встретить идущего с прогулки Льва Николаевича.

Стук экипажа и копыт сделались глуше, как будто звуки замирали и останавливались в листьях деревьев. В густых сиреневых кустах дорога сузилась, и лошади, сделав крутой поворот к под'езду, остановились перед тихим, еще спящим домом. Вычищенные и посыпанные песком дорожки, клумбы, большое количество цветов, терраса, обвитая диким виноградом, с накрывавшимся столом для утреннего чая, все — манило и ласкало. Но надо было итти в дом, чтобы точно знать, где мы будем жить.

Пискливо заскрипела входная—передняя—дверь; скрипят и половицы и лестница, и, как ни стараешься пройти по дому тихо, все кого-нибудь да разбудишь.

Нас проводят в единственную свободную и приготовленную для нашей семьи комнату. Везде все занято, везде ночуют родственники или совсем незнакомые, чужие люди, приехавшие на день, на два.

Я бегу к Саше [1]), с которой я всегда живу в Ясной вместе, и если у нее кто-нибудь уже ночует и я должна устроиться отдельно, то я огорчаюсь и ревную ее. В яснополянском доме нет ни одной комнаты, где бы я не ночевала и не жила. С каждой комнатой связаны свои воспоминания. Невольный трепет охватывал меня, когда входила я в этот дом, наполненный и близкими и чуждыми людьми, каждый раз приносящий новые и новые впечатления.

Кто только ни приезжал! С запада, с востока, американцы, корреспонденты, жандармы, студенты, губернаторы, революционеры, учителя, матери, приехавшие посоветоваться о воспитании своих детей, крестьяне ближних деревень или даже из других губерний с разнородными просьбами и вопросами, а часто просто любопытствующие. Невозможно перечислить всего разнообразия лиц, посещавших Ясную поляну.

Бабушка заботилась, чтобы всех накормить, разместить, во-время доставить к поезду, новых приезжающих встретить, и так изо дня в день, в продолжение многих лет. Нельзя было не иметь штата обслуживающей всех прислуги, большой кухни, прачечной, кучера, конюха — Филиппа Петровича и т. п.

Скажу несколько слов об этом Филиппе Петровиче. Он был немного дурашлив, но скромен и исполнителен. Пожалуй, нельзя был даже назвать его дурашным, — у него только было глупое, добродушное выражение лица. Де-

[1]) Александра Львовна Толстая — младшая дочь Льва Николаевича.

душка любил его приводить в пример, как непосредственного, примитивного, но добросовестного человека.

Однажды в дождь и слякоть мы ехали с Филечкой верст за двадцать. Он все посматривал на небо, не раз'яснит ли. В одном месте пришлось проезжать крутым косогором. Колеса раскатывались по глине и, когда тележка оказалась совершенно накрененной на двух правых колесах, так что можно было ожидать, что мы перевернемся, он обернулся к нам с козел и с серьезным лицом сказал: «видал?». Его замечание относилось к миновавшей нас опасности и было так неожиданно и забавно, что мы развеселились на всю остальную дорогу, несмотря на проливной дождь, и болтали с ним без умолку.

Этот же Филечка ежедневно по утрам привозил всю почту в большом кожаном мешке, который висел в передней и куда, как в почтовый ящик, опускались все письма для отправки; он же ехал верхом в темную октябрьскую ночь с факелом, указывая дорогу, когда Лев Николаевич ушел из Ясной поляны.

III.

Второе яркое впечатление относится уже к московской жизни.

Остался в памяти прежде всего самый переезд из глухой деревни Тульской губ. в многолюдную и освещенную Москву.

Сначала — привычная езда до станции; лошади, запряженные цугом; кучер, который всю дорогу правит, стоя, с длинным гусевым кнутом на руке; кнут, который бьется кончиком далеко от саней; лай злобных хуторских собак; докучливый скрип полозьев; потом — полутемный, мрачный, почти безжизненный полустанок; шум подходящего паровоза, и теплый вагон. И вот — через несколько часов поезд вкатывается в шумный, ярко освещенный вокзал Москвы, где все кажется странным и непонятным.

Из хамовнического дома от бабушки нам поданы сани, с обшитой пушистым медвежьим мехом красивой полстью, запряженные серой «Лирой» или «Стальной». На козлах знакомый по Ясной поляне кучер Адриан; затянутый в городской армяк с подушками на заду; он кажется мне важным и недоступным. Дедушка, смеясь, об'яснял мне, что Адриан завязывает шею веревочкой, чтобы казаться краснее и толще; по правде сказать, я до сих пор не знаю, можно ли этому верить или это насмешка дедушки. Сам Адриан одеваться не мог, а его одевали и помогали ему садиться в экипаж. Наш кучер — Абрам — сильный и ловкий мне был милее важного и неподвижного Адриана.

Мы проехали мимо храма Христа спасителя, потом по Пречистенке, — у меня эти места до сих пор вызывают нежные воспоминания детских лет; широкая, тихая улица предвещала своим видом что-то прекрасное.

В хамовническом доме общая атмосфера была иная, чем в Ясной поляне. Людей было больше, больше друзья, приходившие навестить, много посторонних посетителей. Приходили, разговаривали, радовались свиданью, целовали меня, не давали мне отойти, когда мне хотелось убежать, а

затем — уходили, и так я многих больше никогда не видала. Живущие в доме тоже суетились и спешили, то приезжали, то уезжали, и я переходила с одних рук на другие.

Единственное место в доме, где было похоже на Ясную и на деревню — это около няни, которая все что-то работала, чинила, и около Дунечки, которая заведывала в доме разными вкусными вещами и угощала изюмом, черносливом и подавала к столу смокву, пастилу и варенье домашнего приготовления.

За обедом бывало много народа, велись общие разговоры, рассказывались разные случаи. Однажды мой брат Миша, лет четырех-пяти, сидел рядом с дедушкой, который был очень нежен с ним; угощал его сладким сиропом, об'ясняя, что это не вино, а лишь виноградный сок. Сначала мальчик сидел спокойно, все время внимательно прислушивался к разговорам; когда кто-нибудь называл фамилию, он выделял из нее знакомые слова и произносил их вслух: скажут: Волков, а он говорит — волк; Трубецкой, а он произнесет — труб. Подали пирожное — трубочки со сливками, и перед Мишей бабушка поставила полную тарелку. В это время как-то все обратили внимание на замечания Миши; он, сконфузившись, вдруг влез руками в сливки и стал их сжимать, так что пена полезла между его пальцами, что было еще смешнее. Когда дедушка увидал мишины руки в тарелке со сбитыми сливками, он залился таким добродушным радостным смехом, что все присутствующие сразу громко расхохотались, а Мишка заревел.

Окончания этого эпизода я не помню, но досадно мне было на глупого маленького брата, который не выдержал длинного обеда и осрамился; я не разделяла общего смеха.

По вечерам наверху в зале собиралось большое общество. Приезжали артисты, часто только начинающие и мало известные. Бывало шумно, нарядно, светло, весело, многолюдно; пели, играли, шутили, слушали музыку, спорили и разговаривали.

IV.

Моя двоюродная тетушка со стороны матери, Валентина Дмитриевна Философова, очень хорошо описывает в одном письме свое случайное пребывание на вечере у Толстых в Хамовниках, когда пел Шаляпин.

Валентина Дмитриевна приехала в Москву из Рязанской губ. и остановилась у сестры моей матери и моей родной тети Наталии Николаевны Ден.

Когда первая радость свиданья немного остыла, тетя Ната об'явила, что она сегодня вечером приглашена к Толстым, и поэтому они поедут к ним все вместе; там будет петь Шаляпин, и нельзя не услыхать его и не увидать Толстого. Когда дело дошло до обсуждения туалета, то решено было надеть красный бант для оживления платья, и поездка была уже бесповоротно решена, так как была слишком заманчива.

Привожу дальше собственное описание тетушки:

«Взяли извозчика и сели на него втроем. Ден [1]) на козлах правил к великой радости извозца. Но вот мы в'езжаем во двор, я сижу ни жива, ни мертва.

Явиться в чужой дом и, главное, чей...

Увидеть человека, который столько передумал и перечувствовал, который многих наставил на добро, но стольких сделал несчастными безнадежно, оттого что непосильно требовал, прежнее разрушал, а взамен ничего не дал.

У меня всегда было неприязненное чувство к нему, и мне было интересно, пройдет ли оно, когда я его увижу лицом к лицу. Скажу одно, что я очень волновалась внутри себя.

Взошли по лестнице, и в зале первый, кто мне бросился в глаза, это была тетя Соня [2]), которая сидела с вязаньем у стола. Она глазам своим не поверила, увидев меня. Когда я ей сказала, что я в страхе, она об'явила, что ничего, что Софьи Андреевны нет, и она за хозяйку. Ко мне подошла молоденькая дама в трауре и говорит: «А я вас сразу совсем не узнала, вы так изменились». Это была жена Андрея Толстого — премиленькая она и пресимпатичная. Вспоминали мы с ней прежнее наше знакомство.

За столом пили чай несколько студентов и штук шесть девочек. Из этого цветника одна отделилась и подошла ко мне, это была Саша Толстая. Она очень миленькая, такая толстушка!

Сам Лев Николаевич сидел в соседней комнате и играл в шахматы. Шаляпин тоже был там.

Нас усадили пить чай, а гости все прибывали, хотя мало кто был приглашен, все вроде меня явились незваными. Когда приехала Софья Андреевна, она поразилась такому скоплению нежданых гостей, ужасалась, что не хватит угощений и что всего мало, хотя, кажется, всего было достаточно, чтобы накормить столько же голодающих индейцев.

Софья Андреевна любезно из'явила радость, увидев меня, назвала Тиной — словом, обласкала!

Из соседней комнаты привели Шаляпина, чтобы поздороваться с Софьей Андреевной, она сказала ему несколько милых слов, и все принялись устраивать пение.

У Шаляпина совсем простое лицо, семинарского вида, но славные, славные глаза и улыбка. Андрей Толстой, который ввел его в дом, очень волновался и суетился почему-то. Тетя Соня все над ним острила и вообще была в очень игривом настроении.

В это время в залу вошел Лев Николаевич, и я почувствовала легкое трепетание. Больше всего поразила неуместность всего этого шумливого и легкомысленного общества вокруг этого согбенного, великого старца, с суровым лицом, нависшими бровями над небольшими, но замечательно подвижными и выразительными глазами. Играя в шахматы, он взбил себе волосы,

---

[1]) Владимир Эдуардович Ден, профессор политической экономии, муж Наталии Николаевны.

[2]) София Алексеевна Философова, мать жены Ильи Львовича Толстого.

которые так и торчали во все стороны; борода тоже была сильно всклокочена. Все встали, и он медленно здоровался со всеми.

Меня представили: «сестра жены Вани Раевского», и он меня спросил, давно ли я из тех мест, на что я ответила, что всего три дня, как рассталась с ними.

Думала ли я, гадала, что когда-нибудь окажусь лицом к лицу с Толстым...

Мы с тетей Соней и Ольгой Толстой сели в маленькой передней перед залой, так что видели лицо Шаляпина и таким образом было лучше слушать.

Первое, что он спел, было «Ни слова, о, друг мой» Чайковского, и так хорошо, с таким чувством, с такой неподдельной грустью, что сердце сжалось. Затем спел песню капрала, слова Беранже; ну, просто, замечательно, лучше спеть нельзя, так грустно, что я не могла не пролить незаметно слезу. Нервы мои совсем ослабели в связи с пением, да еще взволновавшим меня знакомством с Толстым. Но как он спел «Капрала», как он передал все чувства этого бедного старика, которого хотят расстрелять за то, что он сказал дерзость офицеру... ну, просто, выслушать нельзя хладнокровно.

Хорошо, что сделали антракт, а то, спой он еще что-нибудь вроде этого, я бы наверно, к ужасу своему и позору, не выдержала бы и разревелась.

Лев Николаевич попросил спеть что-нибудь русское, и Шаляпин спел «Ах, ты, ноченька, ночь осенняя», и Льву Николаевичу это очень понравилось.

Я была так расстроена предыдущим, что не заметила даже, что Лев Николаевич сел, как раз, в дверях, где мы сидели.

Шаляпин спел еще Шумана «Во сне я горько плакал» и «Два гренадера» и опять-таки — дивно; совсем по-новому как-то осветились все эти вещи.

Лев Николаевич одобрительно качал головой, а мы в себя не могли притти от восторга.

— Да, — говорит Лев Николаевич, — вот талант-самородок, как он он это все передает.

Посидели, поахали, помолчали, вдруг Лев Николаевич спрашивает меня:

— Вы младшая?

Я даже сразу не поняла, к чему и к кому относится его вопрос.

— Нет, старшая.

А сколько лет вашей сестре?

— 23.

— А вам — 24?

— Да.

— А какая разница между вами и вашей сестрой?

Наташа ответила:

— Одна — беленькая, другая — черненькая.

— Нет, я не про наружность, а про характер.

— Не знаю, право, — она живее меня, я более спокойная и меньше обращаю внимания на жизненные невзгоды.

— Да-а...

Тут зашел разговор об одной барышне, которая пришла спросить мнение Льва Николаевича о том, заниматься ли ей живописью и будет ли от этого кому-нибудь польза. (Почему он и это должен знать?)

— Она мной, должно быть, осталась очень недовольна, — говорит Лев Николаевич, — я ее очень разочаровал.

— Как?

— Сказал ей, что все это никому не нужные пустяки, а что не важно совсем, будет ли еще одна картина, изображающая «моющихся баб» [1]) или что-нибудь в этом роде, пользы от них никому не будет, лучше утирать сопли кухаркиному мальчишке (fi donc). Все эти живописи для белоручек, а народу они совсем не нужны.

А она мне на это:

— Вот Врубель (какой-то) написал картину «Христос, идущий по волнам». Народ ходит смотреть и умиляется.

— А это просто мерзость, — говорю я ей, — морочить народ, когда известно, что никто по водам ходить не может и все эти чудеса — один обман. Так что она своим примером ничего не доказала. Да уж все эти затеи нужны для нас с чистыми руками, рабовладельцев, потому что хотя крепостное право и упразднено, но мы имеем все таких же рабов, которые за деньги пилят нам дрова, возят воду, выносят за нами, кормят и поят нас, а мы платим деньги и находим, что мы вполне правы. А это разврат. Мы должны стараться, как можно меньше иметь рабов, стараться самим удовлетворять свои потребности.

(А тут, как на смех, так и шмыгали взад и вперед по лестнице рабы во фраках и белых галстуках.)

— До крепостного права были стремления уничтожить весь этот строй; лучшие люди видели весь ужас рабовладельчества, повлияли на правительство, на Александра Николаевича, и получилось 19 февраля. А теперь мы думаем, что мы не такие же рабовладельцы, когда какая-нибудь вещь, без которой можно обойтись, стоит человеческой жизни. Все эти фабрики и заводы — сколько они жизней губят. А для кого эти тысячи гибнут? Для десятков — с чистыми руками, которые платят за это деньги и больше ничего.

Тут подоспел Ден со своей политической экономией:

— Но теперь делают много шагов к улучшению, например, замена 12-часовой работы на фабриках в Германии — 8 часами.

— Ах, уж вы со своими цифрами, все это вздор и хорошо только в книжках. Все это нужно на веру принимать, а доказательств нет; докажите мне, чтобы я ясно увидел примером, а на веру я ничего принимать не хочу. Это, дескать, так и эдак; да вы мне докажите.

---

[1]) «Моющимися бабами» Лев Николаевич называл изображение голых женщин на картинах.

Ден заволновался:

— Но ведь мы идем вперед, добились восьмичасового труда, — это — сс.

— Нет, регресс, а не прогресс, я уже вам сказал, что пока будет суще-ть производство ненужных вещей для работающих и человеческая будет цениться дешевле, чем вещь, никакого прогресса не будет.

— Значит, вы против того, что быт рабочих улучшается и что они ются многого...

— Что вы меня заставляете повторять одно и то же два раза. Я уже , что немыслимо жертвовать человеком для чего бы то ни было. Раз человеческие жертвы, то не нужно никаких производств, а будут ли нуть нитки 12 или 8 часов — это безразлично.

— Что же вы думаете, что будет?

— Я ничего не знаю, какой будет конец, но я знаю, что такое по-ге не мыслимо. Рабовладельцы с чистыми руками опомнятся, им будет , и они откажутся от всего этого ненужного, из-за которого гибнет э народа, или им просто будет невыгодно, как под конец крепостни- было невыгодно помещикам.

— Вы думаете, стачками мы ничего не добьемся?

— Стачки — это ни к чему, давление не должно итти снизу, а е слои должны опомниться, наконец, устыдиться и изменить рой.

— А я думаю, что, напротив, давление должно быть с низших клас- это гораздо вернее.

тут завязался страшный спор. Ден требовал точности и последова-ти в вопросах и ответах, а Лев Николаевич разбрасывался во все ы и прямо ни разу не ответил на его вопрос, несколько раз противо-ебе и очень волновался, так что Наташа мигала уже супругу, чтобы ратил спор.

ев Николаевич уверял, что мужицкая работа совершенно не зависима, ак фабричный рабочий — самый несчастный раб: встает по звонку ов, обедает по звонку, целый день работает и не видит результатов груда, тогда как крестьянин — хочет встанет в 9 часов, хочет позже, аньше, хочет пойдет и напьется...

ончилось тем, что спор, как и всегда все споры, остался не разрешен- Лев Николаевич сравнил Дена с великим князем Владимиром Але-вичем, который в академии решил свой вопрос так: на заседании и одного мнения, а он встал и сказал: «А я с этим не согласен». Тогда или, как он. И сказал ему еще несколько маленьких колкостей. Лев евич, видимо, привык, что с ним всегда все соглашаются, но, право, он не может до конца довести свою теорию?..

эли ужинать, и Шаляпин занимал один конец стола своим раз-

эв Николаевич дал ему свою фотографическую карточку с надписью, пин был в восторге.

Во время ужина Лев Николаевич подошел к Наташе и стал продолжать разговор про барышню и ее художество. Между прочим, говорит: «Лично я ничего не имею против такого рода занятий, если лучшего по какому-либо случаю делать не приходится. Мало ли, часто от себя не зависишь: есть сестра, мать, семья... Но я ей это так круто сказал потому, что займутся искусством, и уже выше всех других себя ставят, ни до кого дела нет, только собой и восхищаются. По большей части это так бывает. Вроде поэтов — отпустят себе волосы до плеч, всех презирают, пьянствуют и развратничают и превыше толпы, которая их не понимает, себя возносят. А если заняться, ничего из себя не воображая, может быть, она и много пользы принесет кому-нибудь».

Он все ходил, заложив пальцы за кушак блузы и подходил то к одному, то к другому. Очень он симпатичный, но у меня примешивалось еще какое-то чувство жалости к нему; какой-то он одинокий.

Я, конечно, ужасно была довольна проведенным вечером и очень благодарна Денам за то, что они меня утащили и так разодолжили».

Описанный эпизод относится к 9 января 1900 года.

V.

Продолжаю теперь прерванный собственный рассказ.

Помню, как-то раз, до окончания вечера, нас маленьких — меня с Сашей, которая старше меня всего на 4½ года, отправили спать вниз, в смежную комнату с спальней дедушки и бабушки. Уложили нас в кровати, которые были у нас поставлены рядом, чтобы можно было тихонько болтать. Возбуждение в зале отражалось и на нас, и мы очень весело делились какими-то своими впечатлениями.

Вдруг Саша прошептала мне: «спи». Это значило, что я должна моментально притвориться спящей, и в тоне ее голоса я почувствовала, что иначе может быть неприятность. Не прошло и нескольких секунд, как в комнату мелкими быстрыми шагами из своей спальни вошла бабушка со свечей в руке, за ней няня и Дунечка, что-то тихо об'яснявшие ей.

Совсем было они прошли мимо нас, как вдруг бабушка круто повернулась:

— А Анночка на какой подушке спит?

И вот бабушка уже у моего изголовья шарит руками по подушке, отыскивая прореху, чтобы посмотреть, какого цвета нижняя наволочка.

Саша была ограждена от такого нападения словами няни, что она спит на своей собственной подушке.

Нас обоих душил смех, но я прямо не дышала, пока бабушка была около меня. Когда же вся опасность миновала, и шаги и разговоры замолкли, мы долго и неудержимо хохотали. Повидимому, бабушка искала какую-то подушку для оставшихся ночевать гостей.

Вспоминается и такой эпизод из жизни в Хамовниках.

Однажды, когда мы одевались и нянюшка причесывала Сашу, начался разговор, в который, повидимому, я не должна была вмешиваться. Саша рассказывала полушопотом няне, что когда она вчера была в церкви (она говела), то увидала отца на паперти, сперва глазам своим не поверила, но, сопоставив черты, пришла к выводу, что ошибиться не могла. Зачем заходил он в церковь? Она так была поражена, что прошла мимо своего отца и не решилась окликнуть его, чтобы не нарушить его мыслей и чувств.

Я ничего не понимала и не могла разобраться, но разговоры о деде и его мировоззрении ложились тяжестью на мой детский веселый характер. Я видела в большинстве разговоров о деде какое-то вмешательство в его личную жизнь, какое-то притязание на него, обсуждение, и мне это было порою невыносимо тяжело. Часто совершенно посторонние люди где-нибудь в вагоне или на станции задавали мне вопросы, на которые я не могла ответить только потому, что я была мала и не могла дать нужного отпора. Но по тону Саши и няни я поняла, что разговор их очень значительный и не может не волновать их.

Как-то во время моего пребывания в Хамовниках у меня заболело горло; бабушка очень испугалась заразы, моментально отделила меня от Саши, перевела наверх и поместила на диване в смежной с гостиной комнате. У меня была высокая температура, мне смазывали горло и заставляли его полоскать. Я не могу припомнить, кто за мной ходил; иногда появлялась бабушка, это бывало весело и забавно; она умела ухаживать и разговаривать с детьми как-то по-особенному; много наговорит, расскажет что-нибудь смешное, и все неприятные процедуры проходили таким образом очень просто и без всяких драм. Бабушка всегда спешила, приходила не на долго, но оставляла хорошее настроение, с которым легче было переносить все невзгоды.

Меня предупредили, что за стеной, где стоял мой диван, сидит и работает дедушка и что поэтому нужно лежать тихо. Кто-то рассказывал мне, что дедушка не захотел переделать свои маленькие комнатки и оставил их себе для рабочего кабинета, при этом старшие жаловались, что в этих комнатках душно, особенно, когда к дедушке приходят чужие люди и подолгу сидят, курят, что потолки низки, лампа часто плохо горит и коптит и что все это очень вредно для здоровья деда. Впервые, войдя к нему в кабинет, я была поражена маленькими размерами комнат, и мне с детской точки зрения там очень понравилось, и я вполне сочувствовала дедушке.

Из разговоров деда мне врезались в память отдельные замечания.

Помню, как в столовой внизу дедушка стоял возле окон между жардиньерок и увидел, как Саша расчищала каток, размахивая лопатой и далеко от себя отбрасывая снег. С ней работал дворник — молодой малый. Дедушка обратил внимание на разницу в их движениях и заметил, что Саша непроизводительно тратит энергию, делает лишние движения от непривычки работать физически. Дворник же точно соразмеряет свои силы для нужного броска, работает мерно и правильно, не откидывая снег слишком далеко, а именно настолько, насколько это было нужно.

Это его замечание всю жизнь напоминало мне, что физическая работа требует большой привычки, навыка и осмысленности, а не одной силы.

В той же столовой по наводящим вопросам дедушки я уяснила себе, что шарманщику не легко зарабатывать свой хлеб, что ему должно быть и холодно и голодно с его ходячей, привлекательной для меня музыкой. А сначала мне думалось, что шарманщики очень счастливы, имея при себе всегда веселые мотивы и попугая.

VI.

Однажды Лев Николаевич взял меня в Зоологический сад. Мы шли пешком, временами молча, а временами дед рассказывал мне что-нибудь. В саду он об'яснял мне жизнь и привычки животных, расспрашивал следовавшего за нами проводника, добавляя подробности, и этим очень живо и полно представил мне жизнь каждого зверя и заинтересовал меня умом животных, научил наблюдать и оценивать поступки зверей.

Из Зоологического сада мы отправились на Тверскую. На паперти Страстного монастыря дедушка показал мне икону, на которую надо было смотреть с разных сторон, и тогда с трех сторон на ней видны были три изображения: бога-отца, сына и духа святого.

Чтобы дать мне возможность посидеть и отдохнуть, дедушка зашел к Перфильевым, где мы пили чай, который подавали на подносах в гостиной, и надо было как-то справляться с чашкой, вареньем и сухарями. Дедушке были очень рады, он давно не заходил к своим старым знакомым, я же испытывала мучительное чувство, когда меня стали разглядывать, находя сходство то с отцом, то с матерью, указывая, что «это вылитая Соня», или, наоборот, «это — вылитый Илюша, как же ты не видишь, это его манера, его взгляд». Я была очень счастлива, когда мы, наконец, ушли, но я не помню, как мы вернулись домой, повидимому я слишком устала, а дедушка всегда увлекался прогулками и не рассчитал моих сил, показывая мне Москву.

Моя жизнь в Москве и прогулка в Зоологический сад была спустя некоторое время после смерти младшего сына Льва Николаевича — Ванечки. Он был любимцем всей семьи — умный, интересный, талантливый, прямо гениальный мальчик для своих шести-семи лет. Он говорил на трех иностранных языках, сочинял рассказы, интересовался беседами взрослых, вставляя свои меткие замечания, к которым прислушивались.

Был такой случай: гуляя в Ясной поляне, бабушка говорила Ванечке, что эта земля принадлежит ему, показывала ему границы, а он рассердился и сказал:

— Ах, мама, все всехнее.

Ванечка был всего на 10 месяцев старше меня. Мы были с ним очень дружны, в играх всегда старались быть в одной партии, любили разговаривать, о чем-то мечтать. У нас был особый душевный мир, принадлежавший только нам двоим.

Ванечка был таким, что умел с каждым создать какие-то отдельные от других отношения, как-то особенно к себе расположить, своей лаской и сердечностью привлечь к себе, и всякий, кто знал его, уже не мог забыть этого очаровательного мальчика.

Зимой 1895 года, семи лет, Ванечка умер в Москве от молниеносной скарлатины. От меня скрыли известие о его смерти, и только спустя некоторое время, случайно, я поняла, что Ванечки нет и я его никогда больше не увижу, я отчаянно плакала. Я написала дедушке письмо, в котором в очень наивной и детски-неумелой форме выражала свои чувства; в ответ я получила от деда письмо, написанное на пишущей машинке, крупными буквами, чтобы я могла прочесть его сама:

«Благодарю тебя, милая внучка Анночка, за твое хорошее письмо. Ваничка ушел от нас к богу. Ему там очень хорошо, и потому грех об нем плакать и жалеть. А все-таки жалко, что его нет больше с нами. Бабушка Соня оч[е]нь горюет, а мы все ее утешаем.

Летом приедем к вам и тогда будем с тобой ходить гулять и разговаривать.

Целую тебя, и папá, и мамá, и Мишу, и Андрюшу, и Машу [1]). Твой друг и дед Лев.

16 марта 1895 г.».

VII.

Приехал к нам дедушка только в 1898 году летом, когда мой отец вызвал его, испугавшись голода; отец надеялся получить через дедушку пожертвования для открытия столовых в окрестных деревнях, где уже ощущалась нужда в хлебе.

Мы жили на границе Чернского уезда Тульской губернии и Мценского уезда Орловской губернии, в деревне Гриневке.

Иногда с утра и до позднего вечера дедушка ездил верхом по деревням, обследуя степень необходимости открытия столовых на посылаемые ему деньги, которые он тратил очень бережно и аккуратно; он очень считался с доверием, с которым ему присылались иногда и очень крупные суммы.

Мне запомнился его образ, верхом, в белой полотняной рубашке, когда он удалялся от усадьбы, держа направление прямиком по полю, без дороги.

Однажды возвращаясь домой, он заблудился и со смехом рассказывал отцу о своем приключении. Папа, зная хорошо окрестности, об'яснил Льву Николаевичу, почему он сбился с пути и как запутался в приметах дороги. Ведь уже прошло много лет, как Лев Николаевич приезжал в эти места, чтобы присматривать за хозяйством в близлежащем Никольском-Вяземском и охотился здесь; с тех пор выросшие леса и кустарники изменили внешний вид окрестности. Дедушка удивлялся и рассказывал, как, проезжая одно место, он ясно вспомнил травлю и поимку русака.

---

[1]) Повидимому, Лев Николаевич имел в виду Марью Львовну, которая часто живала у нас.

В то время в округе заботами деда и моего отца было открыто больше 20 столовых. Мы все были вовлечены в работу. Папа был много в раз'ездах, и я редко его видела. Он суетился, хлопотал, давал распоряжения и беспокоился о том, чтобы дедушке было удобно у него в кабинете. Моей матери была поручена выдача хлеба; помню ее с ключами на ступеньках амбара, окруженную младшими детьми, с вязаньем в руках сидящую и ожидающую подвод, приезжавших за мукой или зерном.

Меня с моей учительницей тоже посылали на обследование деревень. Мы ездили в шарабанчике на чалой лошадке, приведенной из Вятской губернии. Нужно было приехать в деревню в самую жару, в часы отдыха, чтобы застать дома и людей и скот. Мы записывали количество детей, стариков, женщин, наличие в каждом дворе крупного и мелкого скота, наделы земли и общее состояние каждой отдельной семьи.

Однажды, возвращаясь домой, мы решили сорвать несколько колосьев тощей ржи на прилегавшем к деревне поле. Наша Вятка, обычно спокойная и ленивая, вдруг тронулась с места и пошла от нас шагом вперед. Я побежала за ней, чтобы ее остановить, тогда она пошла рысью. Когда я, утомившись, замедлила шаги, то и Вятка пошли тише; так она долго мучила нас, пока мы не водворились в шарабан. Дома поступок нашей лошадки обсуждался сообща, и старшие, в том числе и дедушка, приводили много примеров ума и хитрости и лошадей, и других животных.

Обыкновенно все общие разговоры происходили в столовой. Однажды мы сидели там с дедушкой и моей учительницей и ждали обед. Дедушка разглядывал наши руки и локти и обратил внимание, что у каждого из нас свои особенности не только во внешнем покрове кожи, но и в самом сгибе при сжимании и разжимании рук и локтей.

Спустя много лет в Ясной поляне (в 1907/08 году) он снова осматривал мои руки, но не об'яснил мне, почему это его интересовало.

Для того, чтобы посмотреть работу на ходу, мы приехали один раз с дедушкой в деревню Лапашино во вновь открытую столовую во время обеда. Эта еда под открытым небом, на выезде из деревни, осталась у меня неизгладимым впечатлением. Медленно и чинно подходили к столам женщины, дети и старики. Ложку каждый должен был принести свою. Ели молча и с большим благоговением. С'едая побольше супа, взрослые старались откусывать как можно меньше хлеба, чтобы унести лишний кусочек домой для остальных членов семьи, не имеющих права притти в столовую. Многие приходили в столовую через день, чтобы дать возможность и незаписанным членам семьи хоть изредка поесть горячей пищи в столовой.

Уехал от нас в то лето дедушка на лошадях с остановками у Цуриковых, за Чернью, и у А. П. Левицкого, в то время выдающегося сельского хозяина. У Левицкого Л. Н. заболел желудком, чем очень всех перепугал; туда немедленно приехала бабушка и умелым уходом восстановила его больной кишечник, который совершенно не переносил перемен и чужой кухни. Тогда говорили, что дедушка не может жить без постоянного и бдительного

наблюдения и ухода бабушки, которая умело регулировала его пищу и знала, как справляться с его почти постоянными недомоганиями желудка.

VIII.

Я не помню той эпохи жизни деда, когда он работал физически; его портреты, где он изображен босиком, мне казались вымыслом и были чужды и даже неприятны, как всякая ложь; только потом я узнала об этой поре его жизни, когда можно было видеть его и на пахоте и на косьбе, или работающим то как печник, то как плотник.

Я знала его уже отчужденным и одиноко живущим в шумном, разнообразном и всегда меняющемся яснополянском обществе. У деда была отдельная замкнутая жизнь. Он вставал рано, убирал сам свою комнату, и, когда мы только еще просыпались, он, уже чистенький, причесанный выносил свое помойное ведро, проходя быстрыми шагами по двору мимо наших окон.

В половине девятого он выходил на свою любимую утреннюю прогулку. Большею частью в дверях дома его ожидали. Он близко подходил к ожидавшему его, наклонялся к нему, и по спине деда в эти минуты можно было видеть выражение смущения и терпеливого внимания. Он выслушивал каждого, некоторых просил переждать его возвращения с прогулки, чтобы еще видеться и беседовать, с другими, если бывал в корне с ними несогласен в отношении их миропонимания, не мог говорить спокойно. Часто он восхищался своими собеседниками и их суждениями, а бывало и так, что они надолго нарушали его покой и мучили непониманием и отрицанием того, что для деда было несомненной истиной. Иногда он уходил на прогулку расстроенный и взволнованный, но, после долгих размышлений и работы над собой, возвращался умиротворенный; с горечью и болью в сердце он в разговоре приводил пример непонимания какого-нибудь утреннего посетителя.

Бывало неприятно и тяжело, когда посторонние люди копались в нем, занимали его внимание, молодые спорили с ним, не считаясь с тем, что это уже старик, так много выстрадавший и переживший. Всякий стремился войти в общение с ним, все окружающие знали, что он принадлежит больше посторонним, чем нам, и поэтому особенно бывало больно за него, когда посетители его не понимали. Никогда никто из семейных не поднимал разговора о волновавших его вопросах, все мы знали, что огорчения деда не могут сравниться с нашими огорчениями, что он прошел в своей жизни такое количество испытаний, исканий, которые не могли бы выпасть на нашу долю.

После утренней прогулки он уходил к себе в кабинет и писал до двух, до трех часов дня. Там отдельно от всех он завтракал, не прерывая занятий. Ежедневно по вечерам ему переписывали начисто все написанное им за день. На другой день он начинал делать поправки, добавлял, изменял фразы, стремился более ярко выразить свои мысли, все перемарывал, и так каждый день. Иногда вещь казалась уже законченной, уже и переписывать было нечего;

вдруг, неожиданно для самого себя, дедушка опять все снова перемарает и приходит с извинениями, что опять надо переписывать сызнова, опять разбирать написанное на уголках страниц, так как до последних лет он экономил бумагу и не мог отделаться от привычки заполнять все свободные края и местечки.

— Сашенька, я виноват, опять все переделал, — говаривал он своей дочери, которая хорошо разбирала его руку, но, иногда, подолгу сиживала над отдельными словами и, только после тщетных мучений, решалась обратиться к нему; бывало так, что и он не мог прочесть, что написал. Он старательно вглядывался, охал и ахал, а разобрать удавалось большею частью или Саше, или бабушке к большому удовольствию и удивлению деда.

После занятий дедушка уходил пешком или уезжал верхом на прогулку. Изредка он звал кого-нибудь поехать с ним, а иногда предлагал всем желающим пойти пешком.

Так однажды мы с ним большой компанией ходили на Косую гору за 6—7 верст от Ясной поляны смотреть, как на чугунно-литейном заводе выливали из доменных печей чугун. Мы долго ходили по заводу мимо жутких машин, потом лазали по тоненьким лестницам громадного завода очень высоко и оттуда смотрели, как внизу красной лавой лился страшный, красный, раскаленный чугун. Когда мы возвращались, я была рада вырваться из этого ада, а дедушка всю дорогу говорил, восхищался и ужасался.

Ходили мы и в другие места, причем дедушка всегда водил без дорог, шел быстрыми мелкими шагами и не останавливался, увлекаясь и как будто стремясь куда-то в неизвестность. Однажды во время прогулки у меня лопнула резинка, и я должна была держать чулок одной рукой, что было очень неловко и мешало ходьбе. Мы переходили полотно железной дороги около будочки в лесу, и я решила забежать в нее и пришить там пряжку, надеясь, что никто не заметит моего отсутствия, и я догоню всю компанию. Но именно дедушка и заметил мое отсутствие, решил подождать; потом Саша мне сделал выговор, так что я готова была всю остальную дорогу итти с согбенной спиной, лишь бы не получать хотя бы косвенных через Сашу замечаний от деда.

Зная его привычку ходить далеко, не соразмеряясь со своими силами, бабушка в последние годы деда очень тревожилась за него и была спокойна только тогда, когда он уходил или уезжал не один.

Иногда за дедушкой высылали лошадь к условленному заранее месту в лесу или на шоссе, и он, пройдя большую часть прогулки пешком, возвращался уже в санях.

Как-то раз мы с Сашей встретились с дедушкой в Засеке. Это было года за три до его смерти. Засека, это — казенный лес, начинающийся за Тулой и уходящий далеко в Брянские леса; вековые дубы и громадные липы чередуются в нем с зарослями, перемежаются лужайками и оврагами, пересекаются тропинками и дорогами.

Мы ехали на одиночке в шарабане в глубине оврага. Внезапно откуда-то к нам выехал дедушка, поровнявшись, он проехал несколько шагов рядом

с нами по одному направлению и вдруг неожиданно круто свернул в сторону, дал шенкеля старенькому доброму Делиру и на-унос взял крутую горку из оврага по узенькой заросшей дорожке, пригнувшись к лошади.

Должна сознаться, что я до смерти испугалась такого аллюра и в ужасе, кажется, даже вскрикнула, но Саша отнеслась спокойно к такой прыти старика, так как она иногда сопровождала его на прогулках и привыкла к его манере ездить верхом.

Только нездоровье удерживало дедушку дома в часы его прогулок.

Около пяти часов он возвращался, раздевался и ложился в постель хотя бы на полчаса. Этот отдых очень поддерживал дедушку в последние годы жизни, и он всегда старался не пропустить этот час.

Только в 6 часов к общему обеду он приходил в залу, и не редко бывало, что тут многие его встречали впервые за целый день, проведенный под одной крышей.

Выходил он всегда свеженький, только что причесанный, с еще холодными от воды руками, здороваясь со всеми и далеко от себя протягивая руку светской манерой здороваться; иногда, запоздав на несколько минут, когда все уже сидели за столом, проходил мимо всех к своему месту около бабушки и просил никого не вставать и здоровался общим поклоном.

Случалось, что бабушка задерживалась, тогда за стол не садились, и дедушка схватывал кого-нибудь за руку и бежал по зале вокруг стола Мы знали, что надо, в свою очередь, схватить кого-нибудь и образовать таким образом вереницу из всех присутствующих. Моментально, большею частью дядя Сережа садился за фортепиано и играл «Кавалерийскую рысь» Рудольфи, учителя музыки Льва Николаевича. Во главе с дедушкой мы, что есть духу, носились кругом стола, пока не показывалась бабушка в амфиладе комнат; тогда все сразу должны были оказаться у своих мест и тихо сесть. Эти воспоминания, конечно, не относятся к последним годам жизни дедушки.

Как-то раз, перед обедом, пока не было взрослых, мы учились делать па чечотки и старательно отбивали ее. Дедушка вышел из кабинета. Мы смутились и хотели перестать, но он просил нас показать ему, и внимательно смотрел несколько минут, держа руки за ремнем пояса, как обыкновенно. Посмотрел и ушел к себе. Через несколько минут он вернулся и сделал чечотку, отработав ее у себя в кабинете, к нашему полному удовольствию. Самому ему это, видимо, было тоже весело.

Однажды перед обедом он вышел, а обед еще не был подан; он стал испытывать наши силы и с нами вместе измерять и свои; мы брали тяжелые предметы, преимущественно бюсты или статуетки, и «выжимали» их, медленно опуская и поднимая в разных направлениях руки. Странно было смотреть, как дедушка держал свою собственную статуетку за ногу и выделывал с ним разные движения; в то время мы были с ним равной силы, а впоследствии я стала сильнее его.

За обедом он часто делился впечатлениями своей прогулки, сообщая, куда он ходил, с кем из встречных разговаривал. Он постоянно вступал в

разговоры со всеми на пути. Так, он возмущался по поводу тяжелого труда каменщиков, бьющих щебень на шоссе. Он говорил, что для выработки разных ненужных, даже вредных предметов строят грандиозные фабрики и заводы, а для такого ужасного труда, как труд каменщиков, ничего не изобретается. Повидимому, он сам пробовал работать кувалдой, которой дробят большие камни. Он говорил о едкой пыли, которой дышат каменщики, о солнцепеке, на котором они работают, и вообще о тяжести их труда.

IX.

Очень часто дедушка ездил или ходил пешком в Овсянниково (имение Татьяны Львовны Сухотиной-Толстой), отстоящей от Ясной поляны на 7 верст, где проживала Мария Александровна Шмидт, близкая ему по духу; она одиноко жила в избушке, работала в огороде, разводила клубнику, кормясь тем, что сама выращивала, была вегетарианкой, никогда ни на что не жаловалась и точно светилась добротой в своем отношении к людям.

Всех нас она искренно любила и никогда не относилась к нам недоброжелательно, что иногда чувствовалось со стороны настоящих «толстовцев», которые явно осуждали нас только за то, что мы Толстые; перед ними мне всегда было неловко и тяжело. С Марией Александровной неловкости я никогда не ощущала. Мне всегда хотелось узнать об ее прошлой жизни, о всех ее переживаниях до того, как она стала такою, какою я ее видела. Чувствовалось, что она много пережила, прежде чем начать жить так. Хотелось узнать, не бывают ли у нее сомнения; не бывает ли ей тяжело и грустно от своего одиночества в избушке; по ее внешности этого усмотреть было невозможно.

Иногда за Марией Александровной посылали лошадь; она приезжала и по несколько дней жила в Ясной.

В прежние годы я не замечала особенно сердечных отношений между Марией Александровной и бабушкой, но после ухода Льва Николаевича и его смерти Мария Александровна все так же приезжала и живала у бабушки, и, кажется, единственная из всех «толстовцев» отнеслась к Софье Андреевне сердечно и тепло в ее горе.

Помню их вдвоем, двух осиротелых, сидевших с какими-то вязаньями и работами в большой зале и тихо разговаривающих; обе любили деда, каждая по-своему; теперь они соединились в общем переживании его потери. У меня и сейчас навертываются слезы на глаза при воспоминании об этих двух жалких старушках, связанных одним горем. В эту пору своей жизни бабушка говорила, что она была бы рада все простить Черткову и помириться с ним, лишь бы не было розни, не было бы ссор после смерти «Левочки».

X.

Обеденный стол делился всегда на «тот конец» и на «наш». На «том конце» — в центре стола — бабушка, по правую сторону от нее сидел дедушка, потом еще кто-нибудь из вегетарианцев, так как дедушке подавали

гдельные кушанья, а нам давали мясное. По левую сторону от бабушки быкновенно помещались почетные гости, большею частью приезжие, а «наш онец» возглавлялся Сашей; по обе стороны от нее сидела все молодежь юде меня; соединялись эти две половины стола такими лицами, как ивший в Ясной доктор Душан Петрович Маковицкий. На нашем конце ывало очень весело, мы дурили, смеялись, наблюдали и подмечали все забавное, одним словом, вели себя соответственно своему возрасту. Только под онец жизни в Ясной мы стали держать себя тише, так как в конце концов ешали взрослым в их разговорах; и мы сами начали прислушиваться к этим азговорам.

Случайно мы узнали, что Душан Петрович старается записывать все, го говорит Лев Николаевич. Часто он сидел за столом с глазами, устремлеными в одну точку, с засунутой правой рукой в карман. Так изловчившись, н записывал на кусочках бумаги огрызком карандаша мысли Льва Николаевича. К несчастью, иногда он не мог разобрать написанного и приходил прашивать, не помним ли мы разговора, который велся. А мы, сидя за бедом, начинали нарочно приставать к нему: «Душан Петрович, хотите це?», «Душан Петрович, хотите квасу?», «Душан Петрович, налить вам офе?». А он, весь поглощенный записями, не слышит, не видит и не понимает ничего, к нашему полному восторгу. В конце концов и дедушка узнал, го Душан Петрович записывает за ним, и положение бедного Душанчика тало очень трудно, так как дедушка очень тяготился и огорчался, когда нему относились не просто. Но Душан Петрович никогда на нас не сердил, прекрасно понимая, что мы шутим. Мы не могли не понимать и не учитыать его преданности к деду и любви к нему.

Иначе было с Гусевым. Тот возмущался нами и не хотел считаться нашей молодостью. Часто он нам делал замечания, осуждал нас, и его суждения бывали несправедливыми.

Однажды мы услышали где-то новую для нас цыганскую песню. Она ам очень понравилась. После окончания переписки для Льва Николаевича аша взяла гитару, и мы пели. Пришел Гусев, переговорил о том, что ему ыло нужно, а мы, не дождавшись его ухода, снова затянули, как мы, вероятно, сделали бы, если бы к нам пришел и сам Лев Николаевич. Вдруг Гусев озмутился и начал нас бранить, поспорил с Сашей, хлопнул дверью и ушел. казывается, мы пели песню со словами, которые Гусев счел «безнравствеными»; мы же по своей наивности даже и не вдумывались в их смысл.

После обеда большею частью опять все расходились по своим комнаам и делам. Дедушка уходил в кабинет и уже в эти часы не писал, а читал, часто двери из залы к нему в комнаты оставались полуоткрытыми; только зредка он оставался говорить с кем-нибудь или сыграть партию в шахматы.

В эти часы до чая Саша обыкновенно переписывала для деда и, если е успевала сделать всей работы, то писала еще и после вечернего чая, к которому все собирались снова в залу после 9 часов.

Бывало, дедушка выйдет из кабинета с книгой в руке и предложит рочесть вслух то, что ему особенно понравилось. Все рассаживались, брали

свои работы, шитье или вязанье, а кто — карандаш, чтобы зарисовать кого-нибудь из присутствующих. Бабушка сейчас же спешила принести свою работу.

Дедушка внятным, приятным, мягким, немного звенящим голосом читал вслух. При простых и искренних описаниях природы или переживаний он вдруг останавливался. У него подступали слезы, и от нахлынувших на него чувств он не мог сам продолжать чтения. Тогда он передавал книгу соседу, указывая пальцем место, на котором он остановился. Через несколько минут, когда место, тронувшее его, было прочтено, он вновь брал книгу и оканчивал чтение, а иногда чтение прерывалось таким образом несколько раз.

К несчастью, я не помню читавшихся авторов; остались в памяти только Семенов и Чехов.

Должна сказать, что в то время я была так молода, что совершенно не понимала тех мест, которые волновали деда, хотя сама тоже способна была плакать над трогательными эпизодами в книгах.

Музыка также очень действовала на деда. Часто в Ясную поляну приезжали музыканты, и тогда целыми вечерами мы слушали настоящие концерты. Дедушка заливался слезами, слушая какое-нибудь музыкальное произведение. Чаще других бывал и играл Гольденвейзер, которого обласкала и пригласила в дом бабушка Софья Андреевна.

Помню, как дедушка сквозь слезы, расстроенный, шамкая, говорил и восхищался музыкой; всего больше он ценил музыку простую и понятную для каждого. Замысловатая изощренность была ему чужда.

Дедушка с удовольствием слушал пение моей матери, у который был очень хороший голос, любил он и пение Татьяны Андреевны Кузминской, сестры бабушки Софии Андреевны, которая так же, как моя мать, никогда не брала уроков пенья, но пела хорошо, просто. Таким образом, часто составлялись импровизированные вечера пенья и музыки. Случалось, пела и я. При взрослых, особенно, если бывали чужие, петь было очень страшно, но отказываться было невозможно и, если просили петь, то плохо ли, хорошо ли, но надо было начинать. Иногда появлялись гитары, и мы пели цыганские романсы и дуэты с Сашей и дядей Мишей Толстым, иногда и с дядей Андрюшей; они учили нас старинным романсам и песням, которые и Лев Николаевич слушал с удовольствием. Дедушка говаривал, что, чем глупее слова в песне, тем лучше — на смысл слов нечего обращать внимания. Так мы и пели, как птицы, и очень увлекались песнями, которые звучали для нас чем-то новым.

Дедушка никогда не хвалил, косвенно же я чувствовала его похвалы через похвалы дяди Миши Сухотина, мужа тети Тани, который всегда восхищался моим пением, а дедушка при этом своим молчанием и улыбкой словно присоединялся к его мнению.

Видно было, что дедушке приятно слушать, приятно даже наблюдать за нами; вообще же в обращении с нами он был скорее суров. Он не позволял себе никаких нежностей, но при сдержанности и молчании мы чувство-

вали его ласку к нам и большое внутреннее тепло. Иногда один его взгляд показывал, что не нужно так поступать или так говорить: видно было, что, не спрашивая нас, он все понимает и в нашем поведении, и в наших переживаниях. Часто мне казалось, что ему в тягость наша молодость, наше веселье, я видела, что он с сожалением смотрит на наше будущее, полное тех ошибок, которые им уже изведаны на собственном опыте и которыми он сам так мучился, изживая их.

Однажды, возле круглого стола в зале, он начал спрашивать меня, какую роль в жизни у меня играет тело. Я, конечно, было очень смущена таким вопросом, но дедушка пояснил мне, что для него с возрастом все понятнее и понятнее становится мысль о раздельности души и тела, что он ясно чувствует, как тело его удерживает и мешает ему, а душой он уже отделен от тела, которое является только футляром, обременительным для него, но что я по молодости не могу этого понять и что это ощущение может притти ко мне только с возрастом.

Впрочем, иногда у самого деда его «старые дрожжи» давали себя чувствовать.

Как-то приехали в Ясную поляну соседи-гости и с ними очаровательная дама Мэри Б., в которую был без ума влюблен дядя Андрюша. Бабушка сидела за самоваром, дедушка — направо от нее, а Мэри — напротив деда, и они о чем-то разговаривали. Разговора на расстоянии слышать было невозможно, но бросалась в глаза их красивая светская манера, их умение заставить своего собеседника очароваться тобой. Дядя Андрюша отвел меня в сторону к гостиной и показал мне издали на эти две улыбающиеся головы, которые действительно были очаровательны, и я убедилась в уменьи дедушки быть любезным и светским. Он, как паук паутиной, завораживал своей простотой, изысканностью, ясностью слова, чистотой движений, их размеренностью и какими-то внутренними чарами.

Так он умел вести себя на различных празднествах, при большом количестве посторонних людей, на новогодних встречах, когда у всех бывало приподнятое веселое настроение и он не хотел нарушать общей радости.

Помню встречи Нового года в Ясной поляне, когда устраивали большой ужин, подавалось шампанское, на столе горели свечи, все — нарядно одетые — бегали с записочками, карандашами, потом без пяти минут двенадцать садились за стол и ждали боя часов, стоящих на лестнице. Большие, высокие часы медленно с глухим внутренним шумом и каким-то придыханием начинали бить двенадцать. После шума и волнений наступала тишина. Надо было написать желание и успеть его проглотить, чтобы желание исполнилось. Бабушка тоже писала, низко наклонившись над записочкой. Потом все шумно вставали, подходили к старшим чокаться, поздравляли друг друга. Дедушка сидел и смотрел на всех со снисходительной, доброй улыбкой, и тут не было совестно перед ним за свое возбуждение и жизнерадостность.

XI.

К своим четырнадцати годам я окончательно сложилась и постоянно мучилась мыслью о своей громоздкости; меня всячески дразнили по этому поводу, — и ко всему этому однажды дедушка, увидав меня на площадке лестницы, потрепал меня по плечу и сказал: «Да ты вдова Чистоплюева, у которой девять человек детей». И ко всем прозвищам: ипопо — там, ипопо — где?, буксирный пароход Ганс — прибавилось еще новое — «вдова Чистоплюева»; и откуда только дед его выдумал, мне на муку!

Прозвище же буксирного парохода мне было навязано следующим образом. Дядя Сережа постоянно спрашивал меня: Hans, mein Sohn, was machst du da? Почему-то отсюда меня начали называть «садовник Ханс», который действительно долгое время служил в Ясной поляне, но со мной ничего общего у него не было. Потом Сережа Сухотин [1]) был в плавании и встретил в море буксирный пароход «Ганс», обрадовался ему, как родному, потому что вспомнил меня; после этого меня стали называть «Буксирный пароход».

Ко дню рожденья деда 28 августа 1903 года мы с Сашей вернулись в Ясную поляну от тети Тани Сухотиной-Толстой из Кочетов Орловской губ.; мы почти ежегодно проводили там недели две в августе, когда туда собирались все члены семьи Михаила Сергеевича — мужа тети Тани. Пасынки тети Тани были нашими ровесниками, и мы были с ними очень дружны. Саша была дружна с Мишей, а я — с Сережей. Мы судили и рядили и о воспитании, и о нравственности, у нас были свои невинные секреты, которые мы должны были хранить; относились мы друг к другу очень бережно. В Ясной я встретилась со своим отцом и попросила его найти минутку, чтобы рассказать ему о своих отношениях и спросить разрешение вести переписку с Сережей; он жил зимой в Петербурге, а я в деревне.

В этот день приехало в Ясную очень много народа, чтобы чествовать Льва Николаевича по поводу его 75-летия; только под вечер мне удалось с отцом уединиться в аллее и поговорить. Я в восторге от первого своего серьезного разговора с отцом побежала искать Сашу. А отец мой, возвращаясь домой, встретился с дедом.

Дедушка спросил его:

— Ты откуда, Илюша?

— Я с Анночкой был, она мне рассказывала о Сереже.

— А у меня Саша была и говорила о Мише, — сказал дедушка, и оба отца были горды за нас и тронуты нашим откровенным отношением к ним так, что прослезились.

Об этом разговоре с дедом рассказывал мне спустя несколько лет мой отец.

Мы общались с молодыми людьми очень непосредственно и просто; малейшее кокетство или желание нравиться высмеивалось и порицалось.

---

[1]) Пасынок Татьяны Львовны Сухотиной-Толстой.

Дедушка всегда очень беспокоился о нашем поведении и отношениях и зорко наблюдал за нами, постоянно боясь, что мы или возбудим к себе влюбленность, возьмем на себя известную ответственность за свое поведение, или скомпрометируем себя, возбудим дурные чувства, или, наконец, сами влюбимся.

Один раз я сидела в ремингтонной комнате и писала на машинке, — в Ясной для всех была работа. Вошел дедушка. Постоял, посмотрел и ушел. Не прошло и получаса, он входит опять, и, опять ничего не сказав, выходит. Наконец, снова пришел, постоял и, когда я спросила, не нужно ли ему чего-нибудь, он сказал: «Скажи, пожалуйста, ты кокетничаешь с Мишей? Меня это очень беспокоит». Я подумала и ответила ему вполне определенно. Дедушка конфузливо поблагодарил меня за искренний ответ и вышел, а я опрометью полетела к Саше, чтобы обсудить с ней мой ответ деду и определить, достаточно ли он был правдив и точен.

Я всю жизнь чувствовала смущение перед дедушкой; с ним говорить надо было, как с самой собой, как перед лицом своей собственной совести; ответ должен был быть такой, чтобы было чувство, будто ты наизнанку вывернулась, потому что в ответе он слышал не только слова, а всю внутреннюю жизнь человека целиком. Каждое обращение дедушки ко мне заставляло меня всю подобраться, напрячь моментально все свои силы ума и сердца, чтобы быть точной и правдивой до конца.

Мне пришлось раза два ходить за дедушкой, когда он болел.

В первый раз это было по возвращении из Крыма, после тяжелой его болезни 1902 года. Он лежал в кровати, немного читал и работал; меня посадили в гостиной, чтобы он мог послать меня за старшими или обратиться ко мне за какой-нибудь услугой или помощью. Помню, что я сидела на кушетке, читала «Записки из Мертвого дома» Достоевского и была страшно горда и преисполнена заботой и вниманием к тому, что я могла услышать в комнате дедушки. Я помогала ему мыться, причесывала голову; в черепе над ушами у него были такие углубления, что частым гребешком никак нельзя было прочесать даже кончиком. Помню, как он брезгливо относился к себе и не хотел многого позволить для себя сделать; когда же было необходимо, чтобы я сделала для него что-либо неприятное, он морщился и страдал от своей старости и тяготился услугами.

Второй раз пришлось мне ухаживать за ним в 1908 году весной, когда у него начались обмороки. Первый обморок, который очень напугал нас всех, был в страстную субботу; мы как раз решили пойти пешком к заутрене. Дедушка, как всегда, вышел к обеду после прогулки и отдыха, но не мог говорить, у него путались слова и имена. Все старались говорить за обедом так, чтобы не вовлекать в разговор дедушку, никто не мог понять, что с ним случилось, и все были напряжены и взволнованы. После обеда уговорили дедушку лечь в постель, стали очищать ему желудок, уговаривали его не волноваться и не стараться об'яснять свои желанья.

Надо было видеть волнение и беспомощность Душана Петровича: он растерялся, у него тряслись руки, и только твердые слова окружающих по-

будили его сделать все нужное для больного. Дедушка скоро оправился, сознание и речь вернулись, некоторое время у него оставалась большая слабость, но он уже работал и жил обычной жизнью.

Спустя несколько дней, когда о первом приступе понемногу начали уже забывать, я, посоветовавшись с Сашей, решила поговорить с дедушкой о личных вопросах, которые меня тревожили. После обеда, постояв в волнении и нерешительности за дверью, я постучала к нему в кабинет и вошла. Когда я начала говорить, то увидела, что глаза его мутны, беспомощны, сказать он ничего не может, хотя, как будто, и старается заговорить. Я тихо, тихо вышла обратно и, помню, носилась по всему дому, разыскивая Душана Петровича. Он оказался вызванным к больному в соседнюю деревню; я стала искать Сашу, которая тоже ушла куда-то из дома; оказавшись в безвыходном положении, я должна была сама приняться за помощь больному. Дедушка просил меня сделать ему впрыскивание морфия, и вот я со шприцем в руках над спиной дедушки должна была решиться сделать укол. Это было так страшно и ответственно, что я до сих пор с содроганием об этом вспоминаю.

К счастью, все прошло благополучно.

XII.

Обмороки эти были у деда весной; летом я вышла замуж [1]). На другой день после восьмидесятилетнего юбилея деда мы приехали в Ясную поляну.

Я чувствовала большую неловкость предстать перед стариками с мужем. Все были очень любезны и милы к нам, несмотря на то, что до свадьбы много обсуждали и говорили, хорошо ли это, да нужно ли, да из какой он семьи; даже дедушка с бабушкой весной как-то остановили меня в зале и спросили о моем будущем муже, кто его родители и родственники; начали они вспоминать о матери моего мужа, которую знали, припомнили, что дедушка был дружен с дядьями мужа Александром и Дмитрием [2]) и что Александр был ближе дедушке, а что Дмитрий был всегда честолюбив и горд. Дедушка несколько раз говорил о моем замужестве и все советовал, что лучше бы было, если бы я не выходила замуж и не вступала на путь этой жизни, но я никого не послушала.

Бабушка встретила нас перед домом и сказала нам, что мы должны беречь наши отношения, что мы только начинаем наш жизненный путь вместе и что в настоящую минуту он представляет из себя белый лист бумаги; каждая малейшая ссора будет маленьким надрывом на этой бумаге, большие ссоры будут глубже разрывать новый лист, и, чем меньше мы будем дорожить нашими отношениями, тем скорее изорвется наш лист и будет приведен в полную негодность.

Дедушку мы увидали только к вечеру в зале. У него болела нога. Он лежал на кушетке у противоположной от двери стены. Моего мужа охватил

---

[1]) За Николая Андреевича Хольмберга.

[2]) Горчаковыми.

трепет, которого раньше он ни перед кем не испытывал. Мы подошли к старику, который посадил нас поближе к себе и начал с нами говорить. Прежде, чем что-либо спросить, он сказал нам, что в наших руках уберечь наши отношения, что мы должны относиться с большим уважением к каждому желанию и движению друг друга, и тогда только мы сможем продлить наши дни совместной жизни. Потом он спросил нас, много ли мы ссорились за то короткое время, что прожили вместе, и, получив исчерпывающие сведения, кажется, остался удовлетворенным.

С каждым моим приездом я видела в дедушке все больше и больше отрешенности от общей жизни, мне ясно представлялось, что он душой уже оторвался от всех человеческих переживаний и живет совсем отдельно, замкнувшись в самом себе, плохо уясняет себе нашу общую шумную, стремительную жизнь, что ему даже не хочется возвращаться к этой действительности.

XIII.

Не могу не сказать несколько слов о бабушке, Софии Андреевне, которую, с первых своих впечатлений о ней, помню деятельной, озабоченной и ласковой, особенно к нам, внукам.

Довольно регулярно бабушка приезжала к нам в деревню два раза в год: на Рождество делать елку и летом ко дню рожденья дяди Сережи 28 июня. Дядя Сережа жил в Никольском-Вяземском в шести верстах от нашей Гриневки, так что мы постоянно видались и общались с ним.

Приезжала бабушка к нам радостная, веселая, оживляла всех; привозила с собой подарки всем нам, нашим служащим, матери моей, отцу, обо всех умела подумать и всем угодить своим выбором. За бабушкой высылались лошади, а отдельно от тройки отправлялась подвода под вещи, и было хлопотливым делом откупорить все привезенные ящики в доме; бабушка при этом помнила, какой ящик из какого магазина и сама неутомимо рылась во всех вещах и распределяла все сама. К елке, например, бабушка привозила не только подарки, украшения и конфекты, но даже многое из еды, так что отдельный ящик приезжал с провизией.

Бабушка долгое время оставалась очень моложавой. Она любила хорошо одеваться, платья ее были нарядны, сшиты из красивой матери, и все же она одеваться не умела. Когда ей надо было где-нибудь в зале достать билеты или деньги, то она приподнимала платье и доставала их из нижнего шелкового чехла. Очень странно было видеть ее в больших залах Консерватории или Дворянского собрания, куда мы ездили вместе в концерты и где она совершенно так же, как дома, поспешно, на-ходу приготовляла билеты для контроля.

Делала она все очень быстро и ловко, несмотря на свою близорукость, которая ей, конечно, очень мешала. Бывало, надо поправить картину, которая висит боком; не успеешь оглянуться, как бабушка уже вскочит на стул, поправит и оттуда ловким движением соскочит, как маленькая девочка. Для детей она сама шила куклы, одевала их в шелковые тряпочки, я не

любила кукол, и поэтому куклы ее работы переходили в руки моих братьев; помню прекрасно куклу-мальчика ее работы в плисовых штанах и красной рубашонке. Мой брат долго не расставался с этой куклой и очень ее любил. Также вырезала бабушка куколок из бумажек и раскрашивала их, они оживали в ее руках, гуляли, наряженные в шляпках, с ними случались целые длинные истории, которые она прекрасно рассказывала; если бабушка занималась с детьми, то это было интересно не только детям, но и взрослым. Каждая куколка, окрашенная в особый цвет, имела свою занимательную жизнь с переживаниями и приключениями.

Очень изменила бабушку смерть Ванечки. Она не стала так заботлива и внимательна ко всем, вид у нее был долгое время усталый, и, пожалуй, эта усталость осталась до конца ее жизни.

Помню, как в спальне бабушка, мама и я сидели и работали. Бабушка рассказывала моей матери о Ванечке, о его болезни, о том, что он говорил, как он болел, и обе они тихо переживали это тяжелое горе. Во время рассказа у бабушки упала катушка и покатилась под столик, накрытый скатертью. Я полезла под стол, чтобы поднять катушку, и предпочла остаться под столом и скатертью, чтобы дать там волю своим чувствам и поплакать о всем мною слышанном. Мне кажется, никогда я так горько не плакала как об утере Ванечки.

Работы у бабушки бывали всегда самые разнообразные. Она сама шила деду блузы, белье, метила, чинила и делала все просто, как будто незаметно для себя. Не буду говорить, какой интерес представляли для нас ее ящички с разноцветными катушками, бесконечным количеством пуговиц самых разнообразных, как интересны мне были все ее работы и как всегда я чувствовала полную беспомощность перед ее огромной энергией и трудоспособностью. Она была всегда занята. Утром она записывала расходы, приводила в порядок вещи, мерила платья, которые постоянно шились и перешивались. Напившись кофе, она начинала играть гаммы, или бежала — про нее нельзя сказать, что она ходила—с масляными красками зарисовывать пруд, аллею, грибочки, травки, цветочки, дом, то она что-то писала, почти ежедневно делала записи в дневнике, то она приводила в порядок разбросанные книги, потому что все брали книги из шкапов, а убирала их только бабушка, постоянно волнуясь и горюя, что книги разбрасываются, воруются и никем в порядок не приводятся; то приходили корректуры, и она с утра садилась в гостиной, рядом с кабинетом деда, и занималась. Часто бабушка жаловалась, что глаза очень устают и болят. В последний мой приезд в Ясную поляну бабушка сидела в больших темных очках и ничего не видела, а чтобы разглядеть мое лицо, она взяла его в руки и, вплотную приближаясь к нему глазами, разглядывала его. Это было за несколько дней до ее смерти.

Долгое время бабушка увлекалась фотографией и всех снимала. Проявляла она в темном чуланчике, где был ход на чердак; тогда она бегала в большом ситцевом фартуке, и постоянно у нее были черные ногти от вираж-фиксажа.

Неутомима она была поразительно. После непрерывной работы до 4-часового чая, она собирала желающих итти с ней гулять или итти по грибы, и до обеда, бывало, ходишь с ней далеко за Чепыж, за елочки, о которых каждый раз она говорила: «А вот эти елочки мы с Ванечкой сажали. Вот уж как они выросли. Теперь и Ванечка был бы совсем большой». Когда бабушка шла купаться, она делала это тоже, как какое-то дело. Для головы она брала с собой особенный чепчик, надевала на себя юбочку, когда влезала в воду и, тихо и мерно отдуваясь, плыла до известного места и возвращалась, довольная тем, как она выкупалась.

Когда уже все расходились спать, бабушка все продолжала хлопотать — заказывала завтрак и обед на следующий день, составляла список покупок, если случалась оказия в Тулу; что-то двигала у себя в комнате и спать ложилась позднее всех. Вставала она не раньше девяти-десяти, а то и одиннадцати часов и выходила пить кофе только к общему завтраку к 12 часам.

Всех ее забот и хлопот не расскажешь и не припомнишь, но вот что хочется отметить. Каждый вечер зимой и летом к ней приходил управляющий или приказчик и докладывал о состоянии работ в имении. И каждый день можно было видеть скучающее лицо бабушки, стоящей перед приказчиком, который говорил ей что-то, а она должна была выслушивать и вести хозяйство, потому что машина была громоздка и велика и столько требовала силы, что бабушке, волей-неволей, приходилось самой за всем следить. Бабушка отдавала распоряжения, каких лошадей запрягать, куда ехать на одних, куда — на других, когда начинать молотить, рыть картошку или пахать; хозяйство шло плохо, потому что не было настоящего глаза и приказания отдавались из передней. Этим дело и ограничивалось. Хозяйством бабушка явно тяготилась, много раз жаловалась на невозможность его вести, но передать было некому, и приходилось ей самой все тянуть, добавляя деньги, не получая никакого дохода и испытывая тягость от всего этого.

Переменить что-нибудь в хозяйственном обиходе было невозможно, потому что все считали, что имеют право приезжать, говорить с Львом Николаевичем и не думать о том, что простыни стелятся чистыми, кто-то их стирает, обед готовится, платья чистятся и т. д.; все услуги всегда принимались, как должное, и родными, и посторонними, и «толстовцами», которые считают своим долгом осуждать бабушку; на самом деле «толстовцы» никогда не сделали ничего, чтобы не принимать в Ясной поляне тех услуг, которыми пользовались все и от которых, в конце концов, уставала и прислуга, и бабушка, — слишком много требовалось внимания для посторонних, и никакого удовлетворения от этого напряжения не получалось. Особенно ясно это бросалось в глаза, когда семья в последние годы жизни Льва Николаевича стала меньше; в Ясной жили только дедушка, бабушка и Саша, а за стол садилось все много народа. Все те же два лакея подавали к столу, все те же прачки стирали белье, все те же бесконечные кастрюли кипели на плите; Семен Николаевич в белом колпаке стряпал и мясное и

вегетарианское; в маленькой избушке на дворе пекся хлеб, делался квас и все хлопотали и работали, чтобы обслужить всех приезжающих и живущих, большею частью посторонних людей.

Нельзя осуждать бабушку, что она не упростила всей жизни. Тогда, при деде этого сделать, по-моему, было невозможно. Когда я приезжала к бабушке после смерти Льва Николаевича, все стало еще проще и скромнее. На стол уже не подавали лакеи и блюда не разносились, а ставились среди стола и каждый брал себе; Семен Николаевич — повар — ушел на покой, и только потому, что приезжающих стало мало, почти никто не ночевал из посторонних и не нарушал тишины; «толстовцы» перекочевали к Черткову.

Жизнь стариков в Ясной поляне надломилась.

Дедушка был стар, слаб, часто беспомощен, окружающие друзья его не замечали той тяжелой и мрачной атмосферы, которая создавалась вокруг него, атмосфера лжи, скрытности, вынести которую деду по его натуре было не под силу. Друзья его радовались решению дедушки уйти, а для всей семьи было ясно, что уход его это — конец.

XIV.

Я бы не хотела, да и не могу, разбираться во всех сложных мотивах ухода дедушки. Я знаю только, что он жалел бабушку до конца, и до конца он считался с ней в тайниках своей души.

9 ноября 1910 года я приехала из Калужской губ. на ст. Засеку рано утром в переполненном поезде. В вагоне сидели на лавочках по четыре-пять человек, в проходах стояли, площадки были все заняты, все разговаривали, волновались. Я не сразу поняла, что все эти люди ехали тоже на похороны.

Выйдя из вагона, я поразилась тишиной на станции, возле станции и везде кругом.

Вагон с телом должен был прибыть через несколько минут из Астапова с целым поездом сопровождавших друзей и родных.

Казалось, сама природа Засеки, все родные места замолкли, чтобы принять умершего снова в свое лоно.

Большая толпа стояла около путей, на горе, над оврагом и словно замерла, когда беззвучно подкатил поезд. Паровоз прошел без шипенья и без гудка, и только дверь открывающегося товарного вагона тяжело и глухо зашумела, и звук этот раскатился по лесу за овраг.

Я видела издали, как бабушка выходила из вагона и на меня напал такой ужас перед ее горем, что мне трудно было подойти к ней и поздороваться.

Гроб приняли на руки и понесли.

Первый раз в жизни я видела толпу в несколько тысяч человек, соединенных одной мыслью, одним чувством. Все ненужное в этой толпе — наряды полиции, фотографы, кино — было незаметно. Все шли в полном порядке, все были в одном настроении. На узеньких мосточках предупре-

ждали, что можно провалиться, если сразу хлынет много народа, и толпа растягивалась и рассыпалась по большаку.

Гроб внесли в дом и поставили в библиотеку, из которой вынесли все вещи. Мой отец вышел на террасу и просил всех приехавших обождать и дать один час времени для прощания семье и близким.

Тетя Таня не подходила к гробу и не хотела смотреть на мертвое лицо отца, чтобы оставить в памяти образ живым и нетронутым. Она все стояла в передней у вешалки.

Когда вереницей из передней в балконную дверь библиотеки стали проходить все приехавшие, я была по правую сторону гроба около свободной стены.

Ко мне подошел Дмитрий Васильевич Никитин, доктор, который одно время жил в Ясной и после этого в продолжение многих лет лечил дедушку. Он обратился ко мне с волновавшим его вопросом. Со дня кончины дедушки Дмитрий Васильевич получил несколько телеграмм с разных сторон, из Петербурга, из Москвы и, кажется, даже из-за границы с просьбой вынуть мозг Льва Николаевича. За вынутие мозга предлагались деньги. Видимо, Дмитрий Васильевич очень страдал. Он сказал, что не может поднимать об этом вопроса, и что для него лично этот поступок не мыслим.

Уже стало смеркаться, когда тело понесли к приготовленной могиле. Место было в лесу, над оврагом, в начале Заказа.

Казалось, небо повисло над нами.

Сперва толпа вся примолкла и затихла, как будто, подойдя к могиле, перестала дышать. Два человека порывались что-то говорить над могилой, но речи были ничтожны, ненужны и поэтому кратки. Когда опять все замолкло, то тихо и стройно запели «вечную память». Вся толпа, как один человек, стала на колени. Гроб опустили в могилу. Дядя Андрюша, стоявший рядом со мной, несколько раз перекрестился. Зашумела мерзлая земля о крышку гроба.

Бабушка Софья Андреевна наклонилась над темной могилой; брат моей матери, Владимир Николаевич Философов, который не отходил от нее в продолжение нескольких последних дней, держал ее за конец шубы, но она тихо сказала: «Ты не бойся, Вака, я ничего не сделаю».

Звук стал мягче, могила стала наполняться землей, опять все опустились на колени, и опять понеслась «вечная память», разносившаяся из уст тысяч людей в тишине вечера на далекое расстояние, за речку Воронку, в Засеку.

Когда стали постепенно все расходиться и было уже совсем темно, в воздухе еще стояли звуки мощного пенья. Даже ночью, когда все затихло и все люди спали, я словно слышала в окружающем дыханьи, в тишине замершего дома все то же стройное и величественное пение «вечной памяти», заполнившее всю округу.

Мой отец в семидесятых годах.

(Из воспоминаний).

С. Л. Толстой.

Предлагаемый очерк есть один из «Очерков былого», книги, которую я пишу и надеюсь когда-нибудь издать. Этим очерком не исчерпываются мои воспоминания об отце за 70-е годы. Некоторые мои воспоминания о нем, связанные с жизнью нашей семьи, войдут в следующий отдел «Очерков былого», в котором я излагаю «Жизнь нашей семьи до 1881 года».

При чтении нижеследующих страниц следует помнить, что Л. Толстой до перелома в его мировоззрении, происшедшего в конце 70-х годов, во многом был не тем человеком, каким был впоследствии и каким он представляется людям, не знавшим его в те времена.

I.

В детстве у нас, троих старших, т. е. у меня, сестры Тани и брата Ильи, было совсем особенное отношение к отцу, иное, мне кажется, чем в других семьях. Для нас его суждения были беспрекословны, его советы — обязательны. Мы думали, что он знает все наши мысли и чувства и только не всегда говорит, что знает. Я плохо выдерживал взгляд его пытливых небольших стальных глаз, а когда он меня спрашивал о чем-нибудь, — а он любил спрашивать о том, на что не хотелось отвечать, — я не мог солгать, даже увильнуть от ответа, хотя часто мне это хотелось.

Мы не только любили его; он занимал очень большое место в нашей жизни; и мы чувствовали, что он подавляет наши личности, так что иной раз хотелось вырваться из-под этого давления. В детстве это было бессознательное чувство: позднее оно стало сознательным, и тогда у меня и у моих братьев явился некоторый дух противоречия по отношению к отцу.

В детстве наше первое удовольствие состояло в том, чтобы отец так или иначе занимался с нами, чтобы он взял нас с собой на прогулку, по хозяйству, на охоту или в какую-нибудь поездку, чтобы он нам что-нибудь рассказывал, делал с нами гимнастику и т. д. Он не был ласков с нами обычными способами: поцелуями, подарками, ласковыми словами, редко дарил игрушки; но мы всегда чувствовали его любовь к нам и доволен ли

он нашим поведением. Если он назовет меня «Сергулевич» вместо обычного «Сережа», это была уже ласка. А то он, бывало, тихонько подойдет сзади и, молча, закроет мне глаза обеими руками. Угадать, кто это сделал, было нетрудно. Или он возьмет меня за обе руки и скажет: «Лезь на меня». Я карабкаюсь по его телу до самых плеч, он меня подтягивает за руки, и я сажусь или становлюсь на его плечо. Тогда он, поддерживая меня, пройдется по комнате, потом как-то сразу перекувыркнет вниз головой, и я опять становлюсь на ноги. Мы очень любили эти телодвижения, и, если отец проделает их с одним из нас, например со мной, то сейчас же сестра Таня или брат Илья закричат: «И меня, и меня!».

Мы находили особую прелесть даже в запахе отца, в запахе его фланелевой блузы, здорового пота и табака; в то время он курил.

Одно из наших любимых занятий с отцом была гимнастика. Начиналось это так: мы становились в ряд, отец перед нами, и мы должны были в точности подражать его движеньям: ритмически поворачивать голову направо, налево, вверх и вниз, сгибать и разгибать руки, подымать и опускать поочередно правую и левую ногу, приседать, кланяться, не сгибая колен и доставая землю руками, и т. д. Затем гимнастика делалась на барах и на реке. Был также козел, через который мы прыгали.

Вообще отец придавал большое значение физическому развитию тела. Он поощрял гимнастику, плавание, бегание, всякие игры, лапту, городки, бары и особенно верховую езду. Иногда на прогулке он скажет: бежим на перегонки. И все мы бежим за ним.

Известно, как мы изображали «нумидийскую конницу»: отец вдруг вскакивал из-за стола и, помахивая поднятой рукой, бежал вокруг стола, и все мы, также подняв руку, бежали за ним. Почему это называлось нумидийской конницей, никому, в том числе и моему отцу, было совершенно не известно. Нумидийская конница действовала освежающе на настроение, особенно после скучных гостей. Ее привез из училища правоведения дядя Степа Берс; не знаю, какое было ее символическое значение в этом училище.

Отец очень редко наказывал нас, не ставил в угол, редко бранил, даже редко упрекал, никогда не бил, не драл за уши и т. п., но, по разным признакам, мы чувствовали, как он к нам относится. Наказание его было — немилость: не обращает внимания, не возьмет с собою, скажет что-нибудь ироническое. В нашем детстве или даже позднее, в зависимости от нашего поведения, а иногда и без видимой причины, у него были временные любимцы, то один из нас, то другой. Постоянных любимцев у него не было. Только позднее, когда уже мы были взрослыми, он больше всего ценил сочувствие его взглядам. Повидимому, у него не было особой системы воспитания. Он делал замечания, намекал на наши недостатки, иронизировал, шуточкой давал понять, что мы ведем себя не так, как следует, или рассказывал какой-нибудь анекдот или случай, в котором легко было усмотреть намек.

Иногда он раздражался и возвышал голос, особенно во время уроков с ним, — одно время он учил меня математике и греческому языку, — но

я не помню, чтобы он при этом употреблял грубые слова; случалось только, что он прогонял меня с урока.

Больше всего он был недоволен нами за ложь и грубость с кем бы то ни было — с матерью, воспитателями или прислугой. Но иногда он делал замечания по менее серьезным поводам. Например, он замечал, когда мы ели с ножа или резали рыбу ножом; в известном обществе это считалось и теперь считается дурными манерами; в прежнее время этому приписывалось некоторое значение. Так в «Анне Карениной» Анна говорит про кого-то: «Он не то, что нигилист, а ест с ножа».

Когда я сутуловато держался, он скажет: сядь прямо или подтолкнет мне спину. Или, заметив, что я стремился участвовать во всяких играх и увеселениях, слушать разговоры, которые меня не касались, вообще совать свой нос куда не следует, — говаривал: — Ты все боишься п р о п у с т и т ь, т. е. пропустить случай получить удовольствие, или узнать что-нибудь интересное. Он действительно подметил черту моего характера, которая впоследствии приводила меня к тому, что я нередко интересовался и занимался не тем, чем следовало.

Когда кто-нибудь из нас рассказывал что-нибудь такое, что должно было казаться смешным или остроумным, и сам при этом смеялся, отец говорил: есть три сорта рассказчиков смешного: низший сорт — это те, которые во время своего рассказа сами смеются, а слушатели не смеются; средний сорт — это те, которые сами смеются и слушатели тоже смеются, а высший сорт — это те, которые сами не смеются, а смеются только слушатели. Вообще он советовал, когда рассказываешь что-нибудь смешное, самому не смеяться, а то вдруг у слушателей сделаются скучные лица, и станет неловко.

Когда я тщился острить и каламбурить, он говорил: твои остроты — вроде лотереи. Редко выпадает выигрыш, а все больше пустой билетик с надписью «аллегри». И на какую-нибудь мою глупость, претендующую на остроумие, он бывало скажет: «аллегри!» или «не вышло!».

Когда я делал что-нибудь нечаянно, — разобью посуду, разорву или запачкаю свое или чужое платье, забуду данное мне поручение — и оправдываюсь тем, что я это сделал нечаянно, то он бывало скажет:

— Вот за то я тебя и упрекаю, что ты это сделал нечаянно. Надо стараться ничего нечаянно не делать.

Еще он говорил:

— Если ты что-нибудь делаешь, делай это хорошо. Если же ты не можешь или не хочешь делать хорошо, лучше совсем не делай.

В 60-х и 70-х годах, до «кризиса», отец был во многом не тем, каким он был впоследствии. Тогда он был жизнерадостен, властен и гордился своим аристократизмом.

Сохранился проект его ответа критикам, упрекавшим его в том, что в «Войне и мире» он писал только о высшем обществе. Там он писал: «Я принадлежу к высшему сословию общества и люблю его. Я не «мещанин», как смело говорил Пушкин, а смело говорю, что я аристократ и по рожде-

нию, и по привычкам, и по положению». Далее он говорит, что он аристократ потому, что ему не совестно вспоминать своих предков, что он воспитан с детства в «любви к изящному, выражающемуся не только в Гомере, Бахе и Рафаэле, но во всех мелочах жизни», «потому что ни отец, ни дед мой не знали нужды и борьбы между совестью и нуждой» и «ежели это счастье принадлежит не всем, то из этого я не вижу причины отрекаться от него и не пользоваться им».

В моем детстве аристократизм во взглядах отца чувствовался, хотя прямо им не высказывался. Более определенно он высказывался матерью. Само собой подразумевалось, что как сам Лев Николаевич, так и мы — его дети — не должны были быть такими, как все, как большинство людей. Он приписывал некоторое значение наследственности, но под аристократизмом он подразумевал прежде всего благовоспитанность в лучшем смысле этого слова, чувство собственного достоинства, образованность, сдержанность, великодушие и т. п. Вместе с аристократизмом в нем всегда совмещалось особое уважение, любовь даже, к крестьянству — к нашим кормильцам, как он всегда выражался, и это уважение он внушал и нам.

Впоследствии он отрекся от аристократии и, вероятно, постыдился бы, если бы вспомнил о тех строках, которые он, к счастью, не напечатал в ответ критикам «Войны и мира». Однако он никогда огульно не осуждал аристократизм, как это делают некоторые публицисты и непублицисты; в аристократизме он признавал не одну только отрицательную сторону. Он ненавидел б а р с т в о, а не аристократизм, а это не то же самое.

Отец не любил фамильярность в отношениях между друзьями и даже между родными. Он говорил: «Есть приятели, которые хлопают друг друга по ляжке и приговаривают: «Подлец ты мой любезный!» или «Ах ты милая моя каналья!». Это — амикошонство» (свиная дружба).

Примером к тому, что настоящая благовоспитанность состоит в том, чтобы облегчать, а не усложнять отношения с людьми, служил известный анекдот, как Людовик XIV, испытывая одного gentilhomme'а прославленного за свою учтивость, предложил ему войти в карету раньше его — короля. Тот немедленно повиновался и сел в карету. — Вот истинно благовоспитанный человек, — сказал король. — А когда Чичиков и Манилов толкутся в дверях, уступая друг другу дорогу, — говорил отец, — это нельзя назвать благовоспитанностью.

II.

Привычки отца в 60-х и 70-х годах были иные, чем впоследствии. Он курил насыпные папиросы, набитые для него моей матерью, перед обедом иногда пил домашний травник из маленькой серебряной чарочки и небольшую рюмку белого воронцовского вина, ел мясо и охотился. Несмотря на почти полное отсутствие зубов, он скоро ел и мало жевал; сознавая, что это вредно, он говаривал: «Pour se bien porter il faut bien marcher et bien mâcher» (чтобы быть здоровым, надо хорошо ходить и хорошо жевать).

Дома он не носил крахмальную рубашку и одевался в свою традиционную блузу, зимой — в серую фланелевую, летом — в парусинную; эти блузы кроила и шила ему одна старая дворовая Варвара, дочь его дядьки Николая, жившая на деревне, или моя мать. Но, когда он ездил в Москву, он надевал крахмальную рубашку и хорошо сшитый сюртук, заказанный у порядочного московского портного.

Распределение дня в продолжение нашей жизни в Ясной поляне до 1881 года было довольно правильно и мало изменялось с сентября по май, т. е. в те месяцы, когда отец писал и когда мы — его дети — учились. Летом время распределялось иначе — более разнообразно.

В учебные месяцы мы — дети и педагоги — вставали между 8 и 9 часами и шли пить кофе наверх — в залу. После девяти отец в халате, еще неодетый и неумытый, с скомканной бородой, проходил из спальни вниз в комнату под залой. Внизу он умывался и одевался. Если мы встречали его по пути, он нехотя и торопливо здоровался; мы говорили: — Папа не в духе, пока не умоется. — Затем он приходил в залу пить кофе. При этом он обыкновенно с'едал два яйца всмятку, выпустив их в стакан.

После этого он до обеда, т. е. до пяти часов, ничего не ел. Позднее, начиная с конца 80-х годов, он стал вторично завтракать в 2 или 3 часа.

Утром за кофе отец был мало разговорчив и скоро уходил в свой кабинет, взяв с собой стакан чая. С этого момента мы его почти не видели до обеда.

Моя мать вставала позднее, приходила в залу пить кофе часов в 11. Между 12 и 12½ подавался для нас — детей и педагогов — второй завтрак. Родители в этом втором завтраке обыкновенно не участвовали. Таким образом, самовар и кофе не сходили со стола от девяти до половины первого.

Когда отец писал, то ни он, ни его семейные не говорили, что он *работает*, а всегда *занимается*. До так называемого кризиса он летом мало *занимался*, давая себе отдых на три летних месяца. В остальное время года, кроме некоторых осенних дней, когда он иногда целый день охотился, он работал почти ежедневно. Когда он занимался, к нему никто не смел входить, даже моя мать: ему нужна была полная тишина и уверенность, что никто не прервет его занятий. Когда его кабинет находился в комнате с большим итальянским окном, обе двери — из залы и из гостиной — запирались. Даже в соседнюю комнату можно было входить только тихо и осторожно. В зале тогда играть на фортепиано нельзя было, так как отец говорил, что он не *может не слушать музыку, хотя бы еле слышную*.

Не помню, в какие годы кабинет был переведен вниз — в комнату под залой и — позднее — в комнату под сводами. А одно время, а именно в 1878 г., отец поставил себе избушку в Чепыже, куда летом уходил заниматься.

После занятий отец куда-нибудь уходил или уезжал верхом. Эти прогулки или поездки он делал или с известной целью, — по хозяйству, на

охоту, посетить кого-нибудь, на станцию и т. п., или же без определенной цели, большею частью в Засеку или на шоссе.

Эти прогулки без определенной цели были, может быть, самыми производительными, потому что на них он собирал материал для своих писаний.

Засека и шоссе были его любимыми прогулками.

Огромный казенный лес «Засека» [1]), с его просеками, малоезжими дорогами, чащами и оврагами, привлекал его своей дикостью, безлюдием, первобытностью и роскошью растительности. Туда он удалялся от мирской суеты, там он созерцал природу, почти нетронутую человеком, там он мыслил. Он особенно любил выбирать мало заметные тропинки, не зная, куда они приведут, и бывать в таких частях Засеки, где он раньше не бывал. В лесу, так же, как и в области мысли, он любил отыскивать новые пути. В этом он находил особую прелесть. Тропинки иногда прямо выводили его на горные пути, а иногда вели в чащу и глубокие овраги.

Другая любимая прогулка отца была по Киевскому шоссе.

---

[1]) Тульские Засеки, в существующих границах (около 35 000 десятин), представляют часть тех лесов, которые служили Московскому государству защитою от набегов рымских и ногайских татар. В XVI столетии, когда крымские татары неожиданно вторались, грабили, жгли и уводили в рабство жителей, московское цар кое правительство редприняло ряд мер для ограждения южных границ государства. Для этого оно посыало туда ратных людей, поселяло там служилых людей (помещиков) вместе с крестьнами и, пользуясь естественными условиями местности, возводило там укрепления. Іограничные леса — засеки — не рубились; только в середине лесной полосы прокапыался ров, по сторонам которого лес з а с е к а л с я, т. е. деревья подрезались так, чтобы бразовать непроходимое заграждение для татарской конницы. Лишь в некоторых метах для проезда оставлялись укрепленные ворота, ограждаемые вооруженными юдьми.

Когда надобность в защите от татар миновала, Засеки были обращены в казенные еса. Они были впервые распланированы при генеральном межевании земель в 1779 г., их стали эксплоатировать для нужд Тульского оружейного завода; впоследствии они ыли переданы в министерство государственных имуществ. Весь лес разделен прямыми росеками на кварталы.

Оборот рубки для этого старого леса был назначен многолетний, и до последго времени можно найти такие кварталы в Засеке, которые никогда еще не рубились; детстве же и юности Льва Николаевича бо́льшую часть Засеки можно было назвать вственным лесом. Дубы в Засеке не особенно толсты, но очень высоки. Выросши непрореженной лесной чаще, они побороли другие породы — осину, липу, березу и роч.— и вытянулись кверху.

После вырубки старых дубов на их месте вырастает необыкновенно густая поросль стоящая уже не из дубов, а из смеси дерев: на ссечке начинают расти осины, липы, ены, ясени, березы и только в малом количестве дубы. Поросль переплетается густой высокой, выше роста человеческого, травой и кустами паклена орешника, малины, бресклета и проч. и лес принимает еще более непроходимый дикий вид. Лишь за поедние годы Засеку стали прореживать и прочищать.

В Засеке водились, и теперь водятся, но в гораздо меньшем количестве, чем режде, такие животные, каких нельзя найти в других местах той же полосы России: кие козы, куницы, тетерева, барсуки, иногда лоси и др., не говоря уже о волках, йцах и лисицах.

Ясная поляна стоит на большом пути, ведущем с севера России на Украину, в Крым, к берегам Черного моря. Отец помнил время, когда шоссе еще не было, а была только «большая дорога» или «большак» [1]).

В его детстве, в полуверсте от «старой дороги», было выстроено так называемое Киевское шоссе, сократившее и улучшившее путь. Позднее, во время моего детства, в полуверсте от шоссе, — еще дальше от Ясной поляны, — была выстроена Московско-курская железная дорога.

Отец полушутя называл свою прогулку по шоссе выездом в «grand monde» (в великосветское общество) или прогулкой по Невскому проспекту.

В 60-х и 70-х годах по шоссе шло особенно много богомольцев и богомолок — в Киев, Соловки, Троицкую лавру, к Тихону Задонскому, в Оптину пустынь, в Старый Иерусалим и т. д. — и обратно. Отец говорил, что немногими из них руководило благочестие: люди ходили на богомолье по разным причинам: кому плохо жилось дома, кому хотелось повидать божий мир, кто шел потому, что паломничество уважалось, и т. д. Богомольцы и богомолки шли ровным и медленным шагом верст по 30 в день с котомками и узлами за спиной, в мягких чунях и обмотках; они шли обыкновенно по нескольку человек вместе, питались большею частью подаяниями, ночевали где придется, редко мылись и редко меняли белье. Один старик говорил мне про богомолок: «Весной баба идет тухлая».

Проходя большие расстояния и встречаясь с многими людьми, богомольцы распространяли народную поэзию, пословицы, сказки, легенды, влияли на народное воззрение и разносили разные слухи. Например, после убийства Александра II они распространяли слух, будто царь убит дворянами за то, что он освободил крестьян.

Отец говорил, что рассказы богомольцев заменяют народу литературу и даже газету. Он любил разговаривать с ними, идя по пути с ними или присев на краю дороги. Некоторые их легенды и рассказы превратились под его пером в художественные произведения... Знание быта рабочего народа, народного языка, местных наречий, северного, поволжского, украинского, многих поговорок и пословиц, — все это отец приобретал на шоссе.

Тут же проезжали местные крестьяне, знакомые и незнакомые, трезвые и подгулявшие, с возами и порожнем. Отец иногда просил их подвезти себя, что обыкновенно охотно делалось. На шоссе же крестьяне били камень;

---

[1]) Это была одной из больших скотопрогонных дорог, 30-саженной ширины, которые были проведены при Екатерине между многими городами Центральной России; эти дороги были когда-то обсажены ветлами и березами, в настоящее время почти нигде не сохранившимися. „Старая дорога“ проходила мимо Яснополянского парка и через деревню Ясную поляну. До постройки шоссе это был очень оживленный путь: здесь проезжали в дормезах и колясках, в бричках и тарантасах, в санях и возках, в телегах и дровнях, на почтовых и на долгих; проезжали Александр I, Николай I, Пушкин, декабристы и многие другие. М. Н. Толстая, мать моего отца, из беседки парка видела, как по этой дороге провозили тело Александра I из Таганрога.

он и с ними заводил разговор, а иногда и сам пробовал бить камень. Он говорил, что это очень тяжелая работа; после нее руки болят.

В 5 часов дня мы обедали. К этому времени отец приходил домой, нередко опаздывая. За обедом он бывал оживлен и рассказывал свои дневные впечатления.

Вечером после обеда он, большею частью, читал, или, если были гости, разговаривал с ними; а иногда он занимался с нами, читал нам вслух, или давал уроки. В это время дня доступ к нему был свободен; он даже не всегда закрывал двери в свой кабинет.

Около 10 часов вечера опять все жители Ясной поляны были в сборе, приходили пить чай в залу. В это время, как и за обедом, отец, когда был в хорошем настроении и здоров, оживленно разговаривал, особенно когда бывали гости. Перед сном он обыкновенно опять читал; одно время он вечером каждый день играл на фортепиано.

Спать он ложился около часа ночи...

Отец умел читать, что далеко не всякий умеет. Он хорошо помнил прочитанное и различал книги, которые надо читать, не пропуская ничего, и книги, из которых надо выбрать только существенное или ему нужное. Таким образом он экономил свое время.

В те годы, когда мы оседло жили в Ясной поляне, он много читал. Он изучил Шопенгауэра, которым сильно увлекался, научился греческому языку, собирал материал для своей азбуки и книг для чтения, для предполагаемых им романов, одного — из времен Петра и другого — о декабристах, читал Четьи-Минеи, изучал русские былины и пословицы, а в конце 70-х годов — Евангелие и критику Священного писания.

Кроме того он постоянно читал иностранную беллетристику, особенно английские и французские романы. Из английской литературы он читал Диккенса, Теккерея и семейные романы: Троллопа, Гумфри Уорд, Джордж Эллиот, Брайтон, Браддон и др.

Известно, что он ставил Диккенса выше всех других английских романистов. Теккерея он находил несколько холодным, а из остальных романов хвалил «Адама Бида» и «Векфильдского священника».

Из французской литературы он читал Виктора Гюго, Флобера, Дроза, Фелье, Зола, Мопассана, Доде, Гонкуров и других.

Он особенно ценил «Les misérables» и «Le dernier jour d'un comdamné» Виктора Гюго, а из реалистов — Мопассана. Он был холоден к Флоберу, Бальзаку и Доде; Зола он читал с интересом, но считал его реализм преднамеренным, а его описания слишком подробными и мелочными.

— У Зола едят гуся на 20 страницах, это слишком долго, — говорил он про одно место в «La terre».

Он мало читал немецкую беллетристику. Не помню, чтобы он читал что-нибудь кроме Шиллера, Гете и Ауэрбаха. Нам он рекомендовал читать «Разбойников» Шиллера, «Вертера» и «Германа и Доротею» Гете.

Нельзя сказать, чтобы в 70-х годах он много читал текущую русскую литературу. Публицистику он почти не читал, а художественную литературу

только проглядывал, когда она попадалась ему под руку. Он больше всего интересовался появлявшимися произведениями Тургенева, а из произведений Достоевского некоторые, например, «Подросток», насколько я помню, остались ему неизвестными. «В лесах» и «На горах» Андрея Печерского (Мельникова) он не любил, говорил, что у Печерского «фальшивый тон», что он щеголяет местными народными словечками, а крестьянскую жизнь знает плохо. В исторических романах, вроде «Юрия Милославского» и «Князя Серебряного», он указывал на неверное понимание быта эпохи; к историческим романам Данилевского, Мордовцева, Салиаса, Вс. Соловьева и др. относился пренебрежительно.

Нам, своим детям, отец советовал не спешить читать шедевры литературы для того, чтобы позднее, когда мы будем старше и будем лучше понимать их, не утратился интерес новизны. Поэтому Пушкина, Лермонтова и Гоголя мы прочли довольно поздно. С другой стороны, он не любил специально детскую литературу. Он рекомендовал нам читать такие произведения всемирной литературы, которые интересны как для детей, так и для взрослых, — «Робинзона Крузе», «Дон-Кихота», «Путешествия Гулливера», «Les Misérables» Виктора Гюго, Александра Дюма (отца), Диккенса («Оливера Твиста», «Давида Копперфильда») и др. Из русской литературы он особенно рекомендовал прозу Пушкина и Гоголя, «Записки охотника» Тургенева и «Записки из мертвого дома» Достоевского. Свои произведения, кроме рассказов из «Азбуки» и «Книг для чтения», он не рекомендовал нам читать. Зато моя мать поощряла в нас чтение произведений Льва Толстого. «Детство», «Отрочество» и «Юность» были одними из моих любимых книг, особенно потому, что я сравнивал себя с Николенькой Иртеньевым.

В Ясной поляне, насколько мне помнится, выписывался только один толстый журнал — «Revue des deux Mondes»; «Русский вестник», «Заря», позднее «Беседа» (под ред. Навроцкого) и «Русская мысль» (под ред. Юрьева) присылались издателями; одно время получалась «Русская старина» и «Русский архив».

«Вестник Европы» не выписывался, но бывал в Ясной поляне: кажется, его выписывали Кузминские. Одно время получался почему-то «Огонек», где печатался роман Писемского «Масоны»; отцу понравилось начало этого романа, и он даже начал его читать нам вслух, но скоро бросил.

В конце семидесятых годов появились в Ясной поляне, не помню откуда, «Отечественные записки». Отец читал их с интересом, особенно Щедрина и «Письма из деревни» Энгельгардта. Отрывки из «За рубежом» Щедрина он читал нам вслух: «Разговор мальчика в штанах и мальчика без штанов» смешил его до слез.

Помню также, что он читал нам вслух рассказ Щедрина о том, как татарин из трактира возил «Ямудского принца» в Петербург (из «Помпадур и помпадурш»). Его смешило впечатление, произведенное на принца Петербургом: «Помпадур есть, народ нет, чисто!». И после своей поездки в Петербург он иронически говорил: «Хорошо в Петербурге — помпадур есть,

народ нет, чисто!» (под помпадурами Щедрин подразумевал чиновников, в особенности губернаторов).

III.

Я считаю себя счастливым тем, что много слышал живую, художественную и разнообразную речь моего отца. При его удивительной памяти и исключительной впечатлительности, как он хорошо передавал все им виденное, слышанное, продуманное, прочитанное! И как много я слышал от него нового и неожиданного, того, чего другие не замечают или о чем другие не говорят! С другой стороны в его речи не было тех предметов разговора, которые мы слышим ежедневно: сплетен, неинтересных рассказов о самом себе, ненужных подробностей, пошлых анекдотов и т. п. Чувствовалось, что его рассказ или мысль, им высказываемая, ему нужны для его работы или для его мировоззрения; жившие с ним слышали многое из того, что потом вошло в его произведения. Он не любил говорить (или поступать) зря, без цели. Самое слово «зря» он не любил, и, кажется, нигде в его писаниях его нет.

Он, как очень немногие, любил и чувствовал красоту лесов, полей, лугов, неба. Он бывало говорил: — Как у бога добра много! Природа бесконечно разнообразна; каждый день отличается от предыдущего, каждый год бывает неожиданная погода.

У него было зрение пейзажиста, хотя он считал, что пейзаж — низший род искусства. Например, он как-то сказал: — Как красива желтая рожь на фоне темного дубового леса; вот мотив для пейзажиста!

Иногда он говорил про цвет неба и облаков: — Какое освещение! Если бы художник написал такую картину, ему не поверили бы, сказали бы, что он эту окраску выдумал.

Придя с прогулки, он иногда приносил какой-нибудь редкий для наших мест цветок, какой-нибудь особенно большой колос, весной — красненький цветок орешника, осенью — необыкновенно окрашенный лист, причудливые серьги бересклета; сам любуется этим и показывает нам.

В ясную ночь он нам рассказывал про звездное небо. Одно время его интересовала астрономия,—не математическая, а наглядная астрономия, и он называл нам звезды и об'яснял разницу между звездами, планетами и кометами.

Нередко он рассказывал нам что-нибудь из жизни крестьян, особенно крестьян Ясной поляны; он всех их знал. Он бывало запросто заходил в их избы, просто разговаривал с ними, иногда давал советы, говорил по какому-нибудь делу, или отвечал на их просьбы. Они доверчиво к нему относились, и он знал их семейные дела и даже тайны. Так раз он по секрету сообщил нам, что на деревне у Курносенковых скрывается беглый каторжник Рыбин.

Однажды он нам рассказал, как в яме около шоссе, где крестьяне брали песок, одного из них завалило песком. Он вместе с крестьянами ходил откапывать тело засыпанного и говорил, что они это делали самоотверженно, с опасностью быть засыпанными сами.

Бывало, каждый день под вязом около дома дожидались выхода Льва Николаевича крестьяне Ясной поляны или окрестных, иногда дальних, деревень, — кто за советом по судебным, семейным или хозяйственным делам, кто с просьбой — дать хворосту, лесу, покос, денег и пр. Он был известен в округе как «человечек», который может дать хороший совет и повлиять на власть имущих. Впоследствии, после 70-х годов, состав посетителей понемногу изменился: просящих совета и заступничества стало меньше, нищих стало больше, и прибавились люди с религиозными вопросами и просто любопытные.

Он знал крестьянское хозяйство во всех подробностях и экзаменовал нас: — Ну-ка, расскажите, как называются части крестьянской упряжи, как надо запрячь лошадь? или: — Как называются части сохи? — Так как мы не могли обстоятельно ответить, то он сам подробно отвечал на свои вопросы.

А то, бывало, он выскажет те мысли, которые в данное время его занимают. В конце семидесятых годов это были мысли, высказанные им в «Исповеди» и «В чем моя вера», и философские мысли, преимущественно навеянные Кантом и Шопенгауэром, а также разговорами и перепиской с Н. Н. Страховым и А. Фетом. Исходным пунктом его философского мышления был суб'ективизм, выражаемый утверждением, что мир, воспринимаемый нашими органами чувств, есть лишь наше представление. К сожалению, я тогда не записывал его слов и не могу точно их передать. Приведу лишь в качестве примера его соображение о мерилах времени. Он говорил, что есть два мерила времени: одно — об'ективное, другое — суб'ективное. Об'ективно мы измеряем время годами, днями, часами и т. д., суб'ективно — прожитой нами жизнью. По количеству и силе впечатлений, переживаемых в продолжение года трехлетним ребенком, год, им прожитый, равняется трети его жизни, тогда как для тридцатилетнего человека год составляет лишь $^1/_{30}$ его жизни. Для ребенка все ново и значительно, и для него год кажется большим промежутком времени. Этим об'ясняется, почему, чем мы старше, тем время проходит быстрее.

При случае он любил приводить французские поговорки и изречения. Некоторые ему служили правилами. Вспоминаю следующие:

Dans le doute abstiens toi (в сомнении воздержись).

Le mieux est l'ennemi du bien (лучшее враг хорошего), что соответствует русской поговорке: от добра добра не ищут.

Dis moi qui tu hantes, et je te dirai qui tu es (скажи мне, с кем ты видаешься, и я тебе скажу, кто ты).

Tout comprendre c'est tout pardonner (все понимать значит все прощать).

Tout vient à temps à celui qui sait attendre (все приходит во-время тому, кто умеет ждать).

Les peuples heureux n'ont pas d'histoire (счастливые народы не имеют истории).

L'exactitude c'est la politesse des rois (точность — учтивость королей).

Fais ce que dois, advienne que pourra (делай то, что должно делать, что бы ни случилось).

Последнее изречение можно назвать девизом отца. Он всегда считал, что долг выше всего, и что в своих поступках нам не следует руководствоваться предполагаемыми последствиями их.

По пôводу известности той или другой книги он приводил латинское изречение: Habent sua fata libelli pro capite lectoris (имеют свои судьбы книги в зависимости от головы читателя). Он говорил, что обыкновенно приводится только первая половина этого изречения — имеют свои судьбы книги, — что лишает его настоящего смысла, а именно, что успех книги зависит от понимания и уровня развития читателей.

Во время составления «Азбуки» и «Книг для чтения» и позднее, он не переставал изучать русский язык и собирать слова, поговорки и пословицы. В то же время он читал словарь Даля, былины, сборники сказок и пословиц.

Помню следующие его соображения: «приставка «су» значит «похожий, вроде»; таковы слова: супесь, суглинок, сукровица, сумрак, сурепица. Приставка «па» означает нечто не настоящее, ложное: пасынок, падчерица, паводок[1]), паклен, паскуда. Окончание «ище» означает известную площадь, особенно бывшую чем-то; таковы слова: кладбище, пожарище, торжище, городище, селище и т. п. Он был доволен, когда услышал от одного богомольца северного края слово «стрельбище» в смысле того расстояния, на какое хватает выстрел.

В разговоре он нередко приводил русские пословицы, как общеизвестные, так и малоизвестные, записанные им от крестьян и богомольцев. Он говорил, что народная мудрость, выраженная в пословицах, поговорках, легендах, сказках и т. п., рассеяна по всей России; частицы ее можно услышать то от одного человека, то от другого; в целом они, дополняя друг друга, выясняют мировоззрение русского народа.

Мне приходят на память следующие пословицы, которые он высказывал по тому или другому поводу: много баить не подобает; на всякий роток не накинешь платок; как аукнется, так и откликнется; бог-то бог, да сам не будь плох; где родился, там и годился; не так живи, как хочется, а как бог велит; день мой — век мой, и мн. др. Последние две пословицы выражают его основные убеждения.

Он указывал на неполноту некоторых общеизвестных пословиц и записал дополнения к ним, слышанные им из уст народа. В следующих примерах эти дополнения напечатаны курсивом:

На чужой каравай рта не разевай, *а раньше вставай да свой затевай.*

Без стыда лица не износишь, *как платья без пятна.*

От корма кони не рыщут, от добра добра не ищут.

Не так живи, как хочется, *а как бог велит.*

---

[1]) Слово „паводок“ нередко употребляется неправильно. „Паводок“ — это не весеннее половодье, а ложное половодье, наводнение, происходящее от сильных дождей не весной, а в другое время года.

Он указывал на искажение некоторых поговорок. Так, например, он говорил, что бессмысленная поговорка — «Сухо дерево, завтра пятница» произошла от поговорки: «Сухо дерево назад не пятится», т. е. согнутое сухое дерево не возвращается в первоначальное состояние. Или что в поговорке «На тебе, боже, что мне не гоже» вместо слова «боже» надо говорить «убоже» (звательный падеж от слова «убогий»).

Вообще в семидесятых годах он больше, чем когда-либо, изучал русский язык и русскую народную литературу, чем и воспользовался позднее в своих народных рассказах и других произведениях.

Он почти никогда не рассказывал планы своих литературных работ, говоря, что излагать свое произведение, пока оно не окончено, значит погубить его. Но по мере того, как он собирал материал, он рассказывал отдельные эпизоды из действительной жизни, которые служили ему материалом и потом, преображенные, входили в его произведения. Рассказы в «Книгах для чтения», «Кавказский пленник», «Охота пуще неволи», разные эпизоды из «Анны Карениной», отдельные штрихи из времени Петра I и декабристов я слышал от него в то время, когда он задумывал эти произведения.

Он говорил про Петра, что наиболее уважаемые бояре того времени, каковыми были, например, Долгоруковы и Голицыны, презирали Петра за его разгульную жизнь. Поэтому Петр сошелся с пирожником Меньшиковым и беглым швейцарцем Лефортом, не любил Москву и поселился в Петербурге.

Из жизни декабристов он, между прочим, передавал рассказ Свистунова про Завалишина: «Когда я (т. е. Свистунов) закованный в кандалы ехал в Сибирь с Завалишиным, тоже закованным, Завалишин мне сказал, показав на кандалы: «Я должен был быть флигель-ад'ютантом, а вместо этого — вот». Тогда я понял, прибавил Свистунов, что он не наш. Мы этим (т. е. кандалами) гордились».

Отец был особенно высокого мнения о непреклонном характере декабриста Лунина и рассказывал, как Лунин на каторге, прикованный к тачке, любил смешить смотрителя, толстого майора из немцев.

IV.

В нашем детстве мы, т. е. я и мои братья и сестры, особенно любили прибаутки, поговорки и рассказы отца.

Когда мы почему-нибудь плакали, он бывало расскажет что нибудь смешное, и мы смеемся сквозь слезы. Например, он говорил:

Ты не плачь, не плачь, детинка,
В нос попала кофеинка,
Авось проглочу.

Несмотря на бессмысленность этого изречения, оно действовало безошибочно. Кофеинка неизменно вызывала смех или улыбку [1]).

---

[1]) Эту прибаутку слышал в Сибири Ф. И. Толстой-американец от одного ссыльного; об этом пишет его двоюродная племянница М. Ф. Каменская.

Когда кто-нибудь из нас ушибется или упадет, он бывало скажет:

Танцовальщик танцовал,
А в углу сундук стоял.
Танцовальщик не видал,
Спотыкнулся и упал.

Когда у кого-нибудь из нас был расстроен желудок, он вспоминал стих Хераскова:

Не лучше ль умереть на месте,
Чем жизнь поносную вести.

Иногда он рассказывал анекдоты. Например, был анекдот о том, что один немец никак не мог сесть на лошадь, несмотря на то, что призывал на помощь то того, то другого святого. Наконец, он призвал всех святых, сделал усилие и так высоко прыгнул, что перескочил через лошадь. Тогда он сказал — Nicht Alle auf ein Mal! (не все сразу!).

Хорош был другой анекдот про немца преступника, приговоренного к смертной казни, который просил у Фридриха Великого, как милость, разрешить ему самому выбрать род смерти. Когда же Фридрих ему это разрешил, он сказал:—Ich will aus Alterschwäche sterben, т. е. я хочу умереть от старческой дряхлости. Фридрих его помиловал.

Рассказывал он также известный анекдот о том, как цыган приучал свою лошадь не есть и совсем было приучил, да на тот грех она пала.

Одно время отец рассказывал нам ряд анекдотов про сумасшедших. Например, один сумасшедший вообразил, что он стеклянный и всячески боялся удариться обо что-нибудь и разбиться. Но кто-то подшутил над ним и толкнул его. Сумасшедший ударился об стену, сказал: дзинь! и умер. А мы смеялись.

Другой сумасшедший вообразил себя грибом, молча сел в угол, раскрыл над собою зонтик, отказался от всякой еды и движения и перестал отвечать на вопросы. Тогда доктор тоже взял зонтик, раскрыл его над собою и сел рядом с сумасшедшим. Долго оба сидели молча. Наконец, сумасшедший не вытерпел и спросил доктора:

— Что вы тут делаете?

— Я гриб, — ответил доктор.

Сумасшедший выразил на лице удивление, но опять замолчал.

Через несколько времени доктору принесли заказанный им обед, и он стал есть.

— Разве грибы едят? — спросил сумасшедший.

— Как же, — ответил доктор, — видите: я — гриб, и обедаю.

Тогда сумасшедший тоже попросил себе обед и с аппетитом стал есть.

Посидев несколько времени, доктор вдруг встал, продолжая держать над собою зонтик.

— Разве грибы могут стоять? — спросил сумасшедший.

— Как же, — ответил доктор, — видите: я — гриб и стою.

Сумасшедший тоже встал. Потом доктор стал ходить, и сумасшедший стал ходить, потом доктор сложил зонтик, и сумасшедший сложил зонтик, и т. д. Понемногу круг действий, дозволенный грибам, настолько расширился, что сумасшедший стал жить, как все, и, наконец, забыл, что он гриб.

Еще отец рассказывал о жестоком случае, как один сумасшедший убил истопника Семена, жившего в доме сумасшедших. Семен нюхал табак и иногда угощал им душевно-больных. Как-то он заснул в коридоре, оставив около себя топор. Один сумасшедший подкрался к нему, взял топор и со всего размаху отрубил ему голову. Затем он спрятал голову Семена у себя под кроватью и пошел с хитрым видом рассказывать другим сумасшедшим, как он ловко подшутил: — Когда Семен проснется и захочет понюхать табачку, он не найдет своего носа. Его нос у меня под кроватью.

Был еще рассказ о том, как сумасшедшие взбунтовались, заперли врачей и служителей дома для душевно-больных и сами стали хозяйничать; но я не помню подробностей этого рассказа.

Рассказывая анекдоты про сумасшедших, анекдоты вымышленные и никогда, конечно, не случившиеся, отец несомненно имел в виду не душевно-больных, а тех людей, которых принято считать душевно-здоровыми. Его душевно-больные — в своем роде типы. Стеклянный человек — это человек, вообразивший, что все окружающие хотят его толкнуть, т. е. обидеть; вследствие своего ложного представления о самом себе и людях, он боится жизни и людей. Такие люди гибнут, когда приходят в серьезное столкновение с настоящей жизнью. И когда стеклянного человека толкнули, он разбился. Сумасшедший, отрубивший голову Семену для того, чтобы тот не нашел своего носа, это человек, легкомысленно убивающий себе подобных для забавы или из-за фантастической идеи. Сумасшедший, вообразивший себя грибом, это человек, приросший к тесному обиходу своей жизни и ограниченному кругу своего мирка, искусственно им созданного, и не хотящий выйти на простор, на свежий воздух. Указан и способ лечения такого человека — расширение круга его действий и умственного кругозора.

Во всех рассказах о сумасшедших основой их болезни служит их неразумная мысль. У душевно-больных иначе и не бывает. Но большинство человечества также неразумно мыслит; поэтому отец считал большинство людей, которых принято считать здоровыми, — душевно-больными. Это видно из многих его последующих писаний. Так, в дневнике 1884 г. 10 апреля он пишет: «Я боялся говорить и думать, что $^{99}/_{100}$ — сумасшедшие, но не только бояться этого нечего, но нельзя не говорить и не думать этого». Поэтому я думаю, что его рассказы о сумасшедших, слышанные мною в 70-х годах, были навеяны теми мыслями, которые позднее легли в основу его миросозерцания. Он считал, что ложное мышление — основная причина зла в мире; люди дурно живут не потому, что они злы по природе, а потому, что они неразумно мыслят; и они невменяемы, как душевно-больные.

Одна сказка отца, слышанная мною в моем детстве, повидимому, навеяна рассказом Гоголя «Нос». Приблизительно содержание ее таково:

Рассказ о носе.

Где-то в толпе, кажется на бале, господин N. N. нечаянно толкнул одного турка, сильно ударив его по носу. Смертельно обидевшись, турок поклялся отомстить этому господину и отрезать ему нос. Он вызвал его на дуэль и настоял на том, чтобы дуэль произошла на саблях (эспадронах).

Г-н N. N. хорошо фехтовал, но на дуэли турок так стремительно на него накинулся, что он не успел отразить удар, и турок сразу срезал ему нос. Бывший при этом доктор бросился останавливать ему кровь и делать перевязку, секунданты потребовали прекращения дуэли, а когда г-н N. N. спохватился, где же его нос, оказалось, что нос с'ела собака.

Оставшись без носа, г-н N. N. решил сделать себе новый нос, для чего обратился к лучшим докторам. Один доктор посоветовал ему найти человека, который согласился бы вырезать ему нос из своего тела.

— Но, — прибавил доктор, — вам придется быть пришитым к такому человеку шесть недель.

Г-н N. N. решился на это. Он нашел одного деревенского парня, который за хорошие деньги согласился на то, чтобы из его руки был вырезан нос, доктор пришил его лицо к руке этого парня, и в этом положении он прожил шесть недель. Затем, когда его лицо вполне срослось с рукой парня, доктор произвел операцию и вырезал ему новый нос.

Парень получил хорошее вознаграждение и уехал к себе в деревню, а г-н N. N. получил новый красивый, правильный римский нос; этот нос оказался гораздо лучше его прежнего носа.

Но не долго он радовался. В иные дни, особенно почему-то по праздникам, нос стал краснеть и пухнуть. Он опять обратился к доктору.

— Узнайте, что делает ваш парень, — посоветовал доктор.

Г-н N. N. отыскал парня, и вот что оказалось: в те дни, когда у него пух нос, парень напивался пьян. Нельзя было сомневаться: пьянство парня неизменно отражалось на его носе. Тогда он, будучи богатым человеком, взял парня в свой дом в качестве дворника, назначил ему хорошее содержание и стал следить за тем, чтобы тот не пил; однако это ему не всегда удавалось, и парень все-таки нередко напивался. В такие дни нос краснел и пух, а г-н N. N. сидел дома и никуда не показывался.

Однако парень не долго прожил у него; он не выдержал постоянного надзора за собою и сбежал неизвестно куда. А тем временем нос стал все чаще и чаще краснеть и пухнуть, сделался дряблым и губчатым и окончательно потерял свою красивую римскую форму. Повидимому, парень совсем спился.

А в один прекрасный день нос отделился от лица и отвалился.

Тогда г-н N. N. решил во что бы то ни стало доискаться, что же сталось с парнем. И что же оказалось? В тот самый день, когда нос отвалился, парень умер.

И г-н N. N. остался на всю свою жизнь с гладким местом вместо носа.

* * *

Рассказы отца о сумасшедших и носе — это, повидимому, один из многих сюжетов, которые бродили у него в голове и остались неиспользованными.

Отец нередко подмечал такие черты из жизни людей, на которые другие люди не обращают внимания. У него был даже особый прием обобщать некоторые характерные или комические случаи. Выхватив из жизни такой случай, он подводил под него аналогичные случаи. Таким образом у него и в нашей семье составился ряд характерных выражений или поговорок, понятных только для тех, кто знал те анекдоты, из которых эти поговорки возникли.

Я приведу несколько таких анекдотов [1]).

Анковский пирог.

У моего деда по матери, Андрея Евстафьевича Берса, был приятель, профессор и врач, доктор Анке. Анке научил кухарку Берсов, Степаниду Трифоновну, жившую у них много лет, готовить особый, очень вкусный сладкий миндальный пирог. Этот пирог в честь его изобретателя назывался анковским пирогом. Трифоновна научила делать этот пирог нашего старого повара Николая Михайловича Румянцева, а Николай Михайлович по наследству передал этот рецепт своему сыну Семену, который после смерти своего отца унаследовал должность повара в нашем доме. Так анковский пирог перешел от Берсов к Толстым. Это был вкусный, рассыпчатый пирог с вареньем внутри и с миндалем снаружи; он подавался в исключительных случаях — на праздники, на именины или при хороших гостях.

А для отца анковский пирог служил эмблемой особого мировоззрения, которое трудно формулировать одним словом. Анковский пирог — это и домовитость, и склад жизни, и вера в необходимость материального благополучия, и непреклонное убеждение в незыблемости современного строя. Когда моя мать хлопотала о том, чтобы к обеду с гостями были положены чистые салфетки, и вообще обед был правильно приготовлен и сервирован, о том, чтобы ночующему гостю были постелены чистые простыни, чтобы на Рождестве была елка, на масленице блины, а на Пасху — кулич, вообще, чтобы было все то, что полагается, — то отец все это называл «анковским пирогом». Пристрастие моей матери к анковскому пирогу огорчало моего отца, а отрицательное отношение отца к анковскому пирогу огорчало мою мать [2]).

---

[1]) Следующие шесть анекдотов были напечатаны в числе пятнадцати примеров „Юмора в разговорах Л. Н. Толстого“, в статье, помещенной в № 3 сборника, изд. под ред. В. И. Срезневского „Толстой, памятники творчества и жизни“, 1923.

[2]) В следующей выписке из письма моего отца к сестре моей матери Т. А. Кузминской (17 окт. 1886 г.) он предсказывает грядущее разрушение «анковского пирога». Вот что он написал: „У нас (в Петербурге) все благополучно и очень тихо. По письмам видно, что у вас также, и во всей России и Европе также. Но не уповай на эту тишину. Глухая борьба против анковского пирога не только не прекращается, но растет

Архитектор виноват.

Когда мы были детьми, брату Илье на елке подарили красивую большую чашку с блюдцем; это был подарок, о котором он мечтал уже давно. На радости он схватил свою чашку и побежал ее показывать кому-то, кажется, няне, но... перебегая из гостиной в залу, — а в то время между этими комнатами был порог, впоследствии уничтоженный, — Илья зацепился за порог, упал, уронил чашку, и от нее остались одни осколки.

Он заревел во все горло, а когда мать упрекнула его за неосторожность, он разозлился и сквозь слезы крикнул: — Это не я виноват, виноват противный архитектор, — зачем он здесь сделал порог?

Отец это услыхал и рассмеялся. В самом деле умозаключение Ильи было неожиданно: он упал и разбил чашку, а виноват архитектор.

Отец запомнил это изречение и стал применять его к тем случаям, когда человек выдумывает оправдание своему промаху или дурному поступку, сваливая вину на других, с больной головы на здоровую. Когда мы не выучивали урок, оправдываясь тем, что учитель плохо его об'яснил, когда я однажды на охоте по неосторожности увязил лошадь в трясине, оправдываясь тем, что мне не сказали, где была трясина, когда брат или я падали с лошади, жалуясь на кучера, что он плохо оседлал лошадь, отец в этих случаях говорил: — Да, я знаю, отчего это произошло: архитектор виноват. Но в глубине души приходилось сознаться, что архитектор, пожалуй, тут был и не при чем.

Для Прохора.

В детстве брата Илью, так же, как и меня и сестру, учили играть на фортепиано. Однако он был мало способен к музыке и отлынивал от уроков. Наш учитель Александр Григорьевич Мичурин, чтобы его приохотить, задал ему выучить один вальс Шопена, вещь для него совершенно недоступную, и поэтому велел ему играть эту пьесу очень медленно. Но вот однажды отец из своего кабинета слышит, что наверху в зале Илья валяет вальс Шопена в быстром темпе и fortissimo. Но как он его играл! Это была сплошная какофония.

Отец не вытерпел и пошел в залу. Там, кроме Ильи, находился плотник Прохор, вставлявший зимние рамы. Отец сейчас же догадался, почему Илья вдруг захотел быть виртуозом. Он играл «для Прохора»; он хотел поразить Прохора своей игрой.

С этих пор выражение «для Прохора» значило делать что-либо не для себя, а для того, чтобы удивить других, чтобы люди были о тебе высокого мнения.

и слышны уже кое-где раскаты землетрясения, разрывающего пирог. Я только тем и живу, что анковский пирог не вечен, а вечен разум человеческий".

В наши дни разрушение анковского пирога совершилось, но я не думаю, чтобы отец, если бы был жив, всецело приветствовал это разрушение. А лично я думаю, что и не все было плохо в анковском пироге.

Належимся кверху носом.

В конце 70-х годов отец много думал о смерти; стараясь побороть в себе мучивший его страх смерти, он обращался ко многим лицам с вопросом о том, боятся ли они смерти, и как к ней относятся. С таким вопросом он обратился к нашему соседу, старому, толстому, обрюзгшему, малокультурному добродушному помещику (вроде «черноземной силы» Увара Ивановича в «Накануне»). Звали его Василием Алексеевичем Хомяковым, но он не был в родстве с Алексеем Степановичем Хомяковым.

Василию Алексеевичу Хомякову разговор о смерти совсем не понравился и, чтобы прекратить его, он сказал: — Что о смерти толковать, Лев Николаевич, належимся еще кверху носом. — Отец приводил эти слова, как пример легкомысленного, я сказал бы, растительного отношения к вопросу о смерти, нежелания говорить и думать о ней: «Зачем думать о смерти? Живи, пока живется. А кверху носом мы еще успеем належаться».— Так думают многие.

Разговоры о comtesse Apraxine.

Дядя моей матери Константин Александрович Иславин, дядя Костя, человек добрый и вполне порядочный, как про него говорили, был тем, что называется «снобом», т. е. он имел пристрастие к аристократическому обществу, к high life'у, в котором он всю свою жизнь любил вращаться. Он основывал свое право на это, — несмотря на то, что он был незаконный сын своих родителей, — на том, что его мать была рожденная графиня Завадовская, а его бабка — графиня Апраксина. Он любил кстати и некстати говорить об этом и вообще вспоминать о родстве и родословных разных семей из high life'a. Когда дядя Костя заводил такой разговор, главной целью которого было упомянуть о своем родстве или знакомстве с родовитыми семьями, то отец иронически называл такой разговор разговором о comtesse Apraxine.

Замечу, однако, что иногда отец с удовольствием слушал истории разных семей, сам изучал родословные и охотно рассказывал о своих предках и родственниках и о родстве своих светских знакомых; но, конечно, он это делал не из тщеславия, а потому, что его интересовали быт живших до него людей, наследственные черты их, судьба людей, которых он встречал в молодых годах, вообще потому, что он любил и ценил старину. И этим материалом он не раз пользовался для своих писаний.

Истинно блаженные минуты.

Давно в шестидесятых годах, по соседству с Ясной поляной, жил казенный лесничий, поручик Гимбут. Он воспитывался в прежнем, дореформенном кадетском корпусе и рассказывал отцу, как там плохо жилось, каким лишениям и унижениям он там подвергался. Однако он добавил: — А все-таки, Лев Николаевич, я и в кадетском корпусе испытывал истинно блаженные минуты. Это когда секут, секут и — отпустят.

Отец припоминал этот рассказ в тех случаях, когда прекращалась какая-нибудь неприятность, например, когда уйдет неприятный посетитель, или прекратится неприятный разговор.

V.

Отец много рассказывал про старину, своих предков и родных, про свои детские и молодые годы. Почти все эти рассказы так или иначе вошли в его воспоминания, в «Книги для чтения», в его художественные произведения, в его биографию, написанную П. Бирюковым, и в воспоминания разных лиц. Приведу неизвестные или мало известные.

Про своего гордого и важного деда кн. Николая Сергеевича Волконского он рассказывал:—Когда устанавливались границы Засеки, казенного леса, соседнего с Ясной поляной, землемер, обмерявший лес, предложил Волконскому провести границу между его и казенной землей по ручью Ясенке и тем самым отрезать в пользу князя около 100 десятин земли; за это он просил взятку в виде всего только тройки лошадей. Однако Волконский с негодованием отверг это предложение и с позором выгнал землемера из своей усадьбы.

Между прочим я помню, что в моем детстве в яснополянской конторе висели унаследованные от Н. С. Волконского: большой портрет — образ святого кн. Михаила Черниговского, предполагаемого родоначальника Волконских, и большая раскрашенная карта родословной Волконских, разрисованной в виде реки с притоками. Отец, несмотря на свое уважение к памяти деда, с пренебрежением относился к этим произведениям и остался равнодушен к тому, что они куда-то исчезли. В «Войне и мире» князь Андрей также иронически относится к разрисованному генеалогическому дереву, сделанному его отцом.

Другого своего деда Илью Андреевича Толстого отец в своих воспоминаниях называет человеком «ограниченным, очень мягким, веселым, не только щедрым, но бестолково мотоватым и главное доверчивым»; как пример его мотовства, он рассказывал, что дед посылал стирать свое белье в Голландию на собственных подводах. Сколько же у него было белья и чего это стоило!

Про своего отца он всегда вспоминал с любовью. Мне представляется, что в Николае Ильиче было сильно чувство долга, понимаемого, очевидно, не по-современному, а по понятиям того времени. Он счел своим долгом в 1812 году пойти на войну, «защищать отечество», когда ему было 18 или 19 лет, он женился на богатой девушке, несмотря на то, что она была старше его и некрасива, для того, чтобы обеспечить свою мать и сестер, и он считал своим долгом заботиться о благосостоянии своих крестьян. Правда, он не принадлежал к тем помещикам, которые, подобно декабристам, пытались бороться против крепостного права, но он понимал свою ответственность перед крестьянами. Однажды, рассказывал отец, Николай Ильич, под'езжая к Ясной поляне после долгого отсутствия, встретил нищего. Он велел кучеру остановиться и спросил нищего, чей он, и когда узнал, что он из Ясной поляны, велел ему сесть на козлы своей коляски и, прежде чем приехать к себе до-

мой, проехал вместе с нищим прямо в контору имения, где разбранил своего бурмистра. Как тот мог допустить, чтобы его, Н. И. Толстого, крестьяне нищенствовали!

Отец редко говорил о своей матери, но когда говорил, то всегда с умилением. Он не мог ее помнить, и его любовь к ней можно назвать мистическим чувством. Она была исключительно даровита и очевидно по наследству передала ему свою даровитость. Но, кроме того, я думаю, что косвенно она имела на него большое влияние через своего старшего сына Николая. Рассказы моего отца о «зеленой палочке и муравейных братьях» общеизвестны. В своих воспоминаниях он писал, что его старший брат Николенька, когда ему было 10 или 11 лет («а мне — 5, Митиньке — 6, Сереже — 7 лет»), рассказывал братьям, что в лесу Заказе зарыта зеленая палочка, на которой написана тайна счастья всего человечества; когда эта тайна обнаружится, люди сделаются муравейными братьями», и тогда не будет ни болезни, ни каких неприятностей, никто ни на кого не будет сердиться, и все будут любить друг друга. Известно, как отец дорожил этими рассказами, в которых в наивной форме выражены его заветные мысли; он даже завещал похоронить себя в том месте, где якобы зарыта зеленая палочка. Он думал, что эти рассказы изобретены его братом и что «муравейные» братья произошли от «моравских братьев», о которых Николенька читал или слышал. Но десяти или одиннадцати лет Николенька едва ли мог выдумать эти рассказы и едва ли читал о моравских братьях; по всем вероятиям, он слышал их от кого-то, и скорее всего от своей матери. Она была талантливой рассказчицей и, как видно из одного ее письма, начала рассказывать сказки Николеньке, когда ему еще не было двух лет. Когда она умерла (6 августа 1830 г.) ему уже было семь лет (он родился 21 июня 1823 г.), и, по всем вероятиям, он запомнил ее рассказы; а через три или четыре года после ее смерти, когда ему было 10—11 лет, он пересказал их своим братьям в той форме, в какой они сложились в его памяти. Так, через своего старшего сына мать Л. Н. Толстого повлияла и на него. В моем детстве я не раз слышал эти рассказы от отца, но, повидимому, ему не приходило в голову соображение, что Николенька мог слышать их от своей матери.

Отец всегда с особой нежностью вспоминал о своем старшем брате. Не буду повторять то, что он о нем писал. Между прочим, он говорил: брат Николай умел «ничего не делать», а это умеют не многие. И, в самом деле, Николай Николаевич умел говорить, думать, рассказывать, читать и быть приятным людям, не делая какого-нибудь определенного дела. Нельзя сказать, что он не хотел «делать». Он пробовал быть военным, писателем, сельским хозяином, охотником, но не в этих делах проявилось его влияние на людей [1]). Всюду, где он бывал, он вносил умственные и нравственные интересы, а в

---

[1]) Тургенев писал про него: „золотой был человек: и умен, и прост, и мил". Фет писал, что он был „замечательный человек, про которого мало сказать, что все знакомые его любили, а следует сказать — обожали". „Смирение, которое Лев Толстой развивает теоретически, — писал Евгений Гаршин, — брат его применил непосредственно к своему существованию".

душе своего младшего брата он посеял семена, которые принесли обильный плод.

Я не знал своего дядю Николая Николаевича, но слышал от людей, его знавших, напр., от Д. А. Дьякова и А. А. Фета, а также от бывшей его прислуги, самые теплые отзывы о нем.

Отец рассказывал один забавный случай, показывающий щепетильность Николая Николаевича. Однажды он приехал к нему в его имение Никольское-Вяземское и не застал дома; брат был в яблочном саду. Отец пошел в сад и видит: Николенька тихо сидит под яблонью и делает брату знаки, чтобы он молчал.

— Тсс, потише!

— Что ты здесь делаешь? — шопотом спросил отец.

— Тише, я смотрю, как поп Аким таскает яблоки из моего сада.

Оказалось, что отец Аким, молодой священник, только что выпущенный из бурсы, перелез через забор барского сада и, оглядываясь и не видя сторожа, набивал себе карманы яблоками. А хозяин сада смотрел и боялся одного: как бы поп Аким не заметил, что он его видит.

О детстве моего отца так много написано им самим и другими, что я затрудняюсь привести какой-нибудь его рассказ, еще не известный. Вспоминаю только его рассказ о том, как он, будучи мальчиком, захотел удивить людей своим молодечеством. Однажды в большой компании он хотел показать, что хорошо плавает, и бросился в речку одетый и в высоких сапогах. Это была неширокая речка, но в этом месте было глубоко. Он переплыл ее, но никак не мог выплыть на берег: сапоги, наполнившись водой, тянули его ко дну. Тогда бабы, гребшие сено на том берегу, со смехом вытащили его.

Отец особенно дорожил своими воспоминаниями о Кавказе. Я не раз слышал от него рассказ о том, как он еле-еле ускакал от преследовавших его чеченцев, и другой рассказ о том, как ядро ударилось об пушку, около которой он стоял [1]).

Не менее, чем на Кавказе, он подвергался опасностям в Севастополе; 4-й бастион, где он стоял, был одним из самых опасных мест.

В самое горячее время ко рву 4-го бастиона верхом под'ехал штабной офицер граф Алексей Васильевич Олсуфьев. Увидев по ту сторону рва Л. Н. Толстого, он стал ему кричать:

— Граф, получите пакет от главнокомандующего.

Л. Н. крикнул ему в ответ:

— Под'езжайте и передайте мне пакет.

Очевидно, Олсуфьев должен был переправиться через ров и передать пакет, а не Толстой итти к нему навстречу. И Олсуфьев попытался было перебраться через ров, но упал с лошади. А в это время пальба усилилась, пули свистели, шрапнели рвались, и он не выдержал: через ров не перепра-

---

[1]) См. П. Бирюков „Лев Толстой. Биография“ и Н. Гусев „Л. Н. Толстой в молодости“.

вился, пакета не передал, сел опять на лошадь, повернул обратно и ускакал.

Этот рассказ я слышал как от моего отца, так и от самого Олсуфьева.

Находясь в 4-м бастионе, отец и его товарищи офицеры посылали своих слуг и денщиков с 4-го бастиона в Севастополь с поручениями — за покупками и т. п. Слуга моего отца Алексей Орехов был смел и не выказывал страха, когда ему приходилось проходить по месту, подверженному обстрелу. Наоборот, денщик другого офицера сильно трусил. И вот отец с горечью рассказывал:

— Как мы были легкомысленны и жестоки! Мы бывало нарочно посылали в город не Алексея, а трусливого денщика и смеялись над тем, как он пригибался от летающих снарядов и пуль.

Когда Малахов курган был взят союзниками, и русское войско отступило на северную сторону Севастопольской бухты, решено было взорвать батарею на так называемом Павловском мыске, с которого союзники могли бы обстрелять весь город. Сообразили это поздно, и не успели вывести оттуда тяжело раненых. Тем не менее, батарею вместе с ранеными взорвали. Отец говорил, что он видел офицера Ильина [1]), только что исполнившего это поручение и спавшего крепким сном. Это был добродушный, здоровый, молодой человек.

Во время Крымской кампании отец сблизился с несколькими офицерами, с которыми и впоследствии поддерживал приятельские отношения. Такими приятелями его были К. Н. Боборыкин, впоследствии либеральный губернатор в Орле, Аркадий Дм. Столыпин, впоследствии управляющий московской дворцовой конторой, адмирал Ильинский, кн. Сергей Семенович Урусов и др.

Особенно близок он был с кн. С. С. Урусовым. Я знал Урусова: он не раз бывал у нас в Ясной поляне и в Хамовническом доме. Это был необыкновенный человек. По внешности он был величественен — красив, громадного роста, почти великан и прекрасно сложен, а по характеру — прям, искренен, храбр, решителен, самолюбив, страшно вспыльчив и столь самобытен, что прослыл чудаком.

Отец два раза ездил за границу — в 1857 и зимой 1860/61 годов.

Во время первой своей поездки он некоторое время жил в Париже. Там он видел, как гильотинировали человека, и это впечатление оставило в нем на всю жизнь отвращение к смертной казни и даже разочарование в европейской цивилизации.

В Париже он слышал много хорошей музыки. — Для французского искусства, — говорил он, — характерна законченность, отделка, «le fini». Нигде, — говорил он, — я не слыхал такого совершенного музыкального исполнения, как на концертах Парижской консерватории. — Бывал он также в парижских театрах. Он считал французских актеров на комические и бытовые роли выше всяких других, особенно в пьесах Мольера. Французских

---

[1]) Может быть, это был не Ильин, а моряк Ильинский.

трагиков и пьесы Корнеля и Расина он совсем не ценил; напускной пафос и ходульность были ему чужды.

В Швейцарии он поселился в Кларане, на берегу озера Лемана в скромном пансионе, где его по ошибке записали под фамилией M. Folstoy (Фольстуа). Так как в этом пансионе не знали его титула, к нему относились просто, не как к богатому русскому графу, и у него установились простые приятельские отношения с хозяйкой и другми постояльцами. Вообще, он считал свое пребывание в Швейцарии одним из лучших своих воспоминаний.

На пути домой он остановился в Баден-Бадене. Между прочим, он рассказывал, как его тщеславие было польщено тем, что в Баден-Баденском парке он гулял вместе с важным придворным, другом императрицы Марии Александровны, графом Василием Дмитриевичем Олсуфьевым (отцом того Олсуфьева, который в Севастополе ускакал от пуль). Многие встречные почтительно кланялись Олсуфьеву. Но вот сам Олсуфьев кому-то низко и крайне почтительно поклонился. Это проходил прусский наследный принц Вильгельм (впоследствии император Вильгельм I). Когда отец увидел, что тот человек, знакомством с которым он так гордился, сам низко кланяется, он понял нелепость своего тщеславия.

Вторая заграничная поездка отца была вызвана поездкой его брата Николая и омрачена его смертью.

Это, однако, не помешало ему плодотворно использовать свое пребывание за границей. Там он изучал педагогическое дело и познакомился со многими выдающимися людьми: с писателем Бертольдом Ауэрбахом, с известными педагогами Фребелем и Дистервегом, с Герценом, Прудоном и другими.

Отец был в Италии короткое время, вскоре после смерти брата. Может быть, поэтому она не произвела на него сильного впечатления. Однако южная природа, особенно Неаполь, и некоторые произведения искусства его поразили. Про свое пребывание в Неаполе он говорил, что восхищался красотой Неаполитанского залива, но что для нас, северян, южная природа вредна, — слишком нас возбуждает. Он остался довольно холоден к картинам с мадоннами и вообще к итальянской живописи, но непосредственно воспринял красоту античной скульптуры. Он мне это говорил, когда я после своей поездки в Италию передавал ему свое восхищение античной скульптурой. Памятники Римской империи, папства и эпохи Возрождения, повидимому, не оставили глубокого следа в его памяти; помню только, что он с интересом рассказывал нам про раскопки в Помпее, где его заинтересовал быт того времени. Повидимому, итальянское и античное искусства не были нужны для выработки его мировоззрения, и в своем дневнике он лишь вскользь упоминает о своей поездке в Италию.

В Лондоне он был в парламенте, где слушал 3-часовую речь Пальмерстона; он приводил эту речь как блестящий образец техники красноречия, но она оставила его холодным. В Лондоне же он присутствовал на публичном чтении Диккенса. Он говорил, что Диккенс читал превосходно и тронул его до слез.

В начале 50-х годов отец был предубежден против Герцена, но со времени своей второй заграничной поездки изменил свое мнение.

В 1861 г. в Лондоне, познакомившись с Герценом, он в продолжение полутора месяцев часто виделся с ним и вел продолжительные разговоры. От этого знакомства осталась фотографическая карточка Герцена и Огарева, с автографом Герцена, подаренная им отцу в день от'езда. В этот же день получено было известие о манифесте 19 февраля 1861 года.

Герцен был симпатичен отцу не только, как писатель, но и как человек. Он говорил, что Герцен был подвижной, энергический и увлекающийся сангвиник, красноречивый собеседник, блещущий остроумными сравнениями и сопоставлениями, из которых приходил к неожиданным заключениям.

Про наружность Герцена он говорил, что почему-то ему казалось характерным сложение его тела — малый рост при сравнительно широком тазе.

Отец разделял с Герценом его ненависть к Николаю I и крепостному праву. Он нередко повторял следующее мнение Герцена о Николае I, применяя его вообще к деспотическому правительству: Чингис-хан был, конечно, очень страшен и бороться с ним было трудно. Но еще страшнее Чингис-хан, когда к его услугам находятся пушки, железные дороги, телеграфы и вообще все приобретения современной техники. С таким Чингис-ханом почти невозможно бороться.

Между прочим, он передавал следующий рассказ Герцена:

Однажды Герцен, идучи по одной лондонской улице, наткнулся на ковер, разостланный по тротуару перед под'ездом одного богатого дома. Два лакея стояли по бокам этого ковра и не позволяли наступить на него, и прохожим приходилось обходить это место. Повидимому, ждали приезда какой-то важной особы. Герцен, однако, не сошел с тротуара, а, сильно толкнув лакея, прошел по ковру. Тогда этот лакей, которого он столкнул, крикнул другому: «Let him pass. He is a gentleman» (пропусти его; он — джентельмен).

— Англичане — народ аристократический, — говорил по этому поводу отец. — Они чтут в своих джентльменах не только их наследственные черты, привилегированное положение и богатство, но и силу как умственную, так и физическую. Англичане говорят про своих аристократов: «our betters» — наши лучшие люди. Русские своих аристократов так не называют.

О семейной драме Герцена отец говорил, что она произошла отчасти потому, что люди того времени, в том числе Герцен, легко смотрели на измену жене с горничной или проституткой, женщины же к этому легко отнестись не могут.

Впоследствии отец еще больше ценил Герцена. Он говорил, что запрещение в России произведений Герцена сделало то, что значительное течение русской литературы осталось неизвестным русскому обществу, и это было причиной одностороннего, а в некоторых случаях и уродливого направления русской мысли.

Он также находил верным мнение Герцена о славянофилах. — Славянофилы, — говорил Герцен, — хотят напомнить народу то, что народ хочет забыть: православие и самодержавие. Однако Герцен вместе с славянофи-

лами думал, что России предстоит внести новое слово в социальные отношения людей через сельскую общину и артель. Отец был такого же мнения.

В своем детстве и ранней юности отец относился к крепостному праву как к чему-то по необходимости существующему. Его воспитательница — самоотверженная добрейшая женщина — тетенька Т. А. Ергольская думала, что иначе не может быть. Перед освобождением она в недоумении спрашивала: когда крестьян отпустят, кто же нам будет служить? Таков был взгляд многих людей того времени.

Отрицательное отношение к крепостному праву возникло у Льва Николаевича, по выходе его из университета, когда он стал еще совсем юношей хозяйничать в Ясной поляне. Замечательно, что тогда он на опыте убедился в том, что хозяйство не может правильно итти при крепостном труде. Эту мысль он ясно выразил в «Утре помещика», задуманном им очень рано — почти одновременно с «Детством». Но это было еще не совсем сознательное отношение к крепостному праву.

В продолжение нескольких лет, проведенных на Кавказе и на войне, среди солдат и вольных казаков ему мало приходилось задумываться над вопросом о крепостном праве. Но с 1855 г., по возвращении в Центральную Россию, у него уже сложилось определенное отрицательное отношение к нему. Оно особенно ярко выразилось в рассказе «Поликушка».

В конце 50-х годов он перевел своих крестьян на оброк. Он решил, что доходов с имения будет брать себе только 2 000 руб. С таким расчетом он вычислил размер оброка и с небольшими отступлениями держался этого расчета несколько лет.

При разверстании с крестьянами в 1861 г. он поступил так, как поступали добросовестные помещики того времени, но не более того. Он отказался от всяких отрезков и от так называемой пятой копейки, т. е. от платы за усадьбы крестьян; затем он немедленно перевел крестьян на выкуп. Крестьяне получили полный надел, определенный им по закону, к одной меже и без чересполосицы с помещичьей землей. Но впоследствии он каялся в том, что не сделал большего.

Однажды я спросил его, приходилось ли ему покупать и продавать людей. Он ответил, что ему приходилось это делать по необходимости только в тех случаях, когда девушки его деревни выходили замуж за крестьян других помещиков или когда девушки из других деревень выходили замуж за крестьян его деревень.

Вспоминаю рассказ одного крестьянина, слышанный мною от моего отца. В конце 50-х годов этот крестьянин предсказывал, что воля наверное об'явится, и вот почему:

— Иду я как-то полем, — говорил он, — в сумерки, один одинешенек; на небо нашла темная, темная туча, а над тучей светло. И вижу: из тучи вылезли длинные, длинные мужицкие ноги, в лаптях, и стали тянуться к земле. Тянулись, тянулись и дотянулись. А как вступили эти ноги на землю, — пошли ходом, как были — в лаптях, прямо по полю, от меня прочь. Это значит: наверное воля будет.

В своей молодости отец был знаком с некоторыми людьми, лично знавшими Пушкина, и слышал от них некоторые рассказы о нем. Так, например, во время своего заграничного путешествия в 1858 г., он в Швейцарии виделся с семьей Карамзиных, а в Баден-Бадене с Россет-Смирновой. Он рассказывал, что однажды Пушкин встретился с приятелем на Невском и сказал ему:

— Каким подлецом я себя чувствую!

— Почему? — спросил приятель.

— Потому, что только что встретился с Николаем Павловичем и говорил с ним.

Отец приводил этот рассказ, как доказательство тому, что хотя Пушкин в отношениях с Николаем Павловичем и шел на компромисс, но сознавал это и не лгал перед самим собой.

Еще он рассказывал, что Пушкин, дописывая «Евгения Онегина», сказал:

— Какова моя Татьяна! Какую штуку выкинула: отказала Онегину!

— Настоящим художником овладевают его же действующие лица, — добавил отец. — Когда Пушкин писал первые главы «Онегина», он еще не знал, чем кончится роман Онегина с Татьяной.

VI.

До 80-х годов отец довольно много занимался хозяйством в Ясной поляне и отчасти — в Никольском-Вяземском, а позднее — также и в своем самарском имении.

В его хозяйничании сказался его характер. Он увлекался то той, то другой отраслью хозяйства и искал в хозяйстве новых приемов и новых отраслей. Некоторые его предприятия были хорошо задуманы, но хозяйство не было главным делом его жизни; он уделял ему недостаточно времени, и у него не хватало выдержки. К тому же в хозяйстве люди и природа его интересовали гораздо больше, чем выгода.

Помню, что в моем раннем детстве в Ясной поляне была пасека, потом было много свиней, потом — много овец, потом были прекрасные коровы. Но пасека просуществовала недолго; про свиней моя мать рассказывала, что на них напала какая-то странная болезнь, происшедшая по определению ветеринара от голода. Это случилось потому, что к свиньям был поставлен бывший старшина, выгнанный со службы за растрату; он воровал корм, даваемый свиньям. Разводить овец в лесной местности оказалось невыгодным; они об'едали молодые побеги дерев и давали плохой навоз. Коровы давали мало молока, так как их рационально не кормили, скотницы их не додаивали, а молоко расходилось по родным скотников и доильщиц.

Сравнительно выгодными предприятиями отца были отдача земли под пастьбу гуртов, посадки дерев на запольных землях и расширение яблочного сада, может быть потому, что эти отрасли хозяйства не требовали постоянного участия хозяина.

В 60-х и 70-х годах волы переправлялись из Украины в Москву и Петербург не по железной дороге, а гоном; по пути они паслись на специально для этого арендуемых землях. Под такие пастбища на выгодных условиях отдавалось около полутораста десятин яснополянской земли. Бывало летом чуть ли не ежедневно между шоссе и старой дорогой пасся один, а то и два или три гурта дымчатых флегматичных красавцев — украинских волов с большими рогами; их гнали на убой в Москву и Петербург. Гуртовщики жили в палатках, ночью разводили костры, видные издалека. Когда впоследствии гонять волов было запрещено из-за эпизоотий, их стали возить по железной дороге; тогда отец отдал землю из-под пастбища волов яснополянским крестьянам исполу под хлеба; первые года на этой земле, удобренной многолетним пастбищем, получались хорошие урожаи, поправившие благосостояние крестьян.

Выгодной статьей в хозяйстве был лес. Чтобы увеличить свое состояние, отец почти не рубил свои леса. Он считал, что лес — это капитал, который путем естественного прироста сам по себе накопляется. — Леса — это приданое дочерям, — говорила моя мать.

Несмотря на то, что леса охранялись об'ездчиком и лесными сторожами, порубки, конечно, были; но отец никогда не обращался в суд. Около деревни была роща, из которой крестьяне довольно свободно брали лес для своих надобностей, на что отец смотрел сквозь пальцы.

Некоторые березовые посадки, посаженные отцом, через 35 и 40 лет были вырублены и дали хороший доход, а от корней берез опять вырос лес.

Посадки яблонь очень расширили яблочный сад, дававший в некоторые годы громадный урожай яблок. Но часть посадок была сделана на северном склоне, и яблони росли очень туго. Ухода за садом почти не было — его не обрезали и не опрыскивали, и со временем он пришел в запущение.

Хозяйством в Ясной поляне лет 20, до своей смерти, в 1881 г., заведывал «приказчик» Алексей Степанович Орехов, бывший с детства слугою отца; это был добрый, степенный, сравнительно честный, но вялый человек и большой консерватор в хозяйстве. Вообще Ясная поляна давала мало дохода, особенно потому, что усадьба поглощала большое количество получаемых с имения продуктов: молоко, муку, сено, овес для лошадей и пр. Кроме того, много денег и продуктов расходовалось на поденных, служащих и их семьи.

Другое имение отца—Никольское-Вяземское—перешло к Толстым, как приданое моей прабабки кн. П. Н. Горчаковой. После смерти ее мужа, Ильи Андреевича Толстого, оно было взято в опекунский совет за долги, но затем выкуплено его сыном Николаем Ильичем. В 1847 г., по разделу между братьями Толстыми, оно досталось старшему брату, Николаю Николаевичу, а после его смерти в 1860 г. — моему отцу. Это имение находится в Чернском уезде, на реке Черни, в 100 верстах к югу от Ясной поляны, в 20 верстах от города Черни, в 18 верстах — от Мценска, в 15 верстах — от имения И. С. Тургенева Спасское-Лутовиново, в 12 верстах от имения Фета — Новоселки, в 20 верстах от Покровского, имения Валерьяна Петровича Тол-

стого, мужа моей тетки Марии Николаевны, и в таком же расстоянии от Черемошни, имения старого друга нашей семьи — Д. А. Дьякова.

В конце 50-х годов в Никольском жил дядя Николай Николаевич, и у него нередко бывали мой отец и соседи — Дьяков, Фет, Тургенев, Борисов и другие.

Отец жил в Никольском в то время, когда произошла ссора между ним и Тургеневым. Богословский погост, близ которого он предлагал Тургеневу стреляться, находится как раз на полдороге между Никольским и Спасским.

Никольское-Вяземское — довольно большое село. Жители его в прежнее время были бедны и серы и жили по-старинному; избы их топились по-черному, одежда была домотканная, бабы одевались в паневы и сарафаны, в праздничные дни вдевали в уши пушки и пели старинные песни. Описание в «Воскресеньи» дальней деревни, где Нехлюдов предлагал крестьянам свой земельный проект, напоминает Никольское-Вяземское.

Земли в имении было около 1 200 дес. Приблизительно, треть именья была под хорошо забереженым лиственным лесом, в котором постоянно водился выводок волков.

Усадьба находилась на красивом высоком месте. Внизу протекала речка Чернь и шумела мельница. Старый дом, в котором когда-то жил кн. Горчаков и его зять, дед моего отца, И. А. Толстой, уже не существовал — он развалился; вместо дома был небольшой флигель, крытый соломой. Остальные постройки были также довольно первобытны.

Вблизи дома стояла церковь, выстроенная моим дедом Н. И. Толстым, во исполнение обета, данного им на войне.

При Н. Н. Толстом имением управлял строгий бурмистр — дореформенного типа — Петр Евстратов Воробьев, а потом, кажется, с 1862 г. управляющим поступил Иван Иванович Орлов, из духовных, бывший учителем в одной из учрежденных моим отцом школ в Крапивенском уезде. Он управлял имением 28 лет — до 1890 года — и, хотя раньше хозяйством не занимался, первое время хорошо вел дело и давал порядочный доход; потом он стал пить и запустил дело. С крестьянами он был строг, но справедлив, и никогда не судился, за что они его уважали. Я слышал про него, что, рассердившись, он хватал человека двумя пальцами за нос и, крепко сжимая пальцы, водил его из стороны в сторону. У него была привычка чуть ли не к каждому слову прибавлять «слово ер» (сокращенный «сударь»). Рассказывали, что даже лошади, на которой он спускался с горы, он говорил: «Здесь круто-с; потише-с! Тпру-с, тпру-с».

Один крестьянин села Никольского — Тихон Малахов — был известным конокрадом, которого все боялись. Иван Иванович, предполагая, что конокрад не будет у своего хозяина красть лошадей, нанял Тихона в лесные об'ездчики. И, действительно, с поступлением Тихона, лошадей в имении не крали, но порубки участились, и пришлось Тихона уволить. После этого как-то Иван Иванович встретился с Тихоном один на один в лесу, и, как мне рассказывал Иван Иванович, между ними произошел такой разговор:

— Напрасно вы меня уволили, — сказал Тихон, — как бы вам худо не было.

— Какое худо-с? — спросил Иван Иванович.

— Мало ли какое; может, у вас скотина пропадет, или красный петушек...

— Красный петушек-с! Красный петушек-с! — заволновался Иван Иванович. — Так знайте-с, если у меня что-нибудь загорится, то вся ваша слобода сгорит-с, начиная с вашего дома-с. Так-то-с.

Угроза, повидимому, подействовала, и ни пожара, ни увода лошадей у Ивана Ивановича не произошло.

В хозяйстве у Ивана Ивановича были оригинальные приемы. Так, например, он ничего не страховал, находя это убыточным, но хозяйственные постройки построил далеко друг от друга, для того чтобы в случае пожара — огонь с одной постройки не перекинулся на другую. Последствием этого было воровство из дальних построек и большой расход на сторожей. Или, например, он разбрасывал солому в поле и запахивал ее, как навоз, говоря, что не стоит держать скотину из-за навоза. Крестьяне этим пользовались и ночью увозили солому к себе. Несмотря на эти странности, Иван Иванович выгодно хозяйничал, сажал много картофеля и продавал его на винокуренный завод или поставлял свеклу на соседний сахарный завод Нагорнова.

Заговорив об Иване Ивановиче, я вспоминаю, как однажды отец, когда мы с ним верхами возвращались с охоты, задал мне вопрос, который иногда любил задавать:

— О чем ты сейчас думаешь?

Не помню, что я ответил, но, осмелившись, я, в свою очередь, спросил его, о чем он сейчас думал.

Он усмехнулся и сказал:

— Я думал о том, честен ли Иван Иванович, и как неприятно подозревать кого-нибудь в нечестности.

— А ты считаешь Ивана Ивановича честным? — спросил я.

— Да, я думаю, что он честен.

Отец изредка ездил в Никольское-Вяземское, проверял Ивана Ивановича и был с ним в переписке, а иногда Иван Иванович приезжал с отчетом в Ясную поляну.

Чтобы дать понятие об отношении отца к хозяйству и, в частности, к Ивану Ивановичу, приведу следующие его два письма (неизданные):

«Иван Иванович!

Деньги мне еще рублей 500 очень нужны. Постарайтесь продать дрова и собрать по мелочам. Рожь Вы продали очень невыгодно. Здесь мука 42 коп. за пуд, следовательно, 3 р. 78 к. (за четверть), вычесть провоз по 6 коп. с пуда — 54 коп., по 7 коп. — 53. Дешевле 3 р. 10 к. нам муку нельзя продавать. Кроме того, никогда не надо продавать рожью, а надо продавать мукою. Это 50 коп. на четверти расчета. Пожалуйста, займитесь молоньем

ржи на муку и когда нужно будет продавать, то не иначе, как мукою, да прицените, что возьмут за провоз до Ясной. Кроме того, узнайте, не нужна ли мука на заводы около Вас, и я полагаю, что Вы продадите не дешевле 3 рублей.

Желаю Вам всего лучшего и надеюсь скоро быть у Вас.

3 декабря. Гр. Л. Толстой».

«Иван Иванович!

Очень рад, что ни в чем не могу упрекнуть Вас. Поверьте, что я этого желаю не меньше, чем Вы. Дело в том, что одно короткое, но очень важное письмо, которое я Вам писал из Москвы, пропало. В письме я писал: продавайте хлеб по существующим ценам и платите долги. Теперь же мои распоряжения следующие: продавайте хлеба — ржи и овса (предоставляю Вам решить чего больше) на 1 200 руб. и внесите их в уплату Дохтурову в совет и в приказ. Недостающие деньги для полной уплаты рублей 700 у меня есть, и я пошлю их туда, куда это будет нужно в одно время, или хоть раньше Ваших 1 200. Пришлите мне черновую бумагу, при которой бы я мог послать эти деньги. Или, что бы было лучше всего, приезжайте сами, запродав хлеб в Никольском.

Вы мне слегка пишете про скотину, а я ей очень интересуюсь. Даете ли Вы соли и теплое пойло, котились ли овцы и содержите ли Вы особенно отборных? У меня не достало нынешний год корма для скота, и я в первую оттепель намерен прислать к вам штук 15 скотин. Есть ли хорошее помещение? Посылаю Вам четырех собак. Дайте им место в сарайчике, в котором велите переменить солому, а их держите на воле, когда они привыкнут. Одна гончая сука щенна от хорошей собаки, и ее поручите кому-нибудь, чтобы как можно лучше выкормить щенят. Из лягавых при первом случае привезите или пришлите мне черного большого, с белыми отметинами, кобелька. Из борзых особенно хороша пестрая Бланка, и ее прошу особенно беречь и соблюсти. На Ваш вопрос о том, желаю ли я, чтобы Вы писали мне ежемесячно, отвечаю: да. И ежемесячно присылайте мне ведомости краткие, денег и хлеба. До свиданья.

Гр. Л. Толстой».

22 января (60-е годы).

* * *

Самарское имение [1]) было куплено отцом на деньги, полученные им за свои сочинения, в два приема: в 1873 г. он купил у генерала Тучкова около 1 800 десятин по 8 рублей за десятину, а в 1877 г. у барона Бистрома около 4 500 десятин по 12 руб. за десятину. Доходов с этого имения почти не получалось. Отец не мог как следует наблюдать за хозяйством в этом име-

[1]) О самарском имении и наших поездках туда я предполагаю написать в следующих главах моих воспоминаний.

нии, так как жил за тысячу верст от него и приезжал туда на короткое время. Тем не менее, это была выгодная покупка: земля в Самарской губернии с каждым годом возрастала в цене; проценты с капитала, затраченного на покупку, как бы прилагались к нему. И мои младшие братья, которым это имение впоследствии досталось по разделу, продали его во много раз дороже той цены, за которую оно было куплено.

VII.

В былое время многие помещики на охоту смотрели скорее как на дело, чем как на забаву. Например, я знал одного небогатого помещика В. Н. Б., который так серьезно относился к охоте, что, предполагая охотиться на матерого волка, утром брился и надевал чистую рубашку, подобно римлянам перед битвой. Мой дед Николай Ильич и его сыновья все были охотниками. Николай Николаевич много охотился на Кавказе, Сергей Николаевич бывало уезжал на несколько недель «в от'езжее поле», а как Лев Николаевич любил охоту, можно видеть из его произведений.

Охота для моего отца не была предлогом для того, чтобы побыть в веселой компании, приятно позавтракать на лоне природы или потщеславиться своим выездом и собаками. На охоте он любил одиночество, природу и то особое охотничье настроение, когда охотник, созерцая природу или страстно гонясь за добычей, забывает всякие житейские дрязги; на охоте же он задумывал свои произведения. Он говорил, что только охотник и земледелец чувствуют красоту природы.

Он охотился разными способами: с лягавой, с гончими и с борзыми.

Я с детства помню друга нашей семьи — желтого ирландского сеттера, умную ласковую Дору; отец назвал ее Дорой в честь Доры, героини романа Диккенса «Давид Копперфильд». Позднее, другая собака — Боффин — была также названа именем одного из героев Диккенса. Собака «Ласка» в «Анне Карениной» очень напоминает Дору. С Дорой отец ездил на болота за дупелями, бекасами, утками, тетеревами и вальдшнепами. Он стрелял хорошо и был неутомим, так что Дора уставала раньше его — бывало, начнет часто дышать, высуня язык, и смотрит ему в глаза с мольбой не посылать ее больше в болото; когда же все-таки он ее посылал, она хитрила, вела в поле и притворялась, что делает стойку на перепелов.

Отец в то время не только не был вегетарианцем, но без жалости убивал животных на охоте. Так, например, подстрелив птицу, он так добивал ее: выдернет перо из ее крыла и вонзит это перо ей же в голову. Нас он учил поступать таким же образом.

Другая охота с ружьем была охота с гончими. Неохотник не поймет прелести гона гончих, когда какой-нибудь Будило вдруг зальется по свежему следу зайца или лисицы, к нему присоединятся голоса других собак, дружный хор всей стаи быстро к вам приближается, и вдруг через поляну, где вы стоите, пробегает заяц или лисица. Прелести этой охоты много способствовала красота осеннего леса, особенно Засеки, этого огромного, дикого, безлюдного леса.

У нас не было много собак. Гончих бывало два-три смычка, борзых — две-три своры (считая по две собаки на смычок и свору). Собаки назывались отцом согласно с охотничьими традициями. Гончие назывались: «Шумило», «Будило», «Звонило», «Змейка» и т. п.; борзые — «Жиран», «Туман», «Поражай», «Лебедь», «Ерза», «Крылатка», «Милка» и т. п. Отец был недоволен когда заведывавшая собаками Агафья Михайловна назвала одну гончую «Купцом» за ее толщину, а борзую за вороватость — «Жуликом».

Для кормления их и ухода за ними назначался обыкновенно кто-нибудь из служащих — дворник, об'ездчик или конюх, но, в сущности, заведывала собаками Агафья Михайловна, бывшая когда-то горничной моей прабабки Пелагеи Николаевны, затем экономкой и, наконец, «собачьей гувернанткой», как мы ее называли. Она любила всяких животных и особенно пристрастилась к собакам. Живя на пенсии, она бескорыстно занималась ими и нередко тратила на них свои деньги [1]).

Больше всего отец охотился с борзыми. Борзые у него были не лохматые — псовые, а полукровные английские или «хортые», с гладкой шерстью, породы Тучковых.

Охотились мы в «наездку». С нами обыкновенно ездили конюх или дворник, приставленный к собакам, иногда гости или кто-нибудь из прислуги — любители охоты. Например, одним из таких охотников по призванию был крестьянин Ясной поляны Михаил Зорин.

С утра мы выезжали верхами с собаками на сворах и равнялись по полям, т. е. ехали на некотором расстоянии друг от друга с тем, чтобы «наехать» на зайца или на лисицу. В овражках с кустиками, в густой траве, в картофельных полях мы хлопали арапниками, чтобы поднять зайца, а когда он выскакивал, мы кричали: «Ату его!» и скакали за ним. А когда удавалось «подозрить» зайца, т. е. увидеть его на лежке, то надо было немного от'ехать от него, чтобы не испугать и, подняв арапник, протяжно кричать: «Ату его!..». И, только когда остальные охотники с'езжались, зайца выпугивали и начиналась травля.

Отец научил меня всем охотничьим приемам, и одно время я очень любил эту охоту. Бывало, едешь себе шагом на доброй лошадке с двумя собаками на своре, движениями рук, больше чем словами, разговариваешь с лошадью и собаками, осматриваешь межки и хлопаешь арапником по дубовым кустикам или по высокой траве. Голые поля наводят тихую грусть, и в то же время страстно хочется наехать на зайца или лисицу.

Вдруг из-под межки выскакивает наполовину выцветший русак, выбрасывая задними ногами и подняв кверху свой пушок (хвостик). Куда девалась тихая грусть! Я спускаю со своры собак, кричу отчаянным голосом: «ату его! ату его!» и скачу за зайцем. Остальные охотники так же как с цепи срываются и скачут за собаками. Обыкновенно, прежде чем поймать зайца, собаки делают ему угонки: какая-нибудь собака догонит зайца,

---

[1]) Об Агафье Михайловне см. Т. Л. Сухотина-Толстая. — Гости Ясной поляны, 1923.

хочет его схватить, а он увильнет в сторону, и она проносится мимо; зайца догоняет другая собака, он опять увиливает и т. д., пока его не схватит какая-нибудь собака или пока он не уйдет, т. е. добежит до леса, где и скроется. Охотники ценили особенно ту собаку, которая сделает первую угонку. Вот «Милка» сделала первую угонку, «Ерза» — вторую, а старый «Жиран», пользуясь этим и скакнув зайцу наперерез, схватывает его и кубарем катится по земле вместе с ним. Тотчас же остальные собаки прискакивают и хватают зайца; вокруг него образуется кружок собак; он кричит, как ребенок. Я прискакиваю, спрыгиваю с лошади, отгоняю собак, закалываю зайца, отрезаю его лапки (пазанки), бросаю их собакам, а зайца вторачиваю за седлом. Странно, что при этом я не испытывал чувства жалости к зайцу; неприятно только было слышать его крик.

Охота на лисиц происходила тем же порядком; только, увидев лисицу, кричат не «ату его», а «у-лю-лю». Лисица бежит тише зайца, и в чистом поле собакам легко ее поймать, несмотря на ее увертки; трудность состояла в том, чтобы издали увидеть ее и показать собакам.

Иногда охота в наездку приводила к неприятным столкновениям. Случалось, что какая-нибудь борзая, спущенная со своры, хватала овец в крестьянском стаде. Такую собаку отец нещадно бил или приказывал бить арапником, причем собаку крепко держали за ее заднюю ногу для того, чтобы она не могла укусить. Если же в следующие охоты эта собака продолжала хватать овец, ее убивали. За овец, конечно, отец платил втридорога. Однажды он затравил желтую собаку, издали приняв ее за лисицу. Случалось также, что крестьяне протестовали против езды по их зеленям, в чем они были правы; в сырое время года проезд охоты по зеленям оставлял на них следы. Однако неприятности с крестьянами случались редко и обыкновенно мирно улаживались, так что никогда до суда не доходили.

Самая приятная и добычливая охота была по пороше, когда мы находили зайцев по следам и когда зайцы, благодаря их коротким передним ногам, не могли быстро бежать по глубокому снегу. В порошу удавалось затравить до десяти зайцев в несколько часов.

После переезда в Москву отец понемногу оставил охоту. Не помню точно, когда он в последний раз охотился. Собаки понемногу перевелись, Агафья Михайловна постарела и затем умерла, осенью нам надо было жить в Москве, и только мои младшие братья продолжали охотиться, но большею частью уже не с борзыми, а с лягавыми или гончими собаками.

В настоящее время я согласен с тем, что охота — злая забава, и что если приходится убивать животных, то на это надо смотреть как на печальную необходимость. Но я с удовольствием вспоминаю, как я охотился вместе с отцом. В то время он непосредственно, не рассуждая, отдавался своему спортивному чувству, и это чувство испытал и я.

Переписка Л. Н. Толстого с И. И. Панаевым.

М. Цявловский.

Из переписки Л. Н. Толстого с И. И. Панаевым нам известно пятнадцать писем — шесть писем Толстого и девять — Панаева. Из этих пятнадцати писем до сих пор опубликовано полностью лишь два письма Толстого и две трети одного письма Панаева.

С Иваном Ивановичем Панаевым (1812—1862), известным писателем, соиздателем и соредактором Н. А. Некрасова по «Современнику», Л. Н. Толстой познакомился в двадцатых числах ноября 1855 года по приезде из Севастополя в Петербург. Но до этого, в качестве сотрудника «Современника», каковым Толстой сделался в июле 1852 года, отослав Некрасову свое «Детство», Лев Николаевич был в довольно оживленной переписке с И. И. Панаевым, помогавшим Некрасову в редактировании «Современника». Особенной близости между Толстым и Панаевым никогда не было, и общались они преимущественно на деловой почве, чем и объясняется исключительно историко-литературный интерес печатаемых писем.

Из этих тринадцати писем девять писем И. И. Панаева хранятся в архиве Толстого (в Публичной библиотеке имени Ленина в Москве) [1]), а четыре письма Толстого — в Пушкинском доме в Ленинграде.

№ 1.

И. И. ПАНАЕВ — Л. Н. ТОЛСТОМУ.

1855 г. Мая 3. Петербург.

С. Петербургъ, 3 мая 1855.

Милостивый Государь

Графъ Левъ Николаевичъ,

Некрасовъ уѣхалъ въ деревню и, кажется, отправляется потомъ за границу [1]. — «Современникомъ» теперь завѣдую я и потому прибѣгаю къ Вамъ съ покорнѣйшею просьбою адресоваться уже прямо на мое имя, въ контору «Современника».

---

[1]) Разработка архива Л. Н. Толстого производится с 1918 г. Кооперативным товариществом изучения и распространения творений Л. Н. Толстого.

Некрасовъ, между прочимъ, увѣдомилъ меня, что Вы обѣщали выслать Военные разсказы [2] теперь и прислать Ваше «Юношество» къ осени [3]... Не могу Вамъ выразить, съ какимъ нетерпѣніемъ ожидали мы, всѣ почитатели Вашего таланта (а такихъ у Васъ очень много), и того и другого. Меня особенно безпокоитъ, что я не получалъ еще отъ Васъ посылки, потому что Некр. сказалъ мнѣ, что Вы обѣщали ее немедля выслать.

Деньги, слѣдовавшія Вамъ, отданы Некр-мъ, если не ошибаюсь, черезъ Тургенева Вашему зятю. Потрудитесь увѣдомить—получили ли Вы ихъ?.. [4]

Ваше участіе въ журналѣ моемъ такъ важно, что его будущее связано нѣкоторымъ образомъ съ Вашими трудами. — Не лишайте же ихъ «Современникъ» — и еще болѣе русскую публику, которая Васъ такъ любитъ и цѣнитъ.

Преданный Вамъ
Иван Панаев.

1. Некрасов уехал из Петербурга в свое костромское имение в середине апреля. Из Костромской губернии он уехал в Москву, к В. П. Боткину, на дачу в Петровском парке. За границу в этот год Некрасов не уехал.

2. В письмах от 19 декабря 1854 г. и от 11 января 1855 г. к Некрасову (напечатаны в кн. «Архив села Карабихи», М. 1916, стр. 190—193 и 201—202) Лев Николаевич предлагал ему для помещения в «Современнике» рассказы и статьи, заготовленные для задуманного кружком офицеров артиллерийского штаба Южной армии военного журнала, не разрешенного Николаем I.

3. О работе над «Юностью» Толстой писал Некрасову в не дошедшем до нас письме от первой половины апреля.

4. Речь идет о гонораре за «Отрочество», напечатанное в октябрьской книжке «Современника» за 1854 г. Некрасов писал Льву Николаевичу 17 января 1855 г.: «... несколько дней тому назад Тургенев, уезжая в Москву, сказал мне, что увидит там Вашу сестру [Марию Николаевну Толстую] и ее мужа [Валерьяна Петровича Толстого], и я дал Тургеневу деньги, прося послать их Вам, если Ваши родные знают верный Ваш адрес и имеют от Вас известия» (альманах «Круг», кн. шестая, М. 1927, стр. 192). 9 апреля Вал. Петр. Толстой писал Льву Николаевичу: «Посылаю тебе при сем 200 рублей серебром, полученных мною в Москве от Некрасова через Ивана Сергеевича Тургенева, в коих я дал и расписку и нарочно призадержал эти деньги, зная, что им у тебя не вод» (письмо не опубликовано).

№ 2.

И. И. ПАНАЕВ — Л. Н. ТОЛСТОМУ.

1855 г. Мая 19. Петербург.

С. Пб., 19 мая 1855.

Милостивый Государь
Графъ Левъ Николаевичъ,

Я писалъ къ Вамъ съ мѣсяцъ назадъ тому [1], адресуя мое письмо въ Штабъ Главнокомандующаго. Не знаю, получили ли Вы его? Послѣ того я получилъ отъ Васъ Вашъ превосходный очеркъ С е в а с т о п о л ь

въ Декабрѣ, который уже и напечатанъ въ VI книжк. Совр. — съ небольшими цензурными пропусками. Редакція ничего не измѣняетъ въ Вашихъ статьяхъ — и если онѣ печатаются не совсѣмъ такъ, какъ присылаются, то это уже вина не наша, а Ценсуры [2]. — Умоляю Васъ присылать въ Соврем. статьи въ родѣ присланной... Онѣ будутъ читаться съ жадностію. О продолженіи такого рода статей я объявилъ уже въ примѣчаніи къ Вашей статьѣ [3]... Я писалъ Вамъ, что деньги, слѣдующія Вамъ, были отданы И. С. Тургеневу, который передалъ ихъ Вашему зятю для отсылки къ Вамъ. Получили ли Вы ихъ, наконецъ?.. И какъ мнѣ посылать Вамъ впередъ слѣдуемыя деньги: 1) — Куда? 2) За каждую статью или за нѣсколько вдругъ?.. Увѣдомьте меня обо всемъ этомъ,— адресуя прямо на мое имя и въ мою квартиру Ив. Ив. Панаеву на углу Загороднаго проспекта и Ивановской улицы, въ домъ Погребова.

Прямо по этому адресу письма Ваши я буду получать скорѣе.

Мы всѣ, интересующіеся сколько-нибудь русской литературой, молимся за Васъ да спасетъ Васъ Богъ!

...Очень жаль, что я не видѣлъ одинъ разъ мелькомъ, случайно того офицера, съ которымъ Вы прислали Вашъ разсказъ. Я его просилъ ко мнѣ, и онъ взялъ мой адресъ, но не былъ у меня [4].

Пожалуйста, Левъ Николаевичъ, не забывайте русскую литературу и Современника, если въ Севастополѣ можно теперь о чемъ-нибудь помнить.

Буду надѣяться получить от Васъ статью и письмо.

Преданный Вамъ
И. Панаев.

1. Письмо это не дошло до нас.

2. Так как рукописи «Севастополя в декабре», посланной в конце апреля Толстым в «Современник», до нас не дошло, то нельзя сказать, что̀ именно не пропустила цензура в рассказе. Судя по тексту рассказа в книге Толстого «Военные рассказы», изд. 1856 г., текст в «Современнике» не подвергся существенным искажениям.

3. «Севастополь в декабре» в «Современнике» 1855 г. (июньская книжка) сопровожден таким примечанием редакции: «Автор обещает ежемесячно присылать нам картины севастопольской жизни вроде предлагаемой. Редакция «Современника» считает себя счастливою, что может доставлять своим читателям статьи, исполненные такого высокого современного интереса, и притом написанные тем писателем, который возбудил к себе такое живейшее сочувствие и любопытство во всей читающей русской публике своими рассказами: «Детство», «Отрочество», «Набег» и «Записки маркера».

4. Кто был офицер, с которым Лев Николаевич посылал «Севастополь в декабре», неизвестно.

На это письмо Толстой отвечал письмом от 14 июня 1855 г.

№ 3.

И. И. ПАНАЕВ — Л. Н. ТОЛСТОМУ.

1855 г. Мая 31. Петербург.

С. Петербургъ, 31 Мая, 1855.

Милостивый Государь
Графъ Левъ Николаевичъ,

Статья Ваша «Севастополь въ Декабрѣ» напечатана въ 6 книжкѣ «Соврем[енника»] (отдѣльную брошюру [1] я посылаю къ Вамъ при семъ). — Статья эта съ жадностью прочлась здѣсь всѣми, отъ нея всѣ въ восторгѣ — и между прочимъ Плетневъ [2], который отдѣльный ея оттискъ имѣлъ счастіе представить Государю Императору на сихъ дняхъ. — Тысячу разъ благодарю Васъ за эту статью. Мы всѣ здѣсь молимся да хранитъ Васъ Богъ для чести и славы русской литературы! — Статья Столыпина [3] была исправлена редакціей, — она очень интересна и должна была быть напечатана также въ 6 книжкѣ, но предсѣдатель Ценсурнаго Комитета (извѣстный вамъ по Казани Пушкинъ [4]) вдругъ остановилъ ее — говоря, что въ этой статьѣ описываются военныя дѣйствія, а Соврем. не дозволено писать объ этомъ; но я уже протестовалъ противъ этого; былъ вчера у Министра [5] и подалъ ему записку о произвольномъ толкованіи Мусина-Пушкина и объявилъ ему между прочимъ, что если намъ будутъ запрещать подобныя статьи, то оставаться теперь редакторомъ литер. журнала постыдно. Кажется, дѣло обойдется — и статейка Столып. будетъ напечатана въ 7 книжкѣ... Жду съ нетерпѣніемъ статей Ростовцова [6], Бакунина [7] и Вашихъ. Сейчасъ ѣду къ Ан[н]енкову — вице-директору Инспекторск. Д-та, чтобы посредствомъ него завести постоянныя сношенія съ Вами черезъ курьеровъ [8]. Алексѣю Столыпину [9] я показывалъ уже въ корректурахъ статью — Ар. Столыпина.

Пишите и шлите все скорѣй сюда... Мы ждемъ Васъ изъ Севастополя съ нетерпѣніемъ страшнымъ.

Преданный Вамъ
И. Панаев.

Письмо является ответом на письмо Толстого от 30 апреля, адресованное Н. А. Некрасову и напечатанное в кн. И. И. Панаева «Литературные воспоминания с приложением писем разных лиц», Спб. 1888, стр. 414—415.

1. Т.-е. оттиск.

2. Плетнев, Петр Александрович (1792—1865), друг Пушкина, профессор и ректор Петербургского университета, академик. Впоследствии Толстой познакомился с П. А. Плетневым и был с ним в переписке, которая напечатана Л. Б. Модзалевским в сб. «Толстой 1850—1860. Материалы, статьи». Ред. В. И. Срезневского, Л. 1927.

3. Столыпин, Аркадий Дмитриевич (1821—1899), сослуживец Толстого по Севастополю, впоследствии генерал-адъютант, ген.-от-инфантерии. С ним Лев Николаевич был в дружеских отношениях. Статья Столыпина «Ночная вылазка в Севастополе. Рассказ участвовавшего в ней», посланная Толстым при письме от 30 апреля, как и предполагал Панаев, была напечатана в июльской книжке «Современника» за подписью «Ст...» и с примечанием редакции: «Сообщением этой статьи мы обязаны г. Л. Н. Т.».

4. Пушкин — Михаил Николаевич Мусин-Пушкин (1795—1862), в 1829—1845 гг. попечитель Казанского, а в 1845—1856 гг. — Петербургского учебного округа.

5. Министром народного просвещения в 1854—1858 гг. был Абрам Сергеевич Норов (1795—1869).

6. Ростовцев, гр. Николай Яковлевич (1831—1897), сын известного государственного деятеля гр. Якова Ивановича Ростовцева, сослуживец Толстого по Севастополю, впоследствии военный губернатор и командующий войсками Самаркандской области.

7. Бакунин, Александр Александрович (1821—1908), брат знаменитого революционера Михаила Александровича Бакунина. В марте 1854 г. поступил юнкером в Тобольский полк, с этим полком пошел в Румынию, потом в Севастополь; прослужил всю кампанию, получив георгиевский крест. Впоследствии выдающийся земский деятель, участник движения за соединение Италии.

Н. Я. Ростовцев и А. А. Бакунин были членами кружка офицеров, задумавших издавать военный журнал.

В письме от 30 апреля Толстой писал Некрасову, что «лучшие два сотрудника, Бакунин и Ростовцев, еще не успели кончить своих статей».

8. Анненков, Иван Васильевич (1813—1887), брат известного критика и редактора собрания сочинений Пушкина 1855—1857 гг., Павла Васильевича Анненкова, в 1853—1855 гг. был вице-директором инспекторского департамента военного министерства.

9. Алексей Аркадьевич Столыпин (1816—1858) — двоюродный брат приятеля Толстого Аркадия Дмитриевича Столыпина, приятель Лермонтова, известный под именем «Монго».

Следующее из сохранившихся писем письмо Толстого к Панаеву от 14 июня 1855 г. напечатано в «Новом сборнике писем Л. Н. Толстого», собр. П. А. Сергеенко, под редакцией А. Е. Грузинского, изд. «Окто» 1912, стр. 1—2.

№ 4.

Л. Н. ТОЛСТОЙ — И. И. ПАНАЕВУ.

1855 г. Июня 16. Буюк-Сюрень.

Милостивый Государь
Иванъ Ивановичь!

Чтобы сдержать свое обѣщаніе [1] и прислать Вамъ Рассказъ Юнкера для 7-ой книжки Современника, посылаю его Вамъ непереписаннымъ въ немножко непрезентабельномъ видѣ. Вы замѣтите однако, что, несмотря на перемарки, все очень четко и ясно [2]. Я очень боюсь, чтобы Вы не приняли небрежность переписки за небрежность сочиненія, напротивъ ни одинъ разсказъ мнѣ не стоилъ столько труда и времени, поэтому [в ы р е з а н о н е с к о л ь к о с т р о к] ли бы были исключены уничтожили бы весь смыслъ разсказа, хотя то, что онъ мнѣ стоилъ много времени, нисколько не доказываетъ мнѣ его достоинства; напротивъ, онъ мнѣ кажется очень сомнительнымъ, и такъ какъ я его никому не показывалъ, то мнѣ очень интересно будетъ узнать о немъ Ваше мнѣніе, которое и прошу Васъ очень поскорѣе сообщить мнѣ и совершенно откровенно. Слѣдующій разсказъ будетъ Севастопольской [3]. Онъ немного не поспѣетъ къ VII книжкѣ, о чемъ я весьма жалѣю, тѣмъ болѣе, что Вы въ примѣчаніи къ моей статьѣ

обѣщали современныя статьи, тогда какъ я обѣщалъ только военныя [4]. Какъ бы то ни было, ежели Вы найдете разсказъ этотъ въ настоящемъ видѣ стоющимъ печатанія, печатайте, ежели нѣтъ, пришлите мнѣ его обратно. — Затѣмъ съ нетерпѣніемъ ожидая Вашего отвѣта, съ совершеннымъ уваженіемъ имѣю честь быть [вырезано несколько строк].

16 Іюня 1855
Буюкъ Сюрень [5]

На 4-й странице:

Его Высокоблагородію
Ивану Ивановичу Панаеву.

1. В письме к И. И. Панаеву от 14 июня 1855 г. Лев Николаевич писал, что надеется дня через 3 послать «Рассказ юнкера». Это — «Рубка лесу», напечатанная в сентябрьской книжке «Современника» за 1855 г.

2. Рукопись эта до нас не дошла.

3. Имеется в виду рассказ «Севастополь в мае», о котором см. в дальнейших письмах.

4. См. примечание 3-е к письму № 2.

5. Буюк-Сюрень или Буюк-Сюйрень — татарская деревня в долине р. Бельбека, на Ялтинском шоссе, в 12 верстах от Бахчисарая.

На это письмо Панаев отвечал письмом, полученным Толстым 20 июля (запись в дневнике) и до нас не дошедшим.

№ 5.

Л. Н. ТОЛСТОЙ — И. И. ПАНАЕВУ.

1855 г. Июля 4. Бельбек.

Милостивый Государь
Иванъ Ивановичь!

Посылаю Вамъ Севастопольскую статью [1]. Хотя я убежденъ, что она безъ сравненья лучше первой, она не понравится, въ этомъ я увѣренъ. И даже боюсь, какъ бы ее совсѣмъ не пропустили. Насчетъ того, чтобы ея не изуродовали, какъ Вы сами увидите, я принялъ всевозможныя предосторожности [2]. Во всѣхъ мѣстахъ, которыя показались мнѣ опасными, я сдѣлалъ варіянты съ такого рода знаками (в) или скобками означилъ, что выключить въ томъ случаѣ, ежели не понравятся цензурѣ.

— Ежели же сверхъ того, что я отмѣтилъ, стали бы вымарывать что-нибудь, рѣшительно не печатайте. Въ противномъ случаѣ это очень огорчитъ меня. Для заглавія я сдѣлалъ варіантъ [3], потому что «Севастополь въ Маѣ» слишкомъ явно указываетъ на дѣло 10 Мая, а въ Совр. не позволено печатать о военныхъ дѣлахъ. Напшисецкаго я замѣнилъ П—киным ъ на тотъ случай, ежели цензура скажетъ, что офицеръ не можетъ отъ флюса отказываться отъ службы; тогда это 2 различные офицера [4]. Польскую фразу, ежели можно помѣстить, то съ переводомъ въ

выноскѣ, ежели нельзя, то русскую, которая подъ знакомъ (+) [5]. И еще ругательства Русскія и французскія нельзя ли означить точками, хотя безъ начальныхъ буквъ, ежели нельзя, но они необходимы [6].

Вообще надѣюсь, что Вы будуте такъ добры защитить сколько можно мой разсказъ — зная лучше взгляд цензуры, вставите ужъ впередъ нѣкоторые варіанты, чтобы не разсердить ея и какія-нибудь незначительныя, непредвидѣнныя измѣненія сдѣлаете такъ, чтобы не пострадалъ смыслъ. Очень ожидая отвѣта Вашего на 2 письма моихъ [7] и еще разъ повторяя покорную просьбу покровительствовать и защитить этотъ послѣдній разсказъ,

имѣю честь быть
Вашъ покорнѣйшій слуга
Гр. Л. Толстой.

4 Іюля 1855
Бельбекъ [8].

№-а подраздѣленія и черточки, пожалуйста, также оставьте, как они у меня въ рукописи.

На 1-й странице.

Его Высокоблагородію
Ивану Ивановичу
Панаеву

1. «Севастополь в мае», оконченный 26 июня (дата в конце текста).
2. Посланная Толстым рукопись до нас не дошла. В архиве б. министерства народного просвещения (в Ленинграде) имеются корректурные полосы рассказа «Севастополь в мае», текст которых, хотя уже и «посмягченный и посглаженный» Панаевым (см. следующее письмо), все же еще близок к тексту посланной Толстым рукописи. Текст этих корректурных полос и положен нами в основу текста, напечатанного в «Полном собрании художественных произведений Л. Н. Толстого», издаваемом в качестве приложения к ж. «Огонек», т. I, стр. 362—394.
3. Вариант был «Ночь весною в Севастополе» — см. следующее письмо.
4. См. стр. 368 и 374 указанного издания.
5. См. стр. 375 указанного издания.
6. См. стр. 393 указанного издания.
7. Письма от 14 и 16 июня.
8. Бельбек — лагерь в 20 верстах от Севастополя на р. Бельбек, в котором стояла батарея Толстого.

№ 6.

И. И. ПАНАЕВ — Л. Н. ТОЛСТОМУ.

1885 г. Июля 18. Петербург.

С. Петерб. 18 Іюля.

Благодарю Васъ несказанно, Левъ Николаевичъ, за Вашъ разсказъ Ночь весною въ Севастополѣ [1]. Я сейчасъ получилъ его и прочелъ. Вы правы: разсказъ этотъ несравненно лучше перваго, но онъ

меньше понравится, по той причинѣ, что героемъ его — правда [2], а правда колетъ глаза, голой правды не любятъ, къ правдѣ безъ украшенiй не привыкли. Сдѣлаю все, что могу, дабы защитить его отъ ценсуры. Впечатлѣнiе разсказа тяжело (ахъ, какъ мы не привыкли къ правдѣ!) — и надобно бы было кое-что прибавить въ концѣ, что дескать все-таки Севастополь и русскiй народ и проч. для ценсуры, хотя это было бы пошловато [3]; но я кое-что посмягчилъ и посгладилъ, не портя сущности разсказа и предвидя за него борьбу съ ценсурою. Это было необходимо.

Пишу къ Вамъ черезъ Столыпина [4]. Я удивляюсь, какъ Вы не получили мое письмо по почтѣ [5], — въ отвѣтъ на присланный Вами разсказъ Рубка лѣсу — прелестный разсказъ, который будетъ въ сентябрьской книжкѣ.

Что Ростовцевъ и Бакунинъ? Поощряйте ихъ и присылайте разсказъ къ слѣдующимъ книжкамъ [6]. Вы не можете себѣ представить, съ какою жадностiю читаетъ ихъ вся Россiя. Тургеневъ Вамъ кланяется. Онъ пишетъ мнѣ, что Ваше посвященiе ему и прiятно и лестно [7].

Пишите ко мнѣ, — я на Васъ возлагаю всѣ мои надежды и увѣренъ, что Вы будете присылать и собственные разсказы и станете поощрять Вашихъ сотрудниковъ. Буквы Л. Н. Т. ждутъ всѣ въ журналѣ съ страшнымъ нетерпѣнiемъ — это не комплиментъ — а та-же голая правда, которая героемъ въ Вашемъ разсказѣ, хотя эта правда не нуждается ни въ малѣйшемъ украшенiи. Она прiятна и голая.

Посылаю Вамъ при семъ объявленiе Современника, изъ котораго Вы усмотрите, что теперь Вамъ нечего стѣсняться въ своихъ разсказахъ, ибо Совр. получилъ дозволенiе печатать даже военныя извѣстiя [8].

Да поощритъ это Васъ и Вашихъ сотрудниковъ!

Я аккуратно отвѣчалъ и буду отвѣчать на Ваши письма. Жаль, если они пропадаютъ на почтѣ.

Вашъ искренно преданный
Ив. Панаев.

Извините меня, что я такъ намаралъ. — Спѣшу, ибо нужно сiю секунду отправиться по дѣлу.

Письмо служит ответом на письмо Толстого от 4 июля.

1. См. примечание 3-е к предыдущему письму.

2. «Севастополь в мае» в тексте Толстого кончается словами: «Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его, который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда».

3. В «Современнике» (сентябрьская книжка за 1855 г.) рассказ «Севастополь в мае» кончается словами, прибавленными Панаевым: «Но не мы начали эту войну, не мы вызвали это страшное кровопролитие. Мы защищаем только родной кров, родную землю и будем защищать ее до последней капли крови...».

4. Столыпин, Аркадий Дмитриевич, о котором см. 3-е примечание к письму № 3. А. Д. Столыпин 7 июля был послан командующим войсками кн. М. Д. Горчаковым в Петербург с письмом к Александру II.

5. Письмо это не дошло до нас.

6. См. 6-е и 7-е примечания к письму № 3.

7. В письме к Панаеву от 14 июня Толстой писал: «Ежели Тургенев в Петербурге, то спросите у него позволения на статье «Рассказ Юнкера» надписать: посвящается И. Тургеневу. Эта мысль пришла мне потому, что, когда я перечел статью, я нашел в ней много невольного подражания его рассказам». Некрасов писал об этом Тургеневу в его Спасское (в письме от 30 июня — 1 июля): «Толстой посвятил тебе повесть Юнкер, которую прислал в «Современник» (Пыпин, «Некрасов», Спб. 1905, стр. 130), на что Иван Сергеевич отвечал 10 июля Панаеву: «Мне очень лестно желание его посвятить мне свой новый рассказ» (Панаев, Литературные воспоминания, изд. 1883 г., стр. 401).

8. В «Московских ведомостях».

На это письмо Толстой отвечал письмом от 8 августа 1855 г.

№ 7.

Л. Н. ТОЛСТОЙ — И. И. ПАНАЕВУ.

1855 г. Августа 8. Бахчисарай.

Милостивый Государь
Иван Иванович.

Письма [1] я Ваши получилъ и спѣшу отвѣтить особенно на послѣднее [2]. Очень благодарю Васъ за старанiе защитить Ночь весною отъ цензуры, пожалуйста вымарывайте, даже смягчайте, но ради Бога не прибавляйте ничего; это бы очень меня огорчило. Л. Н. Т.[3] не имѣетъ, могу Васъ увѣрить, ни на волосъ авторскаго самолюбiя, но ему бы хотѣлось оставаться вѣрнымъ всегда одному направленiю и взгляду въ литературѣ. — За Бакунина я обѣщалъ вамъ кажется неосторожно, онъ все это время былъ слишкомъ занятъ службой, а теперь раненъ. Ростовцевъ все обѣщаетъ и лѣнится [4]. Передайте пожалуйста Н. А. Некрасову, что я получилъ деньги за Св. Д. [Севастополь въ декабрѣ] и письмо, на которое прошу извиненiя, что не успѣлъ еще отвѣтить. Для Юности, онъ пишетъ, Вы приготовили мѣстечко въ Сентябрѣ [5]. Къ несчастiю, я не ранѣе могу прислать Вамъ ее, какъ въ половинѣ Сентября, но навѣрно, ежели только буду здоровъ и живъ, пришлю къ этому времени. Столыпинъ уже началъ разсказъ бывшаго дѣла [6], я тоже его может быть.—

Затѣмъ съ совершеннымъ уваженiемъ имѣю честь быть Вашъ покорный

Гр. Л. Толстой.

8 Августа 1855.
Бахчисарай.

Не будете ли Вы такъ добры принять на себя трудъ нѣсколькихъ денежныхъ комиссiй въ Петербургѣ. Вы бы меня чрезвычайно обязали.

1. Об одном письме Панаева, не дошедшем до нас и полученном Толстым 20 июля, у него записано в дневнике: «Сегодня получил письмо от Панаева. З[аписками] Ю[нкера] довольны, напечатают в VIII книжке».

2. Это предыдущее письмо от 18 июля.

3. Напечатанные в «Современнике» «Детство» (1852, № 9) и «Набег» (1853, № 3) были подписаны: «Л. Н.; «Отрочество» (1854, № 10), «Записки маркера» (1855, № 1) и «Севастополь в декабре» (1855, № 6) — «Л. Н. Т.».

4. Об А. А. Бакунине и Н. Я. Ростовцеве см. примечания 6-е и 7-е к письму № 3.

5. Толстой имеет в виду письмо к нему Н. А. Некрасова от 15 июня, при котором он посылал гонорар в 50 р. за «Севастополь в декабре» и в котором писал: «Для «Юности» также уже определено местечко в 9 № «Современника», уведомьте меня или Панаева, можете ли доставить ее к этому времени, т.-е. к половине августа» (альманах «Круг», М. 1927, стр. 197).

6. Столыпин, Аркадий Дмитриевич. «Бывшее дело» — сражение на Черной речке 4 августа. Статья Столыпина, вероятно, не была написана; по крайней мере в «Современнике» не появлялась. Не описал и Толстой этого сражения.

№ 8

И. И. ПАНАЕВ — Л. Н. ТОЛСТОМУ.

1855 г. Августа 28. Петербург.

Пбургъ, 28 Августа 1855.

Милостивый Государь

Графъ Левъ Николаевичъ,

В письмѣ моемъ къ Вамъ, черезъ Столыпина доставленномъ [1], я писалъ къ Вамъ, что статья Ваша пропущена цензурой съ незначит. измѣненіями, и просилъ Васъ не сердиться на меня за то, что надо было прибавить нѣсколько словъ въ концѣ для смягченія выраженія... Статья Ночь въ С. была уже совсемъ отпечатана въ числѣ 3 000 экземп., какъ вдругъ цензоръ [2] потребовалъ ее изъ типографіи, остановилъ выходъ № (Августовская книжка явилась поэтому в Пбургѣ 18 авг.) и въ отсутствіе мое изъ Пбурга (я на нѣсколько дней ѣздилъ въ Москву) [3] представилъ ее на прочтеніе Предсѣдателю Цензурнаго Комитета — извѣстному Вамъ по Казани — Пушкину. Если Вы знаете Пушкина, Вы можете отчасти вообразить, что послѣдовало. Пушкинъ пришелъ въ ярость, напалъ не только на Цензора и на меня — за то, что я представляю в Цензуру такія статьи и собственноручно передѣлал ее. Я между тѣмъ вернулся въ Пбургъ и увидѣвъ эту передѣлку, пришелъ въ ужасъ—и статью вовсе хотѣлъ не печатать, — но Пушкинъ въ объясненіи со мною сказалъ, что я обязанъ напечатать такъ, какъ она имъ передѣлана. — Дѣлать было нечего — и статья Ваша изуродованная явится в Сентябрьской книжкѣ, но безъ буквъ Л. Н. Т., которыя я уже не могъ видѣть подъ ней послѣ этого... Но статья эта была такъ хороша, что даже послѣ совершеннаго уничтоженія ея колорита, я давалъ ее читать Милютину [4], Краснокутскому [5] и другимъ. Всѣмъ она нравится очень — и Милютинъ пишетъ мнѣ, что грѣхъ, если я лишу читателей этой статьи и не напечатаю ее даже въ такомъ видѣ.

Не вините же меня во всякомъ случаѣ за то, что статья Ваша напечатана въ такомъ видѣ. — Я вынужденъ былъ это сдѣлать. — Если

Богъ приведетъ насъ когда-нибудь свидѣться (чего я очень желаю), я объясню Вамъ эту исторію яснѣе. — Теперь я скажу Вамъ два слова — о впечатлѣніи, которое Вашъ разсказъ (Ночь) производитъ вообще въ его первобытномъ видѣ — на насъ, на всѣхъ, которымъ я читалъ его... О ценсурѣ ужъ тутъ рѣчи нѣтъ...

/ Всѣ [6] находятъ этотъ разсказъ дѣйствительно выше перваго по тонкому и глубокому анализу внутреннихъ движеній и ощущеній въ людяхъ, у которыхъ безпрестанно смерть на носу; но той вѣрности, съ которою схвачены типы армейскихъ офицеровъ, столкновенія ихъ съ аристократами и взаимныя ихъ отношенія другъ къ другу, — словомъ, все превосходно, все очерчено мастерски; но все до такой степени облито горечью и злостью, все такъ резко и ядовито, безпощадно и безотрадно, что въ настоящую минуту, когда мѣсто дѣйствія разсказа — чуть не святыня, особенно для людей, которые въ отдаленіи отъ этого мѣста, — разсказъ могъ бы произвести даже весьма непріятное впечатлѣніе.

Рубка лѣсу, съ посвященіемъ Тургеневу, — появится также въ Сентябрѣ. (Тург. просилъ меня очень, очень благодарить Васъ за память о немъ и вниманіе къ нему)... И въ этомъ разсказѣ, прошедшемъ сквозь три ценсуры: кавказскую (ценсоръ Статсъ-Секретарь Бутковъ [7], военную (Генер.-Маіоръ Стефанъ [8] и гражданскую, нашу (мой ценсоръ и Пушкинъ), тронуты типы офицеровъ и кое-что повыкинуто къ сожалѣнію.

Все это для Васъ должно быть непріятно, но я не могу не утѣшить Васъ нѣсколькими строчками. Скорбя и терзаясь за искаженія, которымъ подверглись Ваши статьи только потому, что мой Ценсоръ обратился къ Пушкину, — я принялъ слѣдующія мѣры въ отношеніи къ будущимъ Вашимъ статьямъ, за которыя я буду драться до истощенія силъ, какъ у Васъ въ Севастополѣ... Я показывалъ всѣ мѣста, выкинутыя Пушкинымъ изъ Вашихъ разсказовъ, Князю Вяземскому — Товарищу Министра Просвѣщенія [9] и самому Министру, которые были приведены по поводу некоторыхъ вымарокъ въ совершенное удивленіе — и теперь я буду представлять всѣ Ваши разсказы Министру и печатать съ его разрѣшенія. Норовъ — человѣкъ образованный и горячій. Онъ любитъ литературу... Не бойтесь же за слѣдующіе Ваши труды и не охлаждайтесь нѣкоторыми ценсурными неудачами, особенно съ разсказомъ Ночь. Ко всему этому я долженъ прибавить, что въ Ценсурѣ вообще готовятся великія измѣненія — къ облегченію.

Буду ждать съ нетерпѣніемъ къ $^1/_2$ Сентября Вашей Юности. Если бы къ Октябрю Вы прислали военный разсказъ свой или Ростовцова — обязали бы крайне. За Ценсуру теперь, повторяю Вамъ, не бойтесь. — Денежныя комиссіи Ваши въ Петербургѣ готовъ принять съ удовольствіемъ — и прошу Васъ безъ церемоніи всѣ покупки и все нужное поручать мнѣ. — Кланяйтесь Столыпину [10]. Я писалъ ему съ этой же почтой —

Не забывайте Современника и Вашего преданнаго И. Панаева.

Первые две трети этого письма (до абзаца: «Все это для Вас») впервые были опубликованы П. И. Бирюковым в его биографии Толстого, т. I, изд. 1-е (1906 г.), стр. 252—254.

Письмо это ответ на письмо Толстого от 8 августа.

1. Имеется в виду вышенапечатанное (№ 6) письмо от 18 июля.

2. Цензор «Современника» — Бекетов, Владимир Николаевич.

3. И. И. Панаев приехал в Москву к Боткину, где гостил Некрасов, 4 августа, и числа 8-го выехал обратно в Петербург.

4. Милютин, Дмитрий Алексеевич (1816—1912) — известный государственный деятель, военный министр в 1861—1881 гг., в 1848—1856 гг. состоял по особым поручениям при военном министре, в 1845—1848 гг. был профессором военной академии по кафедре военной географии. Лев Николаевич был с ним знаком.

5. Краснокутский, Николай Александрович (1819—1891), в 1852—1856 гг. адъютант сына Николая I, в. к. Николая Николаевича, в 1856—1863 гг. командир л.-гв. Гродненского гусарского полка. Толстой с ним был знаком.

6. Панаев возил рассказ в неискаженном цензурой виде в Москву, где его читали Некрасов и Боткин.

7. Бутков, Владимир Петрович (ум. в 1881 г.), с 1845 г. управляющий делами Кавказского комитета.

8. Стефан, Густав Федорович, член военно-цензурного комитета.

9. Князь Вяземский, Петр Андреевич (1792—1878), известный писатель, приятель Пушкина, в 1855—1858 гг. товарищ министра народного просвещения.

10. Столыпин, Аркадий Дмитриевич.

№ 9.

И. И. ПАНАЕВ — Л. Н. ТОЛСТОМУ.

1856 г. Августа 16. Петербург.

16 Авг. 1856. Пб.

Почтеннѣйшій Левъ Николаевичъ, — Некрасовъ уѣхалъ за границу 11 Августа [1] и передалъ мнѣ, между прочимъ, Ваше обѣщаніе доставить въ Совр. въ непродолжительномъ времени первую половину Вашей Юности [2]. По составленной нами программѣ для будущихъ книжекъ журнала Юность назначается для Ноября — и я теперь прибѣгаю къ Вамъ съ покорнѣйшею просьбою: увѣдомить меня, когда Вы можете выслать Вашу рукопись? — Это необходимо знать предварительно для распоряженій по журналу. Я пристаю къ Вамъ теперь смѣло, потому что дѣло Современника столь же близко Вамъ какъ и намъ и отъ состава осеннихъ мѣсяцевъ зависитъ подписка [3]. У меня въ наличности только разсказы Даля [4], жду повѣсть Островскаго къ IX кн. и до сихъ поръ еще нѣтъ ея [5]; Григоровичъ возвратился отъ Дружинина и ничего не написалъ [6], только обѣщаетъ приняться; Тургеневъ уѣхалъ за границу передѣлывать свою новую повѣсть и обѣщалъ выслать ее къ X № [7]. До сихъ поръ все только надежды. Островскій пишетъ, что онъ приготовилъ для Совр. еще два разсказа и для 1857 г. приготовляетъ Минина [8]. Бога ради, Левъ Николаевичъ, не забывайте и не оставляйте Совр. (объявленіе о Вашемъ постоянномъ участіи уже печатается) [9].

Вы знаете, что Ваша повѣсть необходима къ осени. Она должна служить лучшимъ украшеніемъ журнала, я въ этомъ увѣренъ и говорю Вамъ это безъ лести и безъ всякихъ комплиментовъ. Въ Васъ теперь — сила и власть. Поддерживайте же этою силою Современникъ.

Рукописи адресуйте въ контору Совр. на м о е и м я... Увѣдомьте, когда можно разсчитывать на записки Вашего брата [10]. Ихъ Тургеневъ хвалилъ намъ съ Боткинымъ, въ бытность свою въ Кунцовѣ, сильно [11].

Григоровичъ Вамъ очень кланяется. Онъ все въ мрачномъ расположеніи духа и повторяетъ: «Нѣтъ, грустно, голубчикъ, ей-Богу грустно...» Онъ хотѣлъ писать къ Вамъ. Я умоляю его остаться въ Петербургѣ и приготовить свои очерки для X № [12]. Если будете писать ему, напишите, чтобы онъ работалъ для Совр., поощрите его Бога ради. Надо отличиться къ осени во что бы то ни стало и уничтожить впечатлѣніе, произведенное безобразн[ой] Мордовскою повѣстью г. Берви [13] и Жидовскою повѣстью г. Рабиновича [14]. Мне кажется за неимѣниемъ п р и л и ч н[ой] р у с с к о й повѣсти, лучше печатать хороші[й] иностранный романъ — пора выйти изъ рутины. Въ Совр. не должно печатать ничего очень плохого по части изящной словесности. Этимъ Совр. долженъ поддерживать свое достоинство. Какъ Вы полагаете? Рекомендую Вамъ Красную Букву — романъ Г о т с о р н а [?]. Славная вещь... Романъ этотъ печатается в IX № [15].

Жду съ нетерпѣніемъ Вашего отвѣта и возлагаю надежду на Васъ. Безъ Вашей Юности — просто гибель.

Преданный Вамъ И. Панаев.

Сбоку, поперек страницы:

Если бы напечатать Юность въ X (Октябр.) книжку, это было бы еще лучше. 10 книжка — очень важная. Не приготовите ли Вы Юность къ X? Простите, что мучу Васъ этими вопросами. Я въ ужасномъ безпокойствѣ.

1. Н. А. Некрасов уехал через Берлин в Вену, откуда приехал 20 сентября (2 октября) в Рим.

2. «Доставить в непродолжительном времени» «Юность» Толстой обещал Некрасову, очевидно, в недошедшем до нас письме, полученном Некрасовым 10 августа. См. альманах «Круг», кн. шестая, стр. 201.

3. Панаев имеет в виду обязательство, которое дали Григорович, Островский, Толстой и Тургенев помещать свои новые произведения исключительно в «Современнике», участвуя в прибыли от журнала.

4. В сентябрьской и ноябрьской книжках «Современника» за 1856 г. напечатаны «Картины из русского быта» — шестнадцать рассказов В. И. Даля.

5. Произведение «Не сошлись характерами» А. Н. Островского, первоначально задуманное как повесть.

6. Д. В. Григорович с середины июля до 12 августа прожил в имении А. В. Дружинина Чортово, Петербургской губ.

7. Речь идет о «Фаусте» Тургенева, уехавшего 21 июля из Петербурга морем за границу.

8. Панаев говорит о письме А. Н. Островского к Некрасову от 1 августа, напечатанном в сб. «Островский. Новые материалы», под ред. М. Д. Беляева, Л. 1924, стр. 211.

9. Объявление о соглашении Толстого, Григоровича, Тургенева и Островского с редакцией «Современника» об исключительном участии их в этом журнале было напечатано в № 114 «Московских ведомостей».

10. В письме от 29 июня Толстой писал Некрасову, что получил от брата Николая Николаевича (1823—1860) «Записки охотничьи». «Я писал брату, — сообщает Лев Николаевич, — чтобы он разрешил мне напечатать, и тогда вам к 9-му номеру будет славная вещь. В первых числах июля Толстой был в Спасском Тургенева, где Иван Сергеевич и прочел эти «записки». Произведение Н. Н. Толстого под заглавием «Охота на Кавказе» было напечатано в январской книжке «Современника» за 1857 г. (перепечатано в изд. Сабашниковых с предисловием М. О. Гершензона в 1922 г.).

11. Тургенев проездом из Спасского (выехал 12 июля) в Петербург прожил два дня у В. П. Боткина на даче в Кунцове под Москвой.

12. Григорович из Петербурга уехал в свое имение Дулебино, Рязанской губ.

13. Повесть «В глуши», подписанная «В. Б-и» (в оглавлении: «В. В. Б-и») и принадлежащая перу Вас. Вас. Берви (1829—1918), более известного под псевдонимом Н. Флеровского, напечатана в июльской книжке «Современника».

14. Повесть «Бродячие артисты» О. А. Рабиновича, напечатанная в июльской книжке «Современника».

15. Роман американского писателя Натаниэля Готорна (в «Современнике» назван Готсорном). «Красная буква» печатался в сентябрьской и октябрьской книжках.

№ 10.

И. И. ПАНАЕВ — Л. Н. ТОЛСТОМУ.

1856 г. Сентября 25. Петербург.

Почтеннѣйшій графъ Левъ Николаевичъ, не получая отъ Васъ отвѣта на письмо мое посланное послѣ отъѣзда Некрасова полтора мѣсяца назадъ тому [1], — и находясь въ крайнемъ безпокойствѣ касательно Соврем., ибо Григоровичъ — ничего не написалъ, Островскій, отъ котораго я получилъ извѣстіе, лежитъ съ переломленной ногой въ Москвѣ [2], отъ Васъ нѣтъ ни слуху ни духу — (одинъ Тургеневъ прислалъ мнѣ два письма и повѣсть изъ-за границы) [3], Вы простите меня, что я снова надоѣдаю Вамъ покорнѣйшею просьбою увѣдомить меня, когда я смогу надѣяться на полученіе отъ Васъ какой-нибудь посылки? — Мнѣ нужно знать хоть приблизительный срокъ, — безъ этого нѣтъ средствъ располагать матеріаломъ.

Справедливость моей просьбы Вы поймете и вѣрно напишете нетерпѣливо ожидающему отъ Васъ вѣсти. —

И. Панаев.

25 Сент.

Дружининъ Вамъ кланяется. Онъ тоже о Васъ въ тревогѣ. — Письмо Ваше къ Тургеневу послано ему [4].

1. Панаев имеет в виду предыдущее письмо.

2. Островский в г. Калязине Тверской губ. сломал в двух местах ногу и с «великими страданиями» приехал в Москву 30 августа, о чем писал Панаеву 11 сентября (см. сб. «Островский. Новые материалы», под ред. Беляева, стр. 212).

3. Из упоминаемых двух писем Тургенева к Панаеву известно одно от 18/30 августа из Парижа при отправке повести «Фауст», напечатанной в октябрьской книжке «Современника».

4. Письмо это неизвестно.

На это письмо Толстой отвечал письмом от 6 октября, напечатанным В. И. Срезневским в сб. «Толстой. Памятники творчества и жизни», в. 2, М. 1920, стр. 19—20.

№ 11.

И. И. ПАНАЕВ — Л. Н. ТОЛСТОМУ.

1856 г. Октября 13. Петербург.
13 Октября 1856. Пб.

Я получилъ, почтеннѣйшій Левъ Николаевичъ, Ваше письмо отъ 6 Октября вчера; другого никакого я не получалъ отъ Васъ. Но у меня были Колбасины [1], которые привели меня въ тревогу касательно Вас. — Если Вы все еще нездоровы [2]— лучше пріѣзжайте скорѣй въ Петербургъ; если же Вамъ лучше, то живите себѣ въ деревнѣ, потому что здѣсь гадко. —

Радуюсь окончанію I части Юности, но я откровенно скажу Вамъ, что меня удивляетъ Ваше недовѣріе къ самому себѣ, простирающееся даже до того, что Вы не знаете, стоитъ ли ее печатать. — Я не имѣю понятія о Вашей Юности, но убѣжденъ (и нѣтъ сомнѣнія, что я правъ), что печатать ее не только можно, но должно. Такіе таланты, какъ Вашъ, не обманываютъ. Совѣтъ, конечно, дѣло хорошее, особенно съ человѣкомъ въ литературѣ смыслящимъ, но и Пушкинъ былъ правъ, когда говорилъ:

«Всѣхъ строже оцѣнить умѣешь ты свой трудъ...
Ты имъ доволенъ ли, взыскательный художникъ?»

и проч. Я убѣжденъ, что Вы для себя — судья самый строгій [3].

У меня на столѣ лежатъ ваши Военные разсказы и Дѣтство и Отрочество [4]. Послѣднее изданіе съ бòльшимъ вкусомъ, но я уже говорилъ Колбасину [5], что цвѣтъ обертки неудаченъ, а обертка придаетъ большую красоту книжки. Касательно 250 р. я уже также говорилъ съ Колбасинымъ, — въ сію минуту деньги ему не нужны, чему я очень радъ, ибо теперь и въ нашей конторѣ ихъ нѣтъ; но черезъ мѣсяцъ будутъ, если Вамъ понадобятся [6]. — Юность будетъ напечатана (я не сомнѣваюсь въ этомъ и не боюсь Вашего сомнѣнія) въ Январской книжкѣ (безъ нея она выйти не можетъ) и слѣдовательно дивидендъ Вы непремѣнно получите. Въ нынѣшнемъ же году, по смыслу условія, мы дивидендовъ не платимъ [7]. Но умоляю Васъ прислать мнѣ Юность тотчасъ какъ Ваши сомнѣнія разсѣятся, — не позже 15 ноября. Я матеріалъ для I № запасаю заранѣе — и хочется выдать отличный. Вообще — мы здѣсь дѣлаемъ все что можно. Помогайте же Вы съ своей стороны. Тург. я очень доволенъ. Я получилъ отъ него уже три письма [8]. Если Вы дочтете Красную Букву, я объ ней скажу

Вамъ два слова при свиданіи. — Прочтите Гетева Фаустъ въ переводѣ [9]. Съ Дружининымъ я видаюсь часто и часто вспоминаемъ объ Васъ. Право, пріѣзжайте къ намъ поскорѣй.

Искренно Вамъ преданный И. Панае[въ].

[К письму (3) Панаева]:

Островскій съ сломанной ногой лежитъ въ Московской клиникѣ; отъ него я ничего не получилъ, кромѣ писемъ, да и то писанныхъ не его рукой. — У меня былъ на-дняхъ Аркадій Столыпи[нъ]. Онъ Вам[ъ] кланяется.

Ответ на письмо Толстого от 6 октября.

1. Колбасины, братья — Дмитрий Яковлевич, вращавшийся в кругу писателей, группировавшихся около «Современника», и исполнявший всякого рода поручения Тургенева и Толстого, и беллетрист Елисей Яковлевич (1831—1885), сотрудничавший в «Современнике» и других журналах.

2. В начале сентября у Толстого сильно разболелся бок; ставили пьявки, приезжал доктор. В дневнике под 13 сентября даже записано: «Кажется, я умру».

3. Толстой 6 октября писал Панаеву: «Первая часть «Юности» объемом такая же или побольше, чем «Детство», я уже недели две, как совершенно кончил, но, никому не читав из нее ни строчки, я нахожусь в сильном сомнении, стоит ли она того или нет, чтобы печатать ее, и послал ее одному господину, на суд которого я положился; ежели получу удовлетворительный ответ, то тотчас же пришлю ее вам, в противном случае, тоже уведомлю вас очень скоро». «Господин», которому послал Толстой «Юность», — А. В. Дружинин.

4. «Военные рассказы» Л. Толстого — книга, в которую вошли: «Набег», «Рубка леса» и три «севастопольских» рассказа. «Детство и Отрочество» — отдельное издание. Обе книги, изданные самим Толстым, вышли в свет в первых числах октября.

5. Колбасин, Дмитрий Яковлевич, ведавший изданием «Детства и Отрочества».

6. Деньги — 250 р. — нужны были Толстому для расплаты с типографией Праца, где печаталось «Детство и Отрочество».

7. Толстой в письме от 6 октября спрашивал, может ли он рассчитывать, отдав «Юность» в «Современник», на дивиденд, согласно договору, о котором см. 3-е примечание к письму № 9.

8. Письма Тургенева к Панаеву напечатаны в «Литературных воспоминаниях» Панаева, изд. 1888 г., стр. 402—404.

9. Перевод А. Н. Струговщикова первой части «Фауста» Гете был напечатан в октябрьской книжке «Современника».

№ 12.

Л. Н. ТОЛСТОЙ — И. И. ПАНАЕВУ.*

1856 г. Октября 26. Ясная Поляна.

Виноватъ, любезный Иванъ Ивановичь, что пишу два слова. Письмо Ваше получилъ и распоряженіемъ Вашимъ помѣстить Юн. въ Январѣ весьма доволенъ. Она одобрена моимъ критикомъ, чему я очень счастливъ, и стало быть на нее Вы можете наивѣрнѣйше [1]. Передамъ же я Вамъ ее самъ, потому что недели черезъ 2 буду въ Петер. [2]. До свиданья. Пожалуйста извините, что такъ мало пишу. Денегъ не нужно.

Вашъ Гр. Л. Толстой.

26 Октября.

На 4-й странице:

Его Высокоблагородію
Ивану Ивановичу
Панаеву.

В Петербургъ.
В Редакцію Современника.

Ответ на предыдущее письмо.

1. Толстой послал рукопись «Юности» А. В. Дружинину 24 сентября (зап. в дн.), а 6 октября Дружинин послал Толстому обстоятельный отзыв об этом произведении. Письмо Дружинина напечатано (не полностью и с ошибками) П. И. Бирюковым в его биографии Толстого, т. I, изд. 1-е (1906), стр. 284—287.

2. В Петербург Толстой приехал 7 ноября.

№ 13.

И. И. ПАНАЕВ — Л. Н. ТОЛСТОМУ.

1856 г. Декабря? 5? Петербург.

Посылаю Вамъ Вашу Юность [1]. Это вещь прекрасная — и если ужъ надо дѣлать какія-нибудь замѣчанія, то — по моему мнѣнію, мѣстами надо немного посжать, поопредѣленнѣе сдѣлать Дмитрія, что Вамъ говорилъ Дружининъ и что Вы сами замѣтили, да въ цензурномъ отношеніи — смягчить послѣднія главы — въ такомъ видѣ, въ какомъ онѣ есть, теперь ихъ не пропустятъ [2].

Переписчикъ навралъ страшно, но независимо отъ переписчика періоды кажется кое-гдѣ длинноваты и темноваты отъ длинноты, частое повтореніе однихъ словъ, все это я замѣтилъ въ рукописи и проч.; пожалуйста, Левъ Николаевичь, по мѣрѣ исправленій присылайте ко мнѣ тетради. Черезъ нѣсколько дней надо будетъ начать печатать.

Преданный Вамъ Панаевъ.

Среда.

Записку эту датирую 5 декабря 1856 г. на основании записей в дневнике Толстого: 3 дек. у него записано: «Панаев хвалит Юность очень... Панаеву — условие», а 5 дек. «...объяснился с Панаевым». Только под 10 дек.: «переправлял «Юность». Таким образом, вероятнее всего, «среда» — это 5 декабря.

1. Рукопись «Юности» Панаев получил от Дружинина.

2. Об этом писал Дружинин Толстому 6 октября: «Некоторые главы сухи и длинны, например, все разговоры с Дмитрием Нехлюдовым... Рекрутство Семенова неценсурно». «Рекрутство Семенова» — конец XLIV главы, не напечатанной в «Современнике» и во всех последующих изданиях. Этот конец напечатал И. А. Шляпкин в брошюре «Памяти графа Л. Толстого», Спб. 1911, по листкам писарской руки той самой рукописи, которую послал Толстой Дружинину, и от которой, кроме этих листков, ничего не сохранилось. Впервые этот отрывок введен в текст «Юности» нами в I томе собр. соч. Толстого, прил. к ж. «Огонек», стр. 277—279.

ОТ ЗЕМЛИ И ГОРОДОВ

Слезы Великого Дива.

(На ленских приисках).

М. Подгорный.

Когда начальник милиции Светлого прииска уезжал в административный центр Ленско-Витимского горного округа — город Бодайбо, он захватил с собой сто кедровых орешков. Путь его лежал по горной, извилистой речке Гадали, которую во многих местах приходится переходить вброд. Каждый раз, переправляясь через речку, начальник милиции выбрасывал один кедровый орешек. Пройдя каких-нибудь двадцать верст, он подсчитал остатки: в кармане было двадцать семь орешков. Семьдесят три брода перешел начальник милиции.

Если будете ехать в Бодайбинскую тайгу, обязательно запасайтесь орешками: вы сумеете обогатить географические учебники новыми данными о сибирских путях сообщения. И тогда вы поймете, почему Светловский тракт с его бродами и горными тропами является предметом зависти многих бодайбинских таежников. Будь моя воля, я бы отправил начальника светловской милиции в научную командировку, предоставив в его пользование вагон кедровых орешков: пусть едет броды изучать. А потом пускай географию пишет: тогда не будет кевахтинских историй.

Кевахтинская история еще свежа в памяти бодайбинцев, ибо она завершилась только в прошлом году. В январе 1925 года на Кевахтинские золотые прииски потребовалось направить милиционера, но в Бодайбинском адмотделе никто не знал, где находится речка Кевахта и как к ней пробраться. Завязалась переписка, длившаяся около трех лет. Запросы посылались в Якутию и в Иркутск: «не можете ли, дескать, указать Бодайбинскому адмотделу, в каком месте Бодайбинской тайги протекает речка Кевахта?». Было исписано много бумаги, было отправлено много телеграмм, исходящие номера приняли астрономические размеры, и все это смахивало на сказку про белого бычка, пока у местных бодайбинских жителей случайно не узнали, как пробраться на Кевахту: к сожалению, проникнуть туда можно лишь раз в год по таежной тропе.

В прошлом году бодайбинские горняки выстроили собственный самолет «Ленский шахтер». А этим летом устанавливается регулярное воздушное сообщение между Иркутском и Бодайбо. Над тайгой, над тундрой запоет

мотор. Это будет Европа, ворвавшаяся в Азию. Это будет тайга, гаркнувшая городом. Но таежные тропы, зачарованные соловьиной песней мотора, будут попрежнему зарастать белым мхом, пока человек не проложит в непроходимом ельнике шоссейных дорог и не засыпет тундру щебнем.

. . .

Летом по Лене в Бодайбинскую тайгу тянутся на паузках золотоискатели. Но прежде, чем сесть на паузки, они должны доехать по железной дороге до Иркутска. Покидая Иркутск, они прощаются с азиатской Европой: перед ними открываются широкие монгольские степи и нескончаемая Ленская тайга.

В Иркутске, на берегу прекрасной Ангары, воды которой холодны, как вешний снег, прозрачны, как горный воздух, и сочны, как клюквенный морс, сооружен памятник Ермаку Тимофеевичу от благодарных россиян. Уже миновало десять лет пролетарской революции, но на бронзовом пьедестале еще стоит, доживая последние дни, двуглавый орел. Четырехглазый и двухглавый, он революцию все же проглядел и из ума выжил. Все забыли о старике. И только Женя-губернаторша, иркутская проститутка, дочь бывшего губернатора, летним вечером приходит к памятнику, становится у пьедестала, как будто ищет у орла защиты от милицейского поста, и чарующей улыбкой подзывает к себе «кавалера». Не нравится, должно быть, орлу Женина улыбка. В тихий час ненастного дня льются слезы из всех четырех орлиных глаз: это он оплакивает горькую молодость губернаторского чада и свою безрадостную старость; это он тоскует по ушедшей Азии.

Но и Азия, отступившая на север от магистрали, не радовала бы взора двуглавого орла. Разорены его гнезда. В бурятских юртах заседают улусные советы, двухколесные арбы подвозят товары к кооперативным лавкам, трактор бороздит бескрайную степь, а Александровский централ — этот оплот покойной российской монархии — стал убежищем для карманных воров и биржевых спекулянтов. У железных ворот централа стоит часовой, а за воротами бывшие воры и спекулянты днем приобретают трудовые навыки, а вечером смотрят кино-фильмы.

Кандальная Сибирь, служившая царю столько лет верой и правдой и хоронившая в своих дебрях крамольников и бунтарей, эта Сибирь начинает жить рокотом рубанков, визгом пил и перестукиванием молотков. В каждом селе идет своя стройка; тунгусы, слушая речь Калинина по радио, удивляются, как это в Москве народ не глохнет от голоса «большого начальника»; в городе Жиганске, состоящем из трех избушек, открылась государственная фактория для скупки пушнины у бродячих туземцев, а в Булуне — самом северном населенном пункте Советского Союза — строятся лесопильные заводы. Но каждый клочек земли отбирается у природы с бою, ибо Азия еще крепка, ибо тайга еще непроходима.

. .

Север начинается у Качуга.

Тракт кончается у Жигалова.

Собственно говоря, тракт продолжается до Якутска. Но после Жилова путь настолько плох, что местные чалдоны предпочитают ездить лько зимой или летом — по Лене: летом — на паузках, зимой — по льду — конях. Видимо, царские администраторы, сооружая Якутский тракт, предзначали его исключительно для кандальников, стремясь и этим отягчить : участь.

На паузках едут двояко: вниз — «речно», против течения — «бежно». Ехать речно — значит грести или отталкиваться шестами; ехать режно — значит впрячь в паузок коня; конь идет по берегу и тащит за бой по воде паузок. Если в каком-нибудь месте берег становится гористым, коня нужно переправить на другой берег, его вводят в паузок и, отталкиясь шестами, пристают к другому берегу, где коня снова впрягают. Впром, такой метод езды практикуется только с небольшими паузками. На льших паузках (карбазах) против течения не ездят, и, сплавив на них уз в низовья Лены, продают их там на дрова.

Манзурка, Оек, Качуг, Верхоленск, Жигалово, Усть-Кут — все это вшая царская ссылка. Когда-то этот край был большевистским университом. Здесь, в ссылке, готовились к дальнейшей борьбе те, кто потом руводил Октябрем. Верхоленцы с гордостью показывают горку, с которой граивались побеги политических ссыльно-поселенцев. В 20 верстах от рхоленска, по речке Куленге, в деревне Житово живет ходячий верхолений «истпарт» Иннокентий Силович Соловьев, словом и делом помогавший ыльным. В Верхоленске, на Береговой улице, недавно сгорел дом № 62, котором помещался прежде шерстобитный завод, где жил в 1902 г. Д. Троцкий после его перевода из Усть-Кута. Верхоленский крестьянин лександр Иванович Тюменцев, организовавший ряд побегов, в том числе побег Л. Д. Троцкого, рассказывает:

— На квартире у меня стоял ссыльный студент Левенсон, Арон Абраэвич. По его просьбе я и устроил побег Троцкого. Устроил я побег Михаилу эрисовичу Розенбергу, потом Гургенадзе. Ему я дал на дорогу лисий тулуп пимы. Он мне их выслал обратно, и я даже повестку получил, но жандармы обрали у меня этот тулуп и пимы, а меня работы лишили. Устроил я много бегов и другим ссыльным: сейчас всех не упомнишь. Теперь я свое креьянское хозяйство имею и веду общественную работу.

. .

По Лене начинаются зобные места: население некоторых деревень половно болеет зобом.

Вода в Лене пресная, мутная, с скверным привкусом. Летом тучи мошры наводят меланхолию на самых от'явленных весельчаков. Но, если бы не эшкара, путешествие в летний месяц по этой реке, протянувшейся на с лишним тысячи верст, могло бы служить прекрасным отдыхом: перед взом путника открывается величественная горная природа, и чем дальше от илых мест (последнее «жилое место», как принято говорить на Лене, — Жигалово), тем она прекрасней, могучей и суровей. Особенно хороши Ленкие щеки. — Лена в этом месте сужается до 30 саженей и проходит между